

ROMANS

Жанр: Романы

А. ВЕРБИЦКАЯ



Ключи счастья

СПИШИТЕЛИ

Annotation

В романе «Ключи счастья» рассказывается увлекательная и драматическая история любви главной героини, основанная, как можно предположить, на некоторых фактах биографии автора — популярнейшей русской писательницы начала века Анастасии Алексеевны Вербицкой (1861–1928).

Перед читателем разворачиваются полные романических переживаний картины детства и юности девушки из небогатой семьи Мани Ельцовой, любви которой добиваются такие незаурядные личности, как богач барон Штейнбах и блестящий молодой человек Николай Нелидов. Способная на самые глубокие чувства героиня долго не может сделать выбор, пока сама жизнь не решает за нее...

Роман «Ключи счастья» — одно из самых известных произведений А.Вербицкой — был незаслуженно забыт в свое время. Публикуемый сегодня он, бесспорно, вызовет интерес у широкого круга читателей.

- [Анастасия Вербицкая](#)
 -
 -
 - [КНИГА ЧЕТВЕРТАЯ](#)
 - [КНИГА ПЯТАЯ](#)
 - [КНИГА ШЕСТАЯ](#)
 - [ЭПИЛОГ](#)
- [notes](#)
 - [1](#)
 - [2](#)
 - [3](#)
 - [4](#)
 - [5](#)
 - [6](#)
 - [7](#)
 - [8](#)
 - [9](#)
 - [10](#)
 - [11](#)
 - [12](#)

- [13](#)
- [14](#)
- [15](#)
- [16](#)
- [17](#)
- [18](#)
- [19](#)
- [20](#)
- [21](#)
- [22](#)
- [23](#)
- [24](#)
- [25](#)
- [26](#)
- [27](#)
- [28](#)
- [29](#)
- [30](#)
- [31](#)
- [32](#)
- [33](#)
- [34](#)
- [35](#)
- [36](#)
- [37](#)
- [38](#)
- [39](#)
- [40](#)
- [41](#)
- [42](#)
- [43](#)
- [44](#)
- [45](#)
- [46](#)
- [47](#)
- [48](#)
- [49](#)
- [50](#)
- [51](#)

- [52](#)
- [53](#)
- [54](#)
- [55](#)
- [56](#)
- [57](#)
- [58](#)
- [59](#)
- [60](#)
- [61](#)
- [62](#)



Анастасия Вербицкая

Ключи счастья. Том 2

Роман-дайджест

*Я узнал, как ловить уходящие тени,
Уходящие тени потускневшего дня.
И все выше я шел. И дрожали ступени,
И дрожали ступени под ногой у меня...*

К. Бальмонт

КНИГА ЧЕТВЕРТАЯ

Каждый день, в семь часов вечера, Маня выходит из трамвая, соединяющего предместье, где она живет, с Парижем. Торопливо идет она по линии бульваров на урок к Изе Хименес.

Огненными линиями в туман и сумерки огромного города врываются нарядные бульвары с оголенными платанами, с сияющими окнами бесчисленных кафе, с суетливой, праздной и жизнерадостной толпой.

Бегут отовсюду, сливаясь в страстном стремлении к отдыху и радости, целые волны рабочего люда. Улицы черны от мужских пальто. Приветливо улыбаясь навстречу хищным взглядам фланеров, грациозной походкой идут модистки, приказчицы, белошвейки, барышни-манекены. Они одеты скромно, но со вкусом. Бледные губы жадно ловят воздух, которого недостает им целый день в магазинах и мастерских, отравленных газом и дыханием толпы. Глаза искрятся. Они ждут. Чего? Случая, счастья... Кто знает? Может быть, сейчас, за этим поворотом, это счастье встретит их? Не одна только чувственность сблизит двух людей, жаждущих забвения? Кто поручится, что не свершится чудо, и что из этих объятий не родится Любовь? Та, о которой грезят все женщины, от королевы до судомойки, и без которой жизнь не имеет цены?

Маня быстро идет среди этого огня перекрестных взглядов и улыбок, одинаково чуждая наивным мечтаниям одних и жадным желаниям других, равнодушная к любопытству и восхищению.

Вон вдали дом, где живет Иза. Маня замедляет шаги. У подъезда она останавливается и смотрит вверх. Небо словно озарено пожаром. Ни одной звезды. Гул кипучей жизни остался позади, на линии бульваров. Здесь, в переулке, тихо. И в этой тишине еще отчетливее доносится до нее громкое дыхание страшного зверя — толпы.

И сердце Мани дает толчок. Вызов загорается в груди.

Кто осилит в этом поединке? Сумеет ли она укротить зверя? Сможет ли она победить Жизнь и самую грозную из ее сил — Любовь? Или тяжелое колесо проедет по ее повергнутой душе, губя ее, как тысячи других?

«Увидим... Увидим! Уже скоро...»

Ей отворяет дверь негритянка, безобразная Мими.

Маня любит ее добрую улыбку, оскал ее сияющих зубов. Она похожа на животное, эта непосредственная дикарка с ее загадочной моралью, с ее

таинственной для европейского человека душой.

Два спаниеля с белой шелковистой шерстью лают звонко и оглушительно. Какаду сердито кричит что-то по-испански.

Маня идет в салон с золотистой мебелью, пыльными венками и зеркальными стенами. Спаниели трутся у ее ног. Какаду кивает ей белым хохлом и приветливо воркует.

Входит Иза.

Эта женщина нравится Мане. Вся она похожа на восточную сказку. На мизинце у нее дивный рубин, который кажется каплей крови днем, а вечером горит, как раскаленный уголь. Огромные кольца-серьги качаются при каждом ее движении. Звенят браслеты на смуглых руках. Но ярче золота и камней кажется Мане ее улыбка и блеск черных глаз...

По праздникам Марк приезжает в автомобиле за Маней, фрау Кеслер и Ниночкой. Он увозит их всех к себе на целый день. Все трое любят эти часы. Дом его так красив. Обед так вкусен. «Пир Лукулла», смеются гости, наголодавшись за неделю. Мясо они редко едят теперь. Только овощи. Одна Ниночка не знает лишений. Но Марк не должен об этом догадываться. Именно он — никогда!

Шумом и смехом наполняется старый, дремлющий особняк. И тени былого просыпаются, прислушиваются с изумлением к звукам чуждой жизни. И тихо выходят из своих углов.

Буквально так и было в одно прекрасное и теплое ноябрьское утро. Они только что приехали и внизу, в столовой, снимали шляпы перед старыми, тусклыми зеркалами XVIII столетия. Ниночка звонко смеялась, сидя на полу. Она вцепилась в сенбернара, который обнюхивал ее личико и размашисто вилял хвостом. Бледное солнце заливало палисадник и заглохший фонтан.

Вдруг Ниночка закричала, и все оглянулись.

В дверях гостиной стоял призрак Штейнбаха. Высокая фигура с согнувшимися плечами не двигалась. Серые волосы из-под черной шапочки выбились на лоб. Таинственные глаза, без дна и блеска, глядели в лица живых странным, далеким и враждебным взглядом.

Вдруг этот взгляд упал на Ниночку, и дрогнуло бледное лицо. В ту же минуту вошел запоздавший Штейнбах.

— Ниночка, мой ангел... Почему она плачет?

Он схватил девочку на руки. Она дрожала и прятала личико на его груди. Штейнбах оглянулся и понял.

— Дядя, войди! Не бойся. Это мои друзья. Фрау Кеслер, это

единственный близкий мне человек. Он вчера только вернулся из России с Андреем. Мы будем жить вместе.

Призрак медленно покачал головой и отступил с порога. Но его темный взгляд остановился на лице Мани. И словно холодом повеяло в ее сердце.

Он скрылся.

— Почему ты так бледна? — спросил Штейнбах. — Неужели боишься?

Она молчала.

— Теперь ты разлюбишь этот дом, Манечка?

— Нет, нет, Марк. Мне вспомнилось... Пустяки! Давай обедать скорее.

Он входил всегда неожиданно и бесшумно в комнату, где звенел смех Ниночки. И глядел на нее молча. Его как будто влекла к себе эта молодая жизнь, похожая на лепечущую березку. Сначала ничего кроме безграничного удивления не выражал этот далекий взор. Мысль, заблудившаяся в таинственных полях бессознательного, как будто искала дорогу ощупью в сумерках.

Настал день, когда Маня увидела жгучую скорбь в этом взгляде. Он долго смотрел на ребенка. Закрыв лицо руками, вдруг застонал.

И вот однажды словно улыбка прошла по восковому лицу. Тоска не исчезла, но смягчилась. Он взглянул на Маню. И все с удивлением расслышали: «Сарра...»

Он опять ушел. Но на пороге оглянулся на Маню.

Словно позвал...

— Какая Сарра? — спросила фрау Кеслер. Она говорила шепотом, хотя все видели, как старик прошел под окнами, мимо фонтана, опираясь на палку. И исчез на мшистых дорожках сада, где умирали опавшие листья.

— Он вспомнил свою погибшую дочь.

— Разве я похожа на нее, Марк? — спросила Маня. И глаза у нее стали большими и тревожными.

— Н-не знаю. Трудно разобраться во мраке больной души.

Рядом с желтым салоном Изы Хименес находится класс. Это пустая комната с зеркальной стеной, без ковра и мебели, с одним пианино. А за нею уборная. Стены ее увешаны газовыми голубыми юбочками и трико телесного цвета. Под каждой на гвозде номерок. Это традиционный балетный костюм, с открытым плоским лифом, — костюм, обнажающий ученицу. Учитель должен с одного взгляда видеть все контуры и все изгибы

тела: ногу, начиная от бедра, колени, ступню, руки, плечи. Здесь нет мелочей. Важно каждое движение мускулов, каждое напряжение мышцы. Все должно быть естественным, все должно казаться легким. В этом грация и красота танца.

Классом балетной гимнастики, то есть самыми трудными первыми шагами, начиная с «позиций», столь же скучными, но необходимыми, как гаммы для пианиста и вокализы для певца, руководит госпожа Фредо.

Маня быстро и легко справляется со всеми трудностями первых шагов, почти непреодолимыми для многих взрослых. «У нее уже сейчас есть пальцы», — с удивлением говорит Иза своей помощнице на балетном языке. Это значит, что Маня может свободно стоять на носке. Из сорока учениц школы у нее одной этот дар, такой же редкий, как поставленный от природы голос у певца. Многие ученицы тяготятся этой балетной гимнастикой. Но для Мани важно все.

Чувствуется, что танец ее стихия, что для нее в этой сфере нет ничего недостижимого.

За полгода она настолько осваивается со сложными движениями, из которых комбинируются танцы, со всеми этими *jeté*, *glissé*, *chassé*, *balancé*, *pirouette* ^[1] и так далее, что Иза разрешает ей заниматься этим только дома. Маня работает часа по четыре, иногда до изнеможения.

— Ты наживешь болезнь сердца, — говорит фрау Кеслер, когда Маня, вся бледная, падает на постель. — Чего ради так убиваться?

— Хочу быть артисткой, а не дилетанткой. Это не даст мне удовлетворения.

— А Дункан? А Иза? Чему они учились?

— Дункан гениальна, а Иза — громадный талант. Но она мне признавалась, она всегда жалела о том, что с детства не прошла классической французской школы. А помнишь, как Дункан выворачивает руки? Глядеть на нее страшно! Это нарушает законы пластики. То, над чем я бьюсь, Агата, это базис всего. Нельзя стать пианистом, не изучив гармонии, или написать оперу, не зная контрапункта. Так и здесь. Вот я недавно от Марка услышала, что все эти трудности, над которыми мы бьемся, были знакомы танцовщицам еще в Греции.

— Да быть не может!

— Есть целое исследование об этом. Чего же ты удивляешься, Агата? Если для такого ремесла, как проституция, на Востоке готовили с семилетнего возраста и нужно было пройти целую школу, неужели такое искусство как танец, требовало меньше знания и труда?

Из сорока учениц у Изы больше половины взрослых. Все они приезжают в своих автомобилях или в собственных экипажах Бедных, как Маня, очень немного.

Богатые девушки в кружевах и шелках, переодеваясь в уборной, щеголяют друг перед другом роскошью нижних юбок и белья. Маня подмечает усмешки, с которыми они оглядывают ее скромный костюм. Но Маня держится, как принцесса.

Отношение к ней меняется внезапно через какой-нибудь месяц.

Штейнбах заехал за нею в своем автомобиле. Его сразу узнают. Все видят, как он смиренно ждет Маню на лестнице и какой гневный взор кидает она ему, отказываясь ехать. На улице она говорит с ним резко и гордо.

Французские еврейки, знающие по-русски, божатся потом, что они говорили на «ты».

Маня так и не поехала со Штейнбахом и пошла пешком к трамваю... «Какова?!»

Когда на другой день Маня входит в уборную, все смолкают и глядят на нее большими глазами. Почему на ней нет бриллиантов? Почему она одевается так просто? Зачем она живет в предместье, а не в доме Штейнбаха? Ведь она несомненно его любовница.

— Невеста его, — таинственно сообщает госпожа Фредо. И ропот удивления встречает эту весть.

Теперь Маня могла бы ходить в рваной юбке и дырявых башмаках. Ей простили бы все.

— Приходите завтра вечером, — говорит Иза Мане. — У меня класс пантомимы, и вы увидите Нильса.

Это имя у всех на устах. О нем никто не говорит равнодушно. Маня заинтересована.

— Только сердце свое берегите! — смеется креолка, качая головой и грозя пальцем. И серьги ее тоже качаются, а браслеты звенят.

На другой день, ровно в шесть, Маня подымается по лестнице. Еще за дверью она слышит зазорные звуки фанданго. «Неужели опоздала? Ах, что за музыка!»

Она быстро раздевается в передней. Сухое, страстное трещанье кастаньет словно манит ее.

О, какие знойные звуки! Прямо жгут.

Она пробирается через толпу учениц, стоящую у входа в класс.

Вот Иза увидела ее. Кивнула и хлопнула в ладоши аккомпаниатору.

— Начинайте сначала. Нильс, на место! Мод, ваша шаль развязалась.

Нильс — «испанец» со смуглым бритым лицом — оглядывается и видит Маню. А! Вот она! Он тоже много слышал о ней. Он улыбается. И словно светлеет его лицо от сверкнувших зубов. Он издали раскланивается. Какой пластичный жест!

«Красавец! — думает Маня, глядя на этот энергичный профиль. — Неужели русский? И что за ноги, фигура!»

Мод — американка. Это эффектная брюнетка, и костюм ей идет. Нильс выше среднего роста. Короткие суконные штаны открывают мускулистые длинные ноги. Широкий пунцовый пояс охватывает гибкий стан. На голове красный шелковый платок. Конец его свисает на плечо.

Они пляшут. Трещат кастаньеты. И сердце Мани бьется. Можно ли плясать картиннее? А главное, с большей страстью и блеском?

«Я безумно влюблена, — говорит себе Маня. — Неужели и я когда-нибудь буду танцевать с ним этот танец? Вот будет наслаждение!»

Урок кончился, а она все еще грезит с открытыми глазами.

Зароились образы. Наметились позы. Целая драма без слов пронеслась в голове...

Как во сне выходит Маня из класса.

Иза подходит к ней.

— Ну как? Хорош мой Нильс? Тоже русский... Да... это моя слава. Я учу его бесплатно. Он кончает в этом году. И в Париже его уже знают. Хотите, я познакомлю вас?

— Нет... Нет!.. Не надо!.. В другой раз. Но в коридоре она сталкивается с ним.

Он что-то говорит, небрежно прислонясь к стене. Перед ним хрупкая блондиночка, скромно одетая, как модистка. Она смотрит на него влюбленными глазами и заботливо расправляет складку на его поясе.

— А ты скоро? — по-русски спрашивает она детским, звонким голоском.

— Если хочешь, чтоб мы вышли вместе, подожди меня, Милочка. Только оденься, а то простудишься.

Он видит Маню и смолкает.

Она проходит мимо, не сводя с него глаз. И в этих темных, огромных глазах он видит столько горячего, непосредственного восторга.

Лицо его дрогнуло. Он робко кланяется Мане. Она, краснея, опускает голову. Потемневшими глазами глядит он ей вслед.

За дверью Маня слышит ревнивый вопрос блондинки:

«Кто это? Новенькая? Вы незнакомы?»

Всю ночь она видит во сне его лицо. Звук кастаньет преследует ее даже наяву.

Каждый раз, когда Нильс выступает в характерных танцах или танцует в па де труа и па де катр, Маня приходит, чтоб глядеть на него.

И в школе все уверены, что она тоже влюблена в Нильс а.

И это правда. Она и не хочет лицемерить с собой. Но это чувство ее не пугает. Оно дает ей столько радости! Так много красок вносит в ее однообразную жизнь. Она заметила, что лучшие темы ее будущих танцев родятся, когда он пляшет, а она смотрит на него, умиленная, благодарная.

Через три месяца ученья Маня оказывается мотыльком среди жуков, медленно расправляющих тяжелые крылья. Сразу между нею и другими учениками устанавливаются отношения толпы и таланта. И теперь Маня не может удержать злорадного чувства. Она презирает себя. Но стать выше этого не может. «Это восходящая звезда», — говорит Иза а. «Это будущая знаменитость», — твердит г-жа Фредо...

На уроках у Штейнбаха он аккомпанирует всегда сам. Иза обращает на него столько же внимания, сколько на охотников, трубящих в рога на старом гобелене. Она раздражительна, капризна, требовательна. Не стесняясь, кричит она на Маню.

— Бестолковая... Дура... Настоящая русская дура! Сколько раз я показывала тебе этот жест! Забыла опять? Начинай сначала.

Штейнбах еле удерживается от смеха. А потом изображает эту сцену, искусно копируя голос и акцент креолки.

— Какое странное имя «Мань-я!» — замечает однажды Иза за завтраком у Штейнбаха. — Я буду звать тебя Marie...

— Нет! Нет! — страстно срывается у Мани. Она встречает взгляд Штейнбаха, и лицо ее загорается.

— Почему нет? Какая ты странная!

«Только один человек в мире мог называть меня Мари», — думает Маня.

И Штейнбах видит, какая нежность согревает вдруг ее лицо. «Улыбнулась. Точно Ниночку увидала. Неужели не разлюбила Нелидова?»

— Зови меня Marion, Иза. Я сама не люблю моего имени.

Случается, что, заезжая за Маней, Штейнбах предлагает фрау Кеслер завтрак. Они берут Ниночку. Штейнбах это делает нарочно, чтоб у Мани не было предлога спешить домой. Через запертую дверь фрау Кеслер слышит гневные окрики Изы. «Удивительно! — думает она. — Почему Маня не

обижается?»

Этот вопрос она задает самой Мане.

— Пусть кричит! Пусть бранится! — отвечает та. — Разве не руководит ею только любовь? Великая любовь к искусству?

Иногда Иза топает ногами. Маня вдруг со звонким смехом кидается ей на грудь, и через секунду обе они смеются, как дети.

«Две сумасшедшие, — ворчит фрау Кеслер. — А попробуй-ка это сделать кто-нибудь из нас!»

День Мани так полон теперь, что для любви ничего уже не остается. Но Штейнбах не ропщет. Разве не принадлежит она ему всецело? Ему одному? Даже тень соперника не скользит на его горизонте. Страшен один Нелидов. Но ведь и там все кончено. И даже если когда-нибудь состоится эта встреча, Маня тогда будет женою его, Штейнбаха.

Не в этом гарантия, конечно. Он слишком умен, чтоб доверять женщине. Особенно женщине, живущей чувством. Но сам Нелидов своей женитьбой создал непроходимую пропасть между собой и Маней. Люди такого закала не изменяют долгу. «Лишь бы она никогда не узнала, что он был в Венеции!» — говорит себе Штейнбах.

Иногда — очень редко — Маня вдруг подходит к нему, бледная, растерянная, с потемневшими глазами. «Поцелуй меня!» — глухо говорит она. И закрывает глаза, с выражением человека, побежденного какой-то внешней силой, уступающего чему-то, что выше его.

И лицо у нее тогда трагическое. И темна тогда ее любовь.

Долго потом Штейнбах переживает в памяти эти минуты. Эти порывы прекрасны. Есть что-то стихийное в страсти этой женщины. Какая-то жуткая тайна глядит на него из полузакрытых глаз ее.

И никогда он не может забыть ее улыбки. Это блаженство, граничащее со страданием. Она искажает ее черты. И в то же время странно одухотворяет бледное лицо. Невольно верится, что это покорность побежденного в непосильной борьбе.

Но эти минуты проходят. И перед Штейнбахом опять далекий взгляд, насмешливые уста.

Она равнодушно прощается с ним, дает себя поцеловать и торопливо идет к двери. Она еще на пороге этой комнаты. Но душа полна иным. У нее свои интересы. Своя жизнь.

И если он пробует удержать ее, он чувствует отпор. Даже неприязнь. Точно она сдалась врагу и презирает себя за эту слабость. «Совсем как мужчина», — горько думает он.

Один раз он не утерпел и высказал ей это. Она усмехнулась.

— Ты меня радуешь, Марк. Я хотела бы всегда любить, как любите вы.

— Я?

— Ну да. И ты не лучше других.

Заметив странный излом его дрогнувших бровей, она добавляет:

— И поверь, Марк, теперь (она подчеркивает это слово) я тебе это ставлю в заслугу.

— Я очень тронут, — подхватывает он, кривя губы. — Только я не совсем понял, в чем моя заслуга?

— Уметь любить без драм. Легко и радостно.

— А!

— Вы, мужчины, взяли ключи счастья. И давно и просто разрешили задачу, над которой мы, женщины, бьемся. Но погодите... И мы добудем их!

— A la bonne beure! ^[2]

Он распахнул перед нею дверь. Она ушла. А он остался со своими думами.

Нет, даже в эти минуты он не может назвать ее своею вполне. Власть его над нею еще не исчезла. Но он инстинктом чувствует ее упорное стремление освободиться, ускользнуть. Куда? Зачем? Разве знает он ее, эту новую Маню? Ведь это уже не та безвольная перед его страстью, трепещущая девочка, которая любила его в Липовке, в стенах молчаливого палаца? Даже в этом таинственном мире чувственных радостей, где он вел ее за собою, ослепшую и покорную, она царит теперь. Не он, она дарит свою ласку. А он ждет, как раб, когда взгляд ее упадет на него.

Но разве завтра этот взгляд не позовет другого?

Что тогда? «Все будет кончено, — говорит он себе. — Останется только смерть...

Любить легко и радостно. Какая ирония! Но Маня, очевидно, искренно верит, что он умеет так любить. Она не простила ему рыжей венеианки. Она до сих пор убеждена, что он с ней провел ту ночь, когда он вышел встретить Нелидова на вокзале Венеции и в этом безмолвном поединке вырвал у него свое счастье. Но душа Мани словно переродилась с тех пор. Умерла доверчивая девочка. А теперь это женщина, которая хочет смеяться над иллюзиями и брать от любви одно наслаждение, не жертвуя ей ничем. Это программа, которую она себе наметила. Хватит ли у нее на это сил?

Это трагическая борьба, — думает он. — Можно создать себе новое мирозерцание, проповедовать свободу любви и свободу от любви. Можно страстно верить в этот новый догмат. Можно дерзко бросать вызов

судьбе. И считать себя новой женщиной. Но что делать со старыми чувствами, воспитанными веками? Что делать с инстинктом Женственности? С этим роковым инстинктом, дремлющим в самых сокровенных глубинах женского организма, за темным порогом, куда не проникает мысль? Что делать с этой потребностью покоряться и жертвовать, которую тысячелетия подчинения развили в женской психике?

Освободить душу свою из-под ига страсти. Наполнить ее великим стремлением к высокой цели, беря любовь, как отдых, как радость, поставить эту любовь в своей жизни на второе место. Вот в чем ключи счастья, которые обещал Ян женщине.

Но разве одной женщине должен был он оставить свой великий завет? Разве для меня самого любовь — не та же драма? Разве не поставил и я ее в центре моей жизни? Разве для меня она не культ?

„У тебя женственная душа“, — не раз говорила мне Маня. Не в этом ли тайна моей собственной слабости?

И если я потеряю Маню теперь...»

А пока он делает все, чтоб привязать к себе Маню, чтоб стать ей необходимым.

В Венеции, угадав ее страсть к искусству, он читал ей лекции о живописи. Теперь он изучает с нею историю танца. И эти часы она любит. Она готова целые вечера лежать у камина, на тигровой шкуре, и, глядя в огонь, слушать о седой древности.

...Танцы стары, как любовь. Это сказал еще Лукиан, живший при Августине. Раньше всего ребенок, еще не понимающий слов, начинает чувствовать ритм в качании колыбели, в песне матери.

— Золотой век танца, — говорит Штейнбах, беззвучно шагая по ковру, — настал только в Элладе.

Именно здесь, под ясным небом Эллады, в благодатном климате страны, где человеческое тело сделалось высшим идеалом красоты, где сами боги, утратив песьи и птичьи головы и таинственное обличье египетских божеств, стали людьми в мраморе, — в Греции, где так расцвело пластическое искусство, — танец мог достигнуть наивысшего развития. И как тесно связан он с другими искусствами — с поэзией и музыкой! Не из созерцания ли божественно прекрасных линий тела, его выразительных поз, его грациозных движений возникла скульптура? Из священных танцев в честь Диониса родилась трагедия.

— Обрати, Маня, внимание на эволюцию танца! Красной нитью через всю историю его развития, начиная с древнейших времен и средневековья и

кончая Ренессансом и нашими днями, проходит главная идея. Сначала это религиозный ритуал. Затем забава аристократии. Наконец это радость народа!

— Неужели? — спрашивает Маня, садясь на ковре и обхватывая колени. Ее лицо странно оживляется.

Штейнбах открывает еще одну страницу старинной французской книги.

— Вот выдержка из Лукиана. Ты видишь, какие высокие требования римское общество предъявляло к артистам. Лукиан пишет: «Танцовщик должен знать ритм и музыку, чтоб давать размер своим движениям; геометрию, чтоб чертить на земле свои шаги; философию и риторику, чтоб изображать нравы и возбуждать страсти; живопись и скульптуру, чтоб сочинять позы и группы. Он должен в совершенстве знать мифологию и историю, все события хаоса и сотворения мира до наших дней».

Он закрывает книгу и смотрит на Маню. Та звонко хохочет.

— Марк, лучше б ты мне не читал этого. Ведь ты меня убил.

— Напротив. Я хочу поднять твой дух. Не верь тем, кто считает танец детской забавой. Только невежды могут говорить так. Вспомни помпейские фрески! Эти воздушные фигуры и неподражаемую грацию их. И ты поймешь, что Лукиан писал, не преувеличивая.

— Поди сюда, Марк! Покажи, что это за книга у тебя? 1460 год? Вот прелесть! И какой шрифт необыкновенный... Крупный какой! «L'histoire de la danse» Антуана Табура, канонника ^[3], - читает она вслух. — Духовное лицо, Марк? Что это значит? И где ты достал эту прелесть?

— Здесь, у букинистов. А вот еще ценная вещь: я перерыл все лавки, чтобы найти эту библиографическую редкость...

— Что такое, Марк? Рисунки?

— Каждая страница выгравирована на стальных досках. Видишь, какой шрифт? Это издано в Париже, в 1765 году. Автор Блази. Он был первым теоретиком механики движений. И первым настоящим хореографом. Мы эту книгу подробно рассмотрим потом. А теперь вернемся к римлянам.

— Ах, как это интересно! Мы все это прочтем, Марк?

— Непременно, Маня.

Пока Штейнбах аккуратно прячет эти сокровища в шкафчик «ампир», Маня опять ложится ничком. Она смотрит в камин, облокотясь о пол и подперев голову руками.

— Почему ты все это купил и все изучаешь так добросовестно?

— Странная женщина! Разве ты не будешь танцовщицей? На всех

путях жизни я хочу быть рядом с тобой.

Ресницы ее вздрагивают. Она все так же пристально смотрит в огонь, не меняя позы. Но он чувствует, что она обдумывает эти поразившие ее слова.

— Марья Сергеевна...

— Нет... нет... Ради Бога!.. Для вас... и для всех я только Marion.

— Marion... Чудная, божественная Marion... Вы с ума меня сводите!

Он говорит ей это, стоя с нею в полусветлом коридоре, близ класса, улучив минутку перерыва.

Лихачев и Маня оба в испанских костюмах. Под гримом и в этом туалете Маня красавица. Неправильность черт ее забывается, когда видишь эти громадные удлинённые глаза и сверкающую улыбку. Лихачев тоже удивительно эффектен. И костюм он умеет носить. В глазах Мани все еще не угас восторг, какой она испытывает, танцуя с ним.

— Как вы плясали сейчас, Marion! Я безумно влюблен в вас. Вот вы опять смеетесь?

— Да... Мне всегда весело, когда вы говорите о любви.

— Жестокая! Неужели вам приятно меня мучить? Маня звонко смеется.

— Мучить вас? Ах, милый Нильс! Бросьте жалкие слова. Ей Богу, это не из вашего амплуа. Как я завидую вашей ясной душе!

— Да вы прямо смеетесь надо мною! Моя душа раскололась пополам. Я ночей не сплю. Зачем вчера вы дразнили меня?

— Я? Вас?

— Зачем вчера в танце, когда я шепнул вам «Люблю», вы ответили: «Я тоже»? Вы играете мною?

— Ничуть... Я и люблю вас, но только там, на сцене, вот в этом костюме...

— Не все ли равно? Ведь это я.

— Нет, не вы! Не вы. Это другой. Неужели вы не понимаете, что жизнь одно, сцена другое?

Лихачев хрустит пальцами. Обхватил бы ее сейчас и зацеловал бы! Змея... Так и скользит между пальцев!

Кивнув головой Нильсу, она идет переодеваться. Классы кончены.

На улице Лихачев догоняет Маню. Она оглядывается, и в лице ее разочарование.

— Неужели вы не видите, что я страдаю? — говорит он ей капризным тоном человека, не привыкшего встречать отпор.

Она грустно улыбается. О нем ли грезит она весь этот месяц, обдумывая детали пантомимы, в которой публично выступит скоро? Выступит в первый раз.

Нет, нет. Далек и ненужен ей этот Лихачев, который шагает вот тут, рядом с нею, унылый и смешной в своем старомодном пальто. Она думает о красавце испанце, который занят с нею в пантомиме и преследует ее своей любовью. Его глаза, его губы, его движения чаруют и вдохновляют ее. Она любит этого испанца.

— Не сердитесь, милый Нильс. Сцена и успех залечат все ваши раны.

— Я буду думать о вас всю ночь, целовать вас буду во сне!

— Я тоже...

— Вот видите, видите... Это не называется дразнить? Вы безжалостная кокетка!

— Неправда, Нильс! Вы не умеете ценить моей искренности. Вас любит артистка, а не женщина. Вы мое вдохновение... Моя радость... Неужели вам этого мало? Сейчас вот я сяду в трамвай, закрою глаза и всю долгую дорогу буду видеть ваше лицо под гримом, ваши глаза, ваши жесты. Постойте! Не перебивайте. Я лягу в постель и буду обдумывать... Благоговейно, слышите ли? Благоговейно буду обдумывать мою роль. Все ли я верно поняла? Все ли я сумела передать? По-моему, нынче вкралась какая-то дисгармония. Вы что-то упустили, а может, и я. Это надо обдумать...

— Все возможно. Я голову теряю... Я могу провалить роль...

— Молчите, Нильс! Не терять должно искусство от всего, что мы переживаем, а выигрывать. Иначе мы с вами не артисты, а дилетанты. И потом вы ошибаетесь. Или я знаю вас лучше, чем вы себя знаете? Сцена ваша стихия. Вы счастливее и сильнее меня. И в своем чувстве ко мне вы тоже заблуждаетесь. Вы любите вашу жену — как женщину... А меня... замолчите!.. Я знаю... А меня — как красоту... как вдохновение... Вот почему я радостно смеюсь, когда вы говорите мне о любви. Я горжусь этим. Я счастлива. Вот и мой трам... До свидания, Нильс! До завтра...

Он смотрит ей вслед потемневшими глазами. Каким голосом она сказала сейчас это «до свидания!» Точно влюбленная, которая не дожидается поцелуя. Это не игра. Так не задрожит нарочно голос. Но что же тогда? Что?

В большом и уютном номере Лоскутной гостиницы Катя сидит за остывшим самоваром. Перед ней опустевшая коробка конфет. Она пробует последние, откусывает по кусочку и смакует начинку. «Надо нынче опять

купить. Только уж в другой кондитерской», — думает она, делая гримаску.

В дверь стучат, и тотчас входит Нелидов.

Она бежит навстречу.

— Не простудись, Катя. Я разденусь. Очень морозно.

— Пустяки. От кого письмо?..

— От мама... Ты ничего не имеешь против того, чтоб дома встретить Новый год? Мама тоскует. И одной ей тяжело вести хозяйство.

— Конечно, Николенька! Поедем хоть завтра.

— А ты не соскучишься? — робко спрашивает он.

— С тобою? — вскрикивает она.

Крепко прижавшись к нему, она, как кошечка, трется о его плечо щекой. Ее опьяняет запах его одежды, запах его бороды и кожи.

— Хоть на край света с тобою, Николенька! — страстно шепчет она. И в ее влажных глазах он видит беззаветную, молодую страсть.

Разве это не то, чего искал он? Разве это не все, что нужно ему?

Вот они дома наконец, после трех месяцев мытарств по столицам.

Анна Львовна поправилась, ходит с костылем. От хозяйства не отказывается.

— Я буду помогать вам.

Старуха снисходительно треплет невестку по смуглой щеке.

— Где тебе, такой... птичке... Поживи без забот. Все придет в свое время.

Нелидов с недоумением бродит по комнатам. Отчего это потолки словно ниже стали?

В столовой он останавливается и смотрит в окно на сугробы снега. Все дорожки в парке занесены. Расчистили только главную аллею к их приезду.

Почему стремился он сюда так страстно? Что ждал он найти в этих старых стенах?

В кабинете он стоит долго, озираясь по сторонам. Его губы тесно сжаты. И сдвинулись вплотную темные брови.

Он запирает дверь на задвижку и садится в кресло, у письменного стола.

Наконец! Наконец один!

После трех месяцев жизни с глазу на глаз — какая отрада! Не делать веселого лица. Не говорить ненужных слов. Молчать с угрюмыми глазами, которые все еще глядят в прошлое. Не уверять в любви, когда погасла чувственность, а душа беззвучна.

Годом показали ему эти три месяца. Мог ли он думать, что сам

пристрастится к театрам и концертам? Что он охотно будет ездить в кинематограф, который Катя любит, как дитя? Мог ли он думать, что в нем проснется стремление быть на людях, в толпе? Не люди нужны ему, а одиночество. И, как это ни странно, его дает только толпа. Там можно молчать. Лишь изредка перекидываться беглыми, ни к чему не обязывающими фразами... Можно даже не вслушиваться в вопросы.

Говорить с ней? О чем можно говорить с птичкой, которая звонко щебечет и греется в лучах солнца? Приятно слышать ее песенку. Юностью веет от этого личика. Свежестью пахнет от смуглого тела. И он его целует ночью. Но разве это не все, что нужно птичке?

Любит ли он ее? Конечно... Она дала ему целый месяц забвения. Она одарила его чувственными наслаждениями. И не скоро еще будет он сыт ее ласками.

Наконец, его трогает ее любовь. Так доверчиво льнет она к его груди. И он должен... он всегда должен думать о счастье Кати! Разве не взял он на себя этого обязательства? Разве нет в его сердце благодарности за все, что эта смуглая девочка беззаветно бросила ему под ноги?

Обидеть этого ребенка? Сделать больно птичке? Нет, нет... Никогда!

Он тоскливо озирается. Темнеет в комнате. Крепнет мороз за окнами. Трещат тихонько старые стены. Шуршат и шепчут что-то обоим.

Нет! Не надо слушать. Не надо вспоминать! Мечты не сбылись. Сильные умеют их забыть. Вот за этим столом он писал *ей* свое последнее письмо. Вот на этот стол упал он тогда головою. И плакал, первый раз в жизни плакал, как мальчик. О чем? Разве одна, в конце концов, не сможет заменить другую? Кто сказал, что любовь одолеет силу жизни, силу привычек, силу пошлости?

И вдруг стены исчезают.

...Тихо лепечут над ними липы беседки. Тихо светлеет предрассветное небо. В эту ночь в его душу впервые постучались Любовь и Нежность. Они вошли тогда, обнявшись, как сестры. И он понял все, что было. И все что будет. Как будто кто-то на ухо шепнул ему. И он ответил: «Да...»

Они прощаются. Как призрак, белеет у входа в беседку молодая березка. Она задевает росистой веткой их лица. Он просит Маню быть его женой. Она молчит. Он спрашивает ее о Яне. Она опять молчит. Она не хочет сказать, чем больна ее мать, И вдруг тцета всех его усилий, тцета его опасений и борьбы встает в его сознании. И он говорит ей с холодным отчаянием:

«Да, в сущности, это все равно! Ни ты, ни я не можем ничего изменить в нашей судьбе. И свершится то, что написано в ее книге...»

И еще он сказал ей тогда: «Я знаю, я чувствую, что ты будешь моей гибелью...»

И вот в тот день, когда он писал ей у этого стола свое последнее письмо, отчего рыдал он? Не почувствовал ли он в ту минуту холод и молчание Вечности? Не увидел ли он тогда очами души черную яму, внезапно возникшую на пути его жизни, по которому он шел так гордо и смело, полный веры в себя?

— Николенька, отвори! Ты заперся, Николенька!

Он вскакивает и хватается за голову. Забыть! Все забыть.

Он отодвигает задвижку.

Катя обхватывает руками его шею.

— Николенька... Я соскучилась... Мамап зовет обедать.

На этот раз он сам крепко прижимает ее к груди.

Вот она Любовь, которую он звал. Что нужно еще? Красота, юность, здоровье, желанья — все держит он тут, в своих руках. Боль пройдет. Прошлое забудется. Жизнь сильнее Мечты. Разве сильные оглядываются? Вперед идут они. Без колебаний. Только глядят вдаль — на намеченные цели. И достигают всего.

— Катя! — как-то болезненно срывается у него. И он прикивает к ее полуоткрытым от удивления и радости губам.

Как-то раз Иза заболела инфлузницей и долго не решалась выходить. Маня должна была все уроки брать в школе.

— Я пришла, — сказала она, — но с условием... Собачки и какаду изгоняются на время. Я их не должна слышать.

— Дерзкая! — сверкнув глазами, бросила ей креолка.

Никогда потом Маня не могла забыть этого вечера. С глазу на глаз остались две артистки. Никто не стоял между этими близкими душами. Ничто не нарушало настроения. Жесты были свободны, мимика богата и естественна. Каждое душевное движение легко и просто облекалось в изящные и благородные формы. Они обе так увлеклись работой, что не заметили, как наступила ночь.

— Мы с ума сошли! — сказала Маня — Как я вернусь домой?

— Оставайся у меня.

— О, что ты? Агата полицию подымет на ноги. Она всегда предсказывает, что меня убьют апаши. Как будто наше Нейи не заселено чиновниками и бедняками! Я позвоню Штейнбаху.

Когда он вез ее домой, его поразило выражение ее лица.

На другой день Маня сказала ему.

— Буду брать теперь все уроки у Изы. Мне это удобнее.

Он молчал. Не смел ни спрашивать, ни выяснять. Но сердце его сжалось. Она уходила от него все дальше.

— Пожалуйста, распорядись своим вечером, — через неделю заявила она ему. — Не жди моего звонка. Я могу вернуться на трамвае. Тысячи людей ездят так. Мне совестно тебя стеснять.

— Это вздор! — страстно перебил он. — Ты сама знаешь, что я счастлив даже этими беглыми свиданиями.

Она нахмурилась, уловив горечь в его словах.

— Разве у тебя нет никакого дела?

Сердце его заколотилось в груди от ее враждебного тона. Уж не презирает ли она его за то, что он посвятил ей жизнь! Но женщины так не рассуждают.

Она бежала сюда, как на свиданье. Она спасалась тут от капризов Ниночки, от «рацей» Агаты, от любви Штейнбаха. От своего рабства перед ребенком. От своей власти над Марком. Свобода... Свобода! Только с Изой Маня была самой собою. Как могла она думать когда-то, что в этой комнате нельзя ни учиться, ни грезить? Между нею и золотыми чертогами искусства падали все стены. И двери в волшебный мир творчества распахивались перед нею только здесь.

Но чем больше сближались эти две женщины и чем яснее в обыденной жизни определялись родственные черты этих двух натур, тем ярче и внезапнее выявлялась вся рознь их темпераментов и творчества. Дружба бледнела, отступала в тень. Выдвигалась борьба двух сильных индивидуальностей, борьба за свое мирозерцание, за свой взгляд на искусство, за свое собственное творчество. Самая великая и ценная борьба. И это больше всего привлекало Маню.

Она быстро поняла всю односторонность и несложность творчества Изы. В этом была сила креолки. Но в этом же таилась ее слабость. Искусством жеста — самым трудным и сложным — она владела в совершенстве. Она была создана для пантомимы. Ее руки говорили так же страстно и выразительно, как и ее лицо. Все яркое и непосредственное, все сильные душевные движения, все аффекты: гнев, страх, отчаяние, ненависть, особенно ревность — Иза умела передавать неподражаемо. Она находила дивные жесты для любви, незабываемую мимику страсти. В ее творчестве было что-то стихийное, грозное или опьяняющее. Великой артисткой была она в мимодрамах, в этих испанских танцах Малагенья, или в балеро и фанданго, требовавших темперамента прежде всего. И Маня понимала, что ей никогда не достигнуть такого совершенства.

— Я перед нею восковая кукла, — говорила Маня Штейнбаху. — Все испанские «технические» танцы я с моим здоровым сердцем исполню теперь лучше ее. Но ни качучу ни малагенью я не протанцую, как она. Для этого нужно родиться испанкой.

Но все утонченное, одухотворенное, мистическое, так пленявшее Штейнбаха в творчестве Мани, было недоступно креолке. Она и Маня — это были два мира, два начала: Дионис и Аполлон.

Изучая какой-нибудь танец или пантомиму, Маня вносила в исполнение частицу собственной души, какие-то новые и сложные психологические тонкости. Образ, созданный Изой, исчезал. Намечался другой. И он требовал уже новых жестов, новой мимики.

И если творчество Изы бенгальским огнем ослепительного фейерверка зажигало все образы, все чувства, все события пантомимы, то творчество Мани было тем лунным блеском, который из повседневного создает сказочный мир.

Вот эта неустанная борьба, которую Маня начала сознательно, раздражала Изу. На этой почве у них случались самые бурные ссоры. Все ученицы рабски подражали Изе. С какой стати эта Marion сочиняет свое?

— Не так... не то... Что у тебя за глаза? Разве испанки смотрят на мужчину такими глазами? Только на мадонну глядят так. Ты разве никогда не любила? Никого не целовала? У тебя не было ребенка? Не хочу этих жестов! Начинай сначала...

Маня выдерживала этот натиск с упрямой складкой губ.

Через секунду Иза ударяла кулаком по клавиатуре. Гул шел по комнате, а она вскакивала со сверкающими глазами. И браслеты ее звенели. И серьги качались.

— Да ты смеяться надо мной стала? Дерзкая... негодница... Убирайся, если не хочешь работать! У меня нет времени для тебя...

Как-то раз, дав ей успокоиться, Маня заговорила мягко:

— Сядь, Иза... вот сюда на диван. Не надо играть... не волнуйся... Смотри мне в глаза. Гляди на мои руки... И если ты не поймешь меня, значит, я ничего не стою! Но ты забудь о роли, которую ты создала. Отрешись от прошлого. Гляди без предубеждения, как смотрят дети на сцену. И если есть правда и красота в том, что я изображаю, она откроется перед тобой. Перед тобой прежде всего...

Гнев Изы утих. Глаза ее померкли.

Она покорно села на диван.

Вытянув шею, она глядела. И тревога росла в ее душе. Да, она это предчувствовала, в сжатых и приподнятых у переносицы бровях ее

читался страх неизвестности. Страх дикаря от соприкосновения с чуждой ему культурой.

И как будто одобрение этой женщины было высшей целью в жизни Мани, она вложила всю душу в попытку передать созданный ею образ.

— Ничего не стоит это новшество! — кричала Иза, сверкая глазами из-под гривки жестких волос, падавших до бровей. — Ничего я не поняла. Все это вздор! Пришла учиться, так учись! А не хочешь, убирайся.

И какое это было торжество, когда Иза следила за нею, не прерывая ее танца, не расхолаживая критикой, сама захваченная чужой индивидуальностью! Маня предчувствовала свою победу и в этих нервных, отрывистых аккордах, и во влажном блеске прекрасных черных глаз. Когда она кончала танец, а креолка молча опускала руки на клавиатуру, Маня с трепетом обхватывала ее плечи и целовала это темное лицо, смеясь и чуть не плача от счастья.

В эти минуты она верила в себя. Так бороться, так побеждать — какая радость!

Эти удивительные часы заканчивались так же странно.

Выпив шоколаду и весело болтая о всяком вздоре, они брали фиакр и мчались. Куда? Никто не отгадал бы.

В тихих, торжественно молчаливых залах Лувра, где при лунном свете ночью, наверно, бродят тени бледного Карла IX и Катерины Медичи, с ее змеиными глазами, — посреди комнаты, под витриною, на черном бархате лежит громадный бриллиант, исторгнутый из недр таинственной Голконды, одно из чудес света, гордость Франции! День и ночь приставлен человек сторожить это сокровище. Человек служит камню, как раб. И что удивительного? Людей много. Бриллиант один. Люди исчезнут, он будет жить.

Сторож знает в лицо обеих женщин и улыбается.

Они подходят на цыпочках и стоят в созерцании, не обмениваясь ни одним словом. Как зачарованные глядят они на таинственную игру лучей. Что рождается в их душах в эти минуты? Ах, не надо ни уяснять, ни разбираться! Это то же настроение, что от шелеста желтых листьев в лесу, от звуков Чайковского, от блеска Сириуса в ночном небе, от созерцания Венеры Милосской.

Вот и она. Тихонько садятся обе женщины на красную бархатную скамью и глядят в гордое лицо. Какое упоение в этом безмолвном созерцании чуда, созданного рукой человека! Исчезает действительность. Сколько времени прошло? Входил ли кто сюда или они были втроем с богиней в ее красной комнате?

Ширится и растет душа от созерцания бессмертной красоты.

И только когда сторож в ливрее, проходя мимо, скажет: «Mesdames, музей закрывают», они встают и медленно уходят, обновленные, смирившиеся, благодарные. Ах, что бы ни ждало впереди: крушение надежд, измена, потеря иллюзий, болезнь и смерть — все равно! Благословенна жизнь за то, что в ней есть такие минуты!

— Иза, — говорит Маня, стоя в крошечном сквере, под башней Сен-Жермен л'Окзерруа, — посидим здесь! Я не могу сейчас идти домой. Я ничего уже не люблю в такие минуты. И никого. Понимаешь? Надо, чтобы душа сошла вниз с высокой башни. Ах, как много ступенек надо ей пройти, чтоб опять почувствовать землю!

Бьет одиннадцать часов. Катя открывает глаза.

Она одна в комнате, на широкой двуспальной кровати. Николеньки нет. Где он? Вот досада! Она проспала. Гости разъехались так поздно.

Эта комната лучшая во всем старом флигеле. И Катя любит в ней каждую вещицу. Влюбленными глазами глядит она на пиджак мужа, перекинутый на спинку стула, на его галстук, брошенный у туалетного стола, на его штиблеты, вот тут, на коврике. Расцеловала бы, кажется, все.

Она закрывает глаза и блаженно улыбается. Ах, эта ночь!

Вот уже пятый месяц, как они женаты, а она влюблена без памяти, как в первый день, О нет! Сильнее. Теперь вся жизнь ее в нем, в его близости, в его ласке. Как могла она думать, что ей будет скучно в деревне, рядом с ним? Просыпаться утром и глядеть тихонечко в его лицо, пока он спит, ловить трепет его век. Потом с криком блаженства обвить руками его шею.

Она любит спать. Но для него встает рано. Как весело слушать, когда он умывается! Он всегда стесняется ее, уходит за ширму, такой чудак! А у нее нет никакого стыда перед ним, ни чуточки. Разве они не муж и жена?

— «Жена...», — повторяет она вслух. — «Madame Нелидова...» И звонко хохочет, пряча лицо в подушку.

Она болтает почти не умолкая, шутит, смеется... Он любит этот смех... Сам всегда молчит. Она говорит за двух... «Канарейка», зовет ее свекровь, Ах, она очень заботлива и любезна! Но холодом веет от ее ласки. Катя чувствует, что это ревность соперницы-Чудачки эти матери! В их глазах сын всегда принц, для которого нет в мире достойной женщины.

Дверь скрипнула.

— Катя! Неужели спишь?

С радостным криком она подымается на постели.

— Поди сюда!.. Сюда... Скорее!.. Поцелуй меня...

— Скоро завтрак, Катя. Я уже выпил кофе.

— Без меня? И тебе не стыдно? — с огорчением перебивает она. — Ну вот... ты мне испортил весь день.

Он бледно улыбается и целует ее затылок. Она сладострастно ежится вся, словно кошечка, у которой чешут за ухом.

— Ты со мной еще выпьешь? Я сейчас, сейчас буду готова. Зачем ты меня не разбудил?

Она свешивает с постели точеные ножки. Ей приятно, что он их видит. Ей всегда хотелось бы читать одно желание в его глазах. Но он быстро отворачивается и идет к двери.

— Я пришли к тебе Одарку. Она принесет теплой воды.

Кате досадно. Это прямо удивительно! Точно в нем два человека. Днем один, ночью другой. Один корректный, усталый, рассеянный, равнодушный, сказала бы она, если б не эти ночи, безумные ночи. Как пугали ее раньше его грубые и жадные ласки! Теперь она их любит. Она их ждет. Ждет целый день, сладко мечтая о ночи. И если обманут надежды, она плачет тихонько, чтоб не разбудить его. Так жаль мгновений, уходящих без этих радостей.

В столовую она входит чинно, как пансионерка.

Анна Львовна ласково улыбается, Катя целует у нее руку.

Николенька читает вслух газету. Катя двигается беззвучно, как мышка. На столе такие вкусные коржики. Глазки ее поблескивают, когда она пьет ароматный кофе.

Жизнь так хороша! Нынче они поедут к Галаганам. Будут блины. Потом катанье с гор. Вечером танцы.

Что-то говорят. О каком-то новом французском романе. В газете рецензия.

— Интересно, Николенька? — звонким голосом спрашивает она.

— Нет. Тебе этого нельзя читать, — отвечает он просто.

Ну что ж? Нельзя, так нельзя! Мало ли книг на свете? Наташа Галаган обиделась бы на такую опеку. Чудная эта Наташа! Она не понимает, что значит быть замужем!

Катя на цыпочках выходит из столовой, чтобы прибрать разбросанные в спальне юбки. Одарка копается. А Николенька сердится. Он любит порядок.

Напевая, прячет она по ящикам комода белые перчатки, кружевную fichu ^[4], сумочку, веер. Они кончат обсуждать газету и поговорят о хозяйстве. А там завтрак. И она велит запрячь санки и поедет кататься с Николенькой. Как она любит кататься! Нынче солнце. Ей хочется кричать и

вертеться по комнате. Жизнь так хороша!

Вчера, после блинов, когда мужчины пили кофе, Катя увела подругу в эту спальню. Наташа покраснела, увидав кровать. Чудачка! Чего тут стыдиться, раз они муж и жена?

Наташа заговорила о модном писателе. Она восторгается его талантом, «Николенька его не терпит, — возразила Катя. — Он не хочет, чтоб я его читала...» А Наташа так и вышла из себя: «Какой возмутительный деспотизм! Неужели ты подчиняешься? Ведь ты уже не девочка...»

Глупенькая Наташа! Не все ли равно, раз Николенька любит ее именно такую?

Вчера ночью, когда гости разъехались, она не удержалась и передала ему этот разговор. И он сказал ей тогда... Как он это сказал? «Я хочу, чтобы ты была моею вполне. Всеми помыслами, всеми желаниями, всеми мечтами. Ничего своего не должно быть у тебя. Ни вкусов, ни мнений. Все мое...» Ах, это лицо его, когда он говорил! Этот голос.

Катя стоит, зажмурившись, уронив на пол кружевной платочек. И как он еще сказал? «Ты должна забыть то, что знала и ценила. И все получить от меня заново. От меня одного...» А она спросила его робко: «И тогда ты будешь любить меня? Всегда? Всегда, Николенька?» И он ответил ей: «Всегда!»

Это было вчера, вот здесь, вот в этой комнате. И он обнял ее тогда. Как свою вещь, взял он ее тогда. Трепещущую и покорную. Всегда покорную. Разве не вся ее жизнь в нем? В этой ласке, в его любви?

А пока Маня учится и грезит, Штейнбах работает для ее будущего с упорством и ловкостью.

Не раз, одеваясь в передней Изы, Маня слышит звонки. На лестнице она встречает каких-то подозрительных людей с бегающими пронзительными глазами и слащавой улыбкой. Все они — с портфелем под мышкой. Все они при виде ее отступают назад с аффектацией, свойственной французам, снимают шляпы и кланяются. Все глядят в ее лицо, кто с большей, кто с меньшей наглостью. Все смотрят ей вслед, пока она спускается по лестнице, и чему-то двусмысленно улыбаются.

— Кто это к тебе ходит? — спрашивает Маня креолку.

Та делает наивное лицо.

— А что?

— Удивительно противные физиономии! Не сердись. Но меня просто бесит, как они на меня глядят!

— Это журналисты, Маня.

— А... Вот что! Зачем они к тебе ходят?

Иза странно смотрит на свою ученицу.

— А ты никогда не читаешь газет?

— Никогда!

Иза, усмехаясь, качает головой. И серьги ее тоже качаются.

— Почему же так?

— У меня делается совсем пусто в голове, когда я прогляжу газету. Не знаю, почему это так. Но до того скучно становится жить на свете!

— А вот о тебе вчера еще появились две заметки в «Figaro» и в «Matin» ^[5].

— Обо мне?

— Ну, да. О нас обеих. Ко мне ходят репортеры и все выспрашивают о тебе.

— Что за нелепость, Иза! Какое им дело до меня?

Но Иза закипает внезапно гневом. Она чуть не плачет. Что это такое? Она отказывается понимать. Это или притворство, или... глупость? Люди добиваются известности всеми путями. Платят за это деньги. А тут счастье само идет в руки, а она недовольна. И почему журналистам не интересоваться ею, Изой Хименес, имя которой когда-то было у всех на устах?

— Да... тобою... Но я-то при чем?

— А ты моя ученица. Все знают, что ты будешь дебютировать в Париже. О тебе говорят. Твоего дебюта ждут. Чего тебе еще? Другая была бы счастлива на твоём месте.

Маня молчит.

Уходя, она говорит:

— Иза, дорогая, назначь мне такие часы, когда я не рискую встретить этих господ у твоего подъезда. Не сердись! Я глубоко благодарна тебе за твои заботы. Но мне все это противно.

— Урод! Психопатка...

— Да... да... наверно, так. Но я не могу... И не хочу быть другой! Если я стою чего-нибудь, сама по себе, то это покажет будущее.

— Какая дьявольская гордость!

— Да, я горда. Только себе хочу я быть обязанной своей карьерой.

Каждый год весной Иза дает вечер-балет в одном из театров, чтоб показать результаты работ в ее школе.

Всякий раз публика заранее записывается в передней Изы на кресла и ложи. Все это — богатые люди, родители, друзья и знакомые учениц.

Места в первом ряду рассылаются бесплатно светилам артистического мира. Журналистам и рецензентам предоставляются лучшие ложи.

Антрепренеры театров и известные импрессарио никогда не пропускают этих вечеров. Школа Изы Хименес выпустила уже немало хореографических звезд, которые пожидают лавры в Америке и получают огромные гонорары. Вся пресса посвящает этому вечеру кто несколько строк, кто даже целый столбец.

На этот раз выступает Маня. Она дебютирует в трико и газовой юбочке, как танцовщица классической французской школы, в грациозном «Papillon» ^[6] знаменитого Пуни.

Когда занавес подымается, на сцене стоят лучшие четыре ученицы школы. Они неподвижны, с застывшими лицами. Это дремлющие цветы.

Маня — мотылек — лежит на земле вдали и словно спит под чарующую музыку вальса. Вдруг она просыпается, встает. Движения ее рук напоминают трепет крыльев.

Мотылек вспорхнул и понесся по сцене. Надо быть танцовщицей, чтобы понять, сколько технических трудностей в этом танце мотылька. На носках Маня перебегает всю сцену, делает двойные пируэты, скользит, легкая и воздушная, как будто действительно крылья у нее за спиной. Так и чувствуется радость жизни, непосредственная и стихийная. Словно нежится мотылек под ярким солнцем. И кружится, опьяненный воздухом и собственным движением.

Столько зноя и увлечения вносит Маня в этот, казалось бы, бесстрастный классический танец, что публика выходит из равнодушия.

Занавес падает под аплодисменты. Иза, однако, не дорожит выражениями родственных чувств. Она ждет, что скажут рецензенты, а главное — импрессарио.

Все первое отделение занято теми же классическими танцами. Тут и ученики Изы в трико, кажущиеся обнаженными. Дамы любят этими торсами. Причудливые позы и грациозные движения групп ласкают глаз.

Но вот вбегает Нильс. И все женские сердца забились. Его встречают аплодисментами. Он уже известность.

«Какой красавец!» — думает Штейнбах со щемящим чувством.

Нильс сложен, как греческий бог. У него длинные, стройные ноги, худощавый, мускулистый и гибкий торс. Он летает по сцене, пленяя пластикой движений. Он с изумительной легкостью делает самые трудные антраша и кабриоли итальянской школы, в которых когда-то на всю Европу прославился Вестрис ^[7]. Для Нильса тоже как будто нет ничего

невозможного. Как и для Мани, танец — его родная стихия.

Иза улыбается. Она гордится им. Она верит, что Нильс прославит ее собственное имя в Америке, где она прошла когда-то, как триумфатор, из города в город. Новое поколение уже не помнит ее.

Пятнадцать минут антракта. Иза окружена... Она поворачивается во все стороны, не зная, кому отвечать. Успех Нильса огромен. Антрепренеры настаивают на свидании с ним сейчас же.

— Сейчас? Нет, нельзя. Он переодевается. Он выступает во втором отделении в малагенье с Marion. Это лучший номер вечера. Его нельзя отвлекать. Когда все кончится... Во всяком случае, — гордо заканчивает Иза, — без моего разрешения Нильс не подпишет контракта. Вам придется иметь дело со мной...

— Куда его приглашают? — спрашивает Штейнбах Изу, когда они опять входят в ложу.

— В Америку на целый год, в турне.

«А-га! — думает Штейнбах. — А когда он вернется, я приглашу его в студию. Надо с ним поговорить заранее. Маня права. Он крупный артист...»

Когда занавес поднимается вновь, перед зрителями открывается экзотический уголок Испании. Это харчевня.

Испанцы пьют и играют в кости за столиками. Женщины едят и пьют что-то. И болтают, сидя в сторонка. Говорят, конечно, жестами, это пантомима.

Из-под занавеса, заменяющего дверь и слегка отдернутого, врывается полоса дневного света. Виден угол пустынной площади, залитой жгучим солнцем, старые дремлющие здания. На сцене тихо. Слышен только стук костей да взрывы женского смеха.

В оркестре раздаются звуки танца. Сперва далекие... Ближе... ближе... Вдруг занавес откидывается. Женская фигура, вся перегнувшись назад, спиной к публике, появляется на ярком фоне. В раскинутых руках замерли кастаньеты. Это уличная танцовщица. Живописный костюм — оранжевая юбка с накинутым на нее темно-синим шарфом — представляет эффектное красочное пятно. Лица ее не видно. Вдруг она оборачивается и точно перелетает через сцену. За нею врывается испанец. С полным страсти лицом он хочет ее схватить. Она гневно вскидывает голову. Он отступает, смущенный.

Все бросили игру. Все узнали ее. Встали и аплодируют. И она пляшет, отдаваясь подхватившей ее волне радости. Знойно и немолчно трещат

кастаньеты. Она пляшет, изгибаясь какими-то змеиными движениями, как будто нет у нее костей, вся трепеща от жажды счастья, в томлении то замедляя темп, то снова бешено кружась. Красавец испанец, опьяненный этой женщиной, признается ей в любви. Зачем слова? Когда говорят эти глаза, губы, эти руки?

Он ловит ее. Она ускользает. Насмешкой дышит ее лицо. Испанец настигает ее вновь. Это какой-то любовный поединок. Чтоб возбудить его ревность, она, танцуя, перегибается то к одному испанцу, то к другому. Ласкает или обжигает их глазами. Мужчины взволнованно протягивают к ней руки. Женщины смущены. Они ревнуют.

А она все пляшет, пляшет, создавая вокруг себя какую-то знойную атмосферу, целый вихрь поднявшихся желаний. И кастаньеты трещат, как кузнечики в июльский полдень. Назойливо, страстно, опьяняюще.

Мимика Мани удивительна. Целая гамма чувств — в этом лице и гипноз чужой страсти постепенно овладевает ее душой. Гнев сменяется удивлением. Нега заволакивает глаза и замедляет движения. Гордость исчезает. Какая-то мягкость проскальзывает в ее жестах, а движения Нильса становятся все увереннее и сильнее.

Вдруг неожиданным прыжком он хватает танцовщицу, перекидывает всю ее фигуру на сгибе локтя, почти подняв ее на воздух.

Кастаньеты падают из ее рук. И они глядят друг другу в глаза. Он — торжествующе улыбаясь, как победитель. Она — со страхом, как побежденная.

Весь зал встает, захваченный на этот раз.

Маню и Лихачева вызывают без конца. Иза сияет. Она не так вела эту сцену. Но все равно! И это тонко сделано.

Штейнбах угрюмо молчит. Идея танца ему ясна. Он не ревнует к Лихачеву. Нет. Он верит в глубокое равнодушие Мани ко всему, что не искусство. И если негой загорались ее глаза и чувственная улыбка, которую он так безумно любит, раскрывала сейчас ее губы, он знает хорошо, что не для Лихачева была она. Маня перевоплощается в роль. Пусть Нильс и все другие увлекаются ею! Пока Маня идет в гору, пока душа ее полна стремлением и борьбой, нет для него ничего страшного. И было бы смешно терзаться тем, что, танцуя, они кажутся безумно влюбленными. Он это знает.

Но есть что-то в этом танце жуткое и новое. Не совсем ясное, то, что надо додумать и понять. Она как бы вскрыла внезапно в этот вечер в своем танце тайники своей души; то, чего, наверно, она не знает сама. Это ужас ее перед любовью. Ее бессилие перед нею. Ее жгучую, сознательно

заглушённую мечту.

На другой день газеты дают отзывы. Нильс признан первоклассным артистом. Он получил уже несколько выгодных предложений. Marion называют восходящей звездой.

Штейнбах читает Мане и фрау Кеслер все эти отзывы. У него уже альбом завелся, и наверху выгравировано «Marion». Эти первые отзывы он вырезает и сам наклеивает в альбом.

Маня мягко улыбается. Она задумчива и кажется счастливой.

— А это кому? — спрашивает фрау Кеслер, видя, что Штейнбах развертывает вторые экземпляры и опять вырезает что-то.

— А это я отсылаю Соне и... Федору Филипповичу.

Жизнь Кати потемнела. Катя несчастна. Впечатление такое, будто в летний полдень сизая туча закрыла солнце. И все поникло в предчувствии грозы.

Что же случилось?

Они были у Галаганов на второй день Пасхи. Там обедали Горленко, и Федор Филиппович, и приехавшая из Москвы Соня.

Николенька побледнел, увидав ее. Да, Катя это ясно помнит. И за обедом молчал. И ни разу не улыбнулся.

Почему он так побледнел? Почему Соня так презрительно сжала губы? Она кивнула ему, как принцесса. Дрянная девчонка! Как она смеет так обращаться с ее мужем?

Лицо Кати запылало.

Во время десерта этот противный Федор Филиппович вытащил из кармана какие-то бумажки.

— Mesdames et messieurs, — сказал он, лукаво блестя глазами, — кто из вас помнит Маню Ельцову?

Разом смолкли голоса. Дамы брезгливо поджали губы. Мужчины встрепенулись. Катя низко опустила голову. Ей было страшно взглянуть на мужа.

Выждав паузу, как бы наслаждаясь эффектом своих слов, Федор Филиппович сказал:

— А вот что пишут о ней в парижских газетах...

И он прочел вслух. Правда, отзывы удивительные.

Восходящая звезда балета...

— А вот и ее портрет...

Газета стала переходить из рук в руки.

— Да, она. Кажется, она легко одета? — сконфуженно прошептала

хозяйка, разглядывая в лорнет фигуру Мани.

— Просто-напросто, голая, — расхохотался Лизогуб.

— Mon cher ^[8], это античный костюм, — снисходительно поправил дядюшка. — Вы разве не видели Дункан? Marion действительно сложена как статуя.

Дамы разглядывали портрет, покачивая головами. У них было такое выражение, словно они собирались замять неприличный разговор.

— Откуда это у вас? — враждебно через стол крикнула дядюшке madame Лизогуб.

Она заметила смущение дочери и бледность Нелидова. Но он презрительно щурил глаза и тщательно чистил яблоко для жены.

Вдруг раздался звонкий и холодный голосок Сони:

— Это прислал нам ее жених.

— Разве она замуж выходит? — быстро перебил изящный правовед, сын Галагана.

— Да, за барона Штейнбаха.

— А!..

Словно вздох прошел по комнатке. Наташа держала в руках газету. Наклонясь над ее стулом, мужчины разглядывали босоножку.

— Она очень интересна! — громко сказала Наташа, нарочно подчеркивая свой восторг. Катя понимала хорошо, что это нарочно. И у нее уже дрожали слезы в груди...

— Какие ноги! — крикнул правовед.

У мужчин ноздри раздувались, когда они взяли газету и отошли к окну.

— Эффектная женщина...

— Я бы никогда ее не узнал... Совсем другое лицо... Какое-то строгое...

— А вот и открытки, — сказал дядюшка. — Она и Нильс... тоже знаменитость... В испанском танце...

— Покажите. Покажите! Дайте сюда!

— Вот это она! Узнаю! — игриво крикнул Лизогуб, не замечая гневного взгляда жены. — Изогнулась как! Сколько неги в глазах! Ах, черт возьми, какая женщина!

— Он тоже удивительный красавец! — подхватила Наташа. — Федор Филиппыч, подарите мне эту открытку.

— С удовольствием. У Сони есть другая.

— Никогда я не поверю, что он женится! — вдруг заявила Лизогуб, покрывая своим конральто поднявшийся шум. — Охота ему жениться, этому Штейнбаху. Кто женится на таких?

— Почему? — крикнула Соня.

— Ah, ma petite! ^[9] На чьи же деньги она там живет?

— Она зарабатывает сама. Она делает рисунки для иллюстрированных журналов.

Хохот встретил эти слова. Соня озиралась с пылающими щеками.

— Знаем мы эти журналы! — подхватил Лизогуб. — При миллионах Штейнбаха...

Соня встала, резко двинув стулом Ее круглое лицо было бледно.

— Господа, довольно! — так и зазвенел на всю комнату ее высокий голос. — Прошу не забывать, что Маня Ельцова моя лучшая подруга и что, если вы все забросали ее камнями...

— Тсс... тсс...

— ...то я-то, ведь, от нее не отреклась.

— Аль ты не в своем уме, дивчина? — через стол спросил Горленко дочь.

— Я не могу оставаться в доме, где оскорбляют моих друзей! — истерично выкрикнула Соня и ударила рукой по столу. — Я сейчас уезжаю.

— Да что с тобой, Соня!

— Какая несдержанность!

— Оскорблять беззащитную, одинокую девушку! — уже рыдала Соня. — И вам, дядюшка, не стыдно молчать?

Дядюшка комично развел руками.

— Ну вот. Теперь я виноват...

— Дайте ей воды! — закричала хозяйка. Все вскочили.

— Sophie, ma chérie ^[10], - мягко говорил Галаган, целуя в голову Соню, рыдавшую на его груди. — Успокойся. Кто ее оскорбил? Пусть себе пляшет! Мы очень рады за нее.

— Пойдем ко мне, — ласково сказала Наташа, обняла Соню за талию и увела к себе.

В столовой все молчали, сконфуженные, растерявшиеся. Мужчины усиленно курили. Дамы кушали фрукты.

— Она переутомилась с этими экзаменами, — мягко объяснила Вера Филипповна. — Совсем расстроила себе нервы.

Правовед знал о мимолетном романе Нелидова.

— Вы хотите взглянуть? — любезно предложил он, протягивая ему газету.

— Позвольте, — небрежно отозвался Нелидов.

Тут в первый раз Катя подняла глаза. Она не могла удержаться, чтобы

не взглянуть на мужа. Если бы даже спасение души ее зависело от этого, она все-таки взглянула бы. И она увидела... Что? Пустяки, скажут другие. Но она-то знает... Она верит сердцу, дрогнувшему в ее груди. Николенька кинул один только взгляд на эту «Маньку». Один только. Беглый. Но такой острый, такой жадный. И рот его дернулся. Он тотчас передал газету дальше и стал чистить мандарин.

Вот и все. Они скоро уехала У нее заболела голова.

Всю дорогу он молчал. Словно не видел, что она сидит рядом, что ей страшно, что она ждет его ласки.

С этой минуты ушло безмятежное счастье Кати.

Никогда не считала она себя ни ревнивой, ни подозрительной. А теперь она уже боится верить. По ясному зеркалу души прошла трещина. Этого не изменишь.

Черной маленькой змейкой вползла ревность в эту душу. И пригрелась там, незаметная, на самом дне.

Пение Кати смолкло. Реже звучит ее смех. А ведь Николенька не замечает. Он бежит в поле. Спешит на охоту. Возвращается усталый. И засыпает, не обняв ее. Иногда он словно не видит рядом с собою ее смуглого тела, которое так любил недавно. И на какие только ухищрения не идет она, чтоб разбудить его чувственность.

Он спит, А она думает, думает. Неужели охлаждение? Так скоро? И за что? Но разве можно жить дальше без его страсти? Лучше умереть. И она горько плачет. Ей жаль себя. Жаль юности и жизни.

Иногда на нее нападает ужас. Она видит его усталые жесты, жесткий взгляд. Холодом веет от его улыбки. Он еле скрывает этот холод под маской светской любезности. Это с нею-то? С женой? Разве она не чувствует, что он постоянно стремится уйти от всех?

И Анна Львовна тоже тревожно следит за ним и думает что-то.

Что думает она?

«Зачем он женился, если не любит? Зачем обманул?»

Катя плачет потихоньку.

Но он возвращается к ней. И это похоже на то, что он вернулся из далекой-далекой страны. Пристально глядит он тогда в это исхудавшее личико. Словно спрашивает; «Да разве это ты, о которой я мечтал, которую ждал всю жизнь? У тебя было совсем другое лицо».

И как горячи тогда его поцелуи! В кровь кусает он ее шейку, ее губы. Вновь путает ее давно забытой исступленностью ласк.

И в замученную душу Кати входит такая отрадная тишина. Разве они

не навеки вместе? Разве не соединил их Бог? Кто посмеет разлучить их? Кто?

Но они возвращаются, эти сомнения. Черная змейка, спящая на дне сердца, шевелится опять и больно жалит.

В печальных глазах Николеньки она ловит образ другой женщины. Разве счастливый человек может так улыбаться? Быть таким далеким и рассеянным? Не слышать вопросов любимой женщины, когда она тут, рядом?

А потом опять — опять, после недели отчуждения, он ласкает ее. И она засыпает, успокоенная его страстью. Она спит с улыбкой на губах. Забыть все! Быть счастливой. Глупая, неблагодарная! Разве не любя можно так целовать женщину? Что нужно ей еще для счастья?

Но вот она заметила еще странность. Чем горячее его поцелуи ночью, тем холоднее его глаза днем. Эти мрачные и больные глаза.

Или это ей все кажется? Только кажется ей?

Один раз в сумерки она прокралась в его кабинет.

Николенька сидел у гаснувшей печки. Такой печальный, затихший. Она взяла скамеечку и села у его ног. Она обняла эти стройные ноги и прижалась к ним лицом. Совсем как кошечка.

«Кици...» — тихонько сказал он, не отрывая глаз от огня. В добрые минуты, когда он шутит с нею, он часто называет ее так. Как она обрадовалась этому «Кици!»

Он уронил руку на ее голову. И точно забыл о ней.

И вдруг змейка шевельнулась. «Он думает о Мане», — поняла Катя.

Слезы разом закапали из ее глаз. Крупные, горячие слезы. Точно летний дождь.

Он вздрогнул. Испуганно нагнулся. Он хотел поднять ее голову. Но она прижалась еще крепче к его коленям и вся затрепетала от рыданий.

— Ты не любишь меня, Николенька! — расслышал он.

Его глаза расширились от страха. Что она сказала? Почему она так думает? Разве он чем-нибудь выдал себя? Дал угадать ей или матери свою тоску, свою тайну?

— Ах, это ложь! — крикнул он, отвечая не ей, а себе. Себя стараясь уверить. — Катя... Кицинька... моя девочка... Я люблю тебя. Тебя одну...

Катя перестала плакать. Он выдал себя.

Она покорно поднялась. Он посадил ее на колени и стал гладить ее лицо. И она опять закрыла глаза.

Это было что-то новое между ними. Такое прекрасное. Горечь и обида

стихали под этой нежной рукой.

— Я стар для тебя, Кици, — расслышала она.

И крепче прижалась к нему, обвив руками его шею, как бы говоря: «Нет... Нет... Нет...»

— Видишь ли, все изменится, когда у нас будут дети. Когда это будет, Кици? Ты не знаешь?

И в сердце Кати, всегда боявшейся материнства, в сердце этой маленькой женщины, жаждавшей только радостей, вдруг забились сладкая надежда: ребенок вернет ей Николеньку. Ребенок свяжет их еще крепче. И не страшны тогда ей будут ни эти минуты его молчания, ни эти образы минувшего.

Только конец марта, но в Париже жара и пыль. Мужчины ходят в одних пиджаках. Горничные и прачки без шляп, с цветком в волосах. Эти цветы пестреют на каждом углу: фиалки, желтые ромашки, левкой. Элегантные дамы еще носят меха и муфты, но и они украшены букетами живых цветов.

Близ собора Парижской Богородицы в сквере звенят детские голоса и смех.

Две женские фигурки медленно пересекают площадь и останавливаются недалеко от портала.

— Вот это и есть? — шепотом спрашивает Соня, глядя на цветную розетку из стекла.

— Да, да. Хорош?

— Лучше, чем я думала. Помнишь, как мы по ночам читали Виктора Гюго?

Маня покупает ей и себе по огромному букету желтой ромашки. Они садятся на лавочку, и Маня целует цветы.

— Люблю их. Вот эти особенно. Они похожи на солнце.

Соня смолкает, утомленная впечатлениями. Она приехала только вчера вечером. И на Северном вокзале ее встретили Штейнбах и Маня. Они все горячо обнялись, и радостна была эта встреча.

Прямо с вокзала они поехали в предместье Нейи, где живет Маня. Там их ждала фрау Кеслер с горячим кофе и домашним ужином. У них же Соня и осталась. Они вчетвером проговорили почти до зари. Потом Марк уехал.

— А твоя Ниночка? — уже перед сном вспомнила Соня.

Маня приложила палец к губам и на цыпочках повела ее в свою комнату, Ночник слабо озарял люльку. Соня склонилась над нею с невольным благоговением. Ведь это было чудо перед нею. Дитя любви.

И только утром Соня разглядела это точеное личико, надменные губки и серые глаза. Она покраснела невольно, целуя крохотную ручку, а Маня засмеялась.

— Вылитый отец! Правда?

Соня замолчала, потеряв разом почву под ногами. Неужели Маня не разлюбила Нелидова? И, как бы отвечая на ее мысль, Маня спокойно добавила:

— Она будет очень хороша собой. В ней сказывается порода.

— Бог с ней, с породой! — перебила фрау Кеслер. — Было бы сердце.

— А почему ты думаешь, Агата, что он бессердечен? Нет, он даже великодушен и благороден. Зачем судить его так строго? Он только... средний человек, нормальный. Конечно, я желала бы, чтобы Нина была интереснее и сложнее своего отца.

«Разлюбила, слава Богу!» — подумала Соня Они с утра уехали осматривать город. В два они должны все съехаться у Марка. У него же завтракать. Так условились накануне. Соне дорога каждая минута. Она вырвалась только на две недели, заработав на эту поездку уроками полтора ста рублей. Чего стоило уговорить мать и отца! Особенно отца... Она всегда в Лысогорах встречала Пасху. Но главное она «променяла» их. И на кого же? На содержанку Штейнбаха!

Щеки Сони загораются всякий раз, когда она вспоминает эти жестокие слова. Вчера она все выспросила у фрау Кеслер. Правда, Маня мало зарабатывает теперь, когда ученье занимает так много времени. И без помощи Петра Сергеевича они никогда не могли бы прожить. Нуждаются ли они? О нет. Теперь нет. Каждое первое число Петр Сергеевич присылает им шестьдесят рублей. Конечно, ни одной лишней копейки они не тратят. И фрау Кеслер ведет хозяйство. На столе у них часто бывают конфеты, торты, ананасы, бананы, но все это подношения Штейнбаха.

Маня страшно горда. Она всегда делает вид, что всем довольна, И не позволяет ему заглянуть в ее жизнь. Но фрау Кеслер знает, как тяготит ее необходимость брать деньги у брата на жизнь, а у жениха на ученье. Но скоро ведь это все кончится. Маня поступит на сцену.

Маня вдруг встает, и мысли Сони разлетаются, как вот эта стая голубей у их ног.

— Отдохнула? — спрашивает Маня, подняв левую бровь.

И опять на один миг Соня видит, что из этого нового лица Мани выглянула прежняя девочка.

— Да, милая, пойдем! — С приливом любви Соня жмет руку подруги.

— Теперь сюда! — говорит Маня. И вдруг брови ее сдвигаются, расплываются зрачки, и Соня чувствует приближение чего-то мистического... Как тогда, в бассейной пансиона, где гулко падали капли среди ночной тишины. А они, растрепанные и заспанные, готовились к экзамену и боялись оглянуться, потому что сзади треснули половицы и кто-то холодом дохнул в их затылки.

— Я сюда тоже хожу почти каждый день, — шепчет Маня, как будто боится быть подслушанной.

Соня идет за нею как во сне. Недалеко. Повернули за угол, и перед ними встает низкое, странное здание, без окон на фасаде. Дверь открыта. Одни входят, другие выходят. Все больше простолюдины. Много женщин с грудными детьми на руках, с девчонками, цепляющимися за юбку матери.

— Что это, Маня? Где мы?

— Это морг. Иди за мной.

Комната слева освещена большим окном. Вдоль всей стены, против входа, под витриной выставлены трупы. Сейчас их пять. Трое мужчин, две женщины. Имена их неизвестны. Поэтому все имеют право взглянуть на них. Быть может, и признают? Тогда их похоронят.

Они лежат здесь в тех одеждах, какие надели в последнее утро своей жизни. Всем далекие. Для всех чужие. И от живых уже не ждут ничего.

Как любит Маня отгадывать последние мысли и чувства, запечатлевшиеся навеки в застывших чертах! Эти мутные зрачки, эти таинственные улыбки — как влекут они Маню! С какой неодолимой силой. Вечность глядит на нее с этих мертвых лиц. Вечность говорит с нею этими сомкнувшимися навек устами.

Вот странствующий монах, в коричневой сутане, подпоясанный веревкой, с тонзурой на темени, с бритым лицом. Широкий синий шрам виднеется из-под прилипших ко лбу волос. Он убит, должно быть, на большой дороге. Быть может, он нес деньги, пожертвованные на монастырь. Когда Маня заходила сюда три дня тому назад, его еще здесь не было.

Мертвец слегка склонил голову набок и сощурил один глаз. Он словно подмигивает Мане. И сколько презрения в опущенных углах тонкого рта! Сколько равнодушия к земному и небесному.

Соня отворачивается невольно. А Маня глядит, глядит...

Или вот эта женщина. Она лежит здесь уже несколько дней, никем не признанная. И завтра ее похоронят. Она еще молода. Сквозь рубище сквозит зеленовато-смуглое тело. Как выразителен ее рот! Покорностью дышат все линии ее опустившихся безвольно черт. Печально поблескивают

чуть полуоткрытые остекленевшие глаза. «Она покончила с собой, — думает Маня. — Она ушла из жизни. Ушла, как лишняя, как побежденная. Нужда? Любовь? Одиночество? Кто послал тебя на смерть?»

Но с еще большим трепетом ищет Маня в этих мертвых масках первое веяние потустороннего мира. Первое предчувствие открывающейся тайны.

Она берет Соню за руку.

— Гляди в это лицо, — шепчет она.

Старик, в старомодной пелерине, лежит последним справа. Большой, костлявый старик. Его крупное лицо обросло седой бородой. Глаза широко раскрылись и смотрят вверх. Но опять-таки всего выразительнее его рот, с синими жесткими губами. Кажется, что в последнюю минуту умирающий крикнул изумленно: «А!» Но это чувство уже не здешнего мира. Об этом говорят расширенные, словно ослепленные чем-то глаза. Это не скорбь. Не страдание. Не страх. Скорее радость.

— Как умер он? — тихо спрашивает Соня.

— Сторож говорит, что когда его привезли сюда, на нем не было ни раны, ни царапины. Его подобрали на улице. Он умер, наверно, от разрыва сердца. Я уже третий раз гляжу на него, Соня. И он мирит меня со смертью. И, вообще, все они... Разве есть что-нибудь страшное в их лицах? Вглядишься! Я люблю приходить сюда. Мы точно ведем безмолвный разговор. Я спрашиваю, они отвечают. Когда я ухожу отсюда, все мои печали и сомнения кажутся мне такими маленькими. А этого старика я успела полюбить. Я вижу отблеск бессмертия в его глазах. И мне самой уже не страшно жить. Я говорю себе: если устану бороться, если утрачу веру, если сломит меня то, чему я кидаю вызов, то всегда есть выход. Чего стоит жизнь без мечты и стремления?

— Ты раньше так не говорила, — шепчет Соня. — Ты просто жила и радовалась.

— То было раньше. А теперь я думаю: лучше умереть, чем изменить себе!

Соня и Маня поднимаются вверх по бесконечной старой улице Сен-Жак в Латинском квартале.

Они подходят к дому, где живет Женя Липенко, медичка. Соне поручено передать ей деньги и письмо.

Они поднимаются на шестой этаж угрюмого старого дома. На стук отворяет сама Женя. Это высокая, красивая брюнетка с темными глазами южанки. Но лицо у нее землистое, губы бледны.

— Письмо от Зины? — радостно вскрикивает она, и на щеках ее

появляются ямочки. — Пожалуйста, войдите! Садитесь.

В большой комнате, с двумя окнами и балкончиком, холоднее, чем на улице. Уныло чернеет пасть пустого камина. Мебели мало, и комната кажется нежилой. Но здесь живут двое.

«Насколько у нас в общежитии лучше!» — думает Соня.

Женя уже прочла письмо. Бережно берет она русские бумажки и кладет их на стол. И по этому жесту Маня догадывается, как ценит деньги русская студентка в Париже.

— Ах, Боже мой! — Соня вдруг вскакивает. — Простите! Мы помешали вам готовиться!

— Сидите, сидите, пожалуйста! Всего не переучишь. Надо же и вздохнуть. Я и сама рада новым лицам. Точно свежего воздуха пустили в погреб. Мы ведь, ей-Богу, здесь точно в погребе сидим. Клиника, Сорбонна, да столовая, да клуб наш. И нет ходу дальше! Все те же да прежние. Ни новых лиц. Ни свежих слов. И жизни нет совсем. Ученье стоит страшно дорого. Лишения ожесточают. Нервы напрягаются в этой борьбе за свое место в мире. Некогда оглянуться. Все бежит мимо. И ни о чем не жалеешь. Лишь бы уцелеть! Лишь бы вынырнуть.

— У нас легче, — шепчет Соня.

— Еще бы! Зато если вы захотите действительно получить знание и опыт, приезжайте сюда. Клиники здесь поставлены удивительно! Всем хватит работы. Все больницы для вас открыты. Только трудитесь. Это не то что в «Записках врача». И если и здесь вы ничему не научитесь, то вините одну себя.

— Семь лет! — после паузы задумчиво говорит Маня. — Это все-таки ужасно. Уйти из жизни на семь лет!

Женя быстро оборачивается.

— Вы тоже студентка?

— Нет, я готовлюсь на сцену. Здесь, в Париже.

— А!

Левая бровь Мани поднимается, и она лукаво глядит на Соню. Сколько выражения в этом коротеньком «А!».

Но слова Мани все-таки задели в душе Жени какую-то надорванную струну. И она жалобно зазвенела вдруг в ее голосе:

— Лучше об этом не думать, знаете ли? Бот мне уже двадцать восемь лет. А что я видела кроме книг, да товарищей, да профессоров? Разве для них я женщина? Разве мне они интересны? А других нет. Да никогда на этом и не останавливаешься. Вот только в дни рожденья, когда письма придут из России, да под Новый год вдруг точно в грудь тебя кто толкнет.

«Жила ли ты?» — крикнет кто-то в уши. И засмеется. И от этого смеха станет холодно.

— Отчего? — вдруг звучит наивный вопрос. Но в глазах Мани сверкает насмешка. — Я сейчас сказала глупость про эти семь лет. Разве так упорно стремиться к чему-нибудь не есть уже счастье?

Женя бледно улыбается.

— Мы привыкли под этим словом понимать другое.

Дрогнули тонкие ноздри Мани. Потемневшими глазами Соня перебегает с одного лица на другое. Какие разные обе! Но какие сложные!

— А почему именно другое? Почему именно в любви вы видите это счастье? А я вот слушала вас и завидовала. Да. Завидовала до боли. Если б каждая из нас так упорно шла к цели, не зная колебаний! Место в жизни, говорите вы? Да оно уже есть у вас. Вы его заняли. А любовь? — Маня вдруг улыбается, и глаза ее светлеют. — Разве так трудно полюбить кого-нибудь?

— Трудно, — медленно говорит Женя, не сводя глаз с этой девушки, на которую за минуту перед тем не обращала внимания.

— А почему? — все также наивно звучит настойчивый вопрос.

Женя краснеет и разводит руками. Соня отодвигает лампу и кладет локти на стол. Сердце ее стукнуло. Вот... вот... она сейчас узнает... Поймет все загадочное в этой новой Мане.

— Почему трудно полюбить? Как вы странно спрашиваете! Ведь это на всю жизнь.

— Да? — уже весело и задорно спрашивает Маня.

Женя отодвигается, растерянная.

— Надо уметь выбрать, — говорит она глухо. И смущенно, почти враждебно глядит на Маню. — Надо, чтоб убеждения, стремления...

— Все, словом, было бы одинаковое? — подхватывает Маня и зло смеется. — А скажите, вы верите в загробную жизнь? Вам не страшно резать трупы?

— Почему вы меня об этом спрашиваете?

— Нет, ответьте. Вы верите?

— Я позитивистка, уже в силу моей профессии-. Как же вы хотите...

— Да, позитивистка и доктор в недалеком будущем. А что касается любви, вы так же наивны, как любая институтка. У вас, пожалуй, даже больше иллюзий.

И Женя ясно видит холодную усмешку и полные мрака глаза. «Интересное лицо! — думает она. — Но какие противные слова она говорит! Наверно у нее есть прошлое...»

— Такой цинизм в ваши годы, — говорит она, точно думая вслух.

Маня встает, как ужаленная.

— Почему цинизм? Вы не считаете себя циником, отрицая веру толпы, веря только науке? Почему желать, чтоб в центре женской жизни стояла «Мечта и Жажда», как говорит мой любимый поэт, значит быть циником? Я высоко ценю любовь, как радость и вдохновение. Но у нас еще не научились любить радостно и легко.

— То есть как легко? — вскрикивает Женя.

— Без драм, без слез, без проклятий. Ничем не жертвуя этой любви.

— Что значит «ничем»?

— Ни одним шагом, ведущим по намеченному пути... Ни одной мечтой своей, ни одной частицей своего собственного я. Встречаться с восторгом и расставаться без сожаления. Отдохнуть на минуту и идти дальше.

— А! — срывается у Сони. Но Женя смущена.

— А не будет ли это распущенностью? Что же свяжет вас?

— Любовь... Только любовь, которую у нас гонят, которую унижают, которой боятся, как чумы. Не будет ни лжи, ни насилия, ни цинизма, которого вы так боитесь. И боитесь справедливо. Вот где будет истинная поэзия. Но не ищите ее там, где людей связал долг или жалость. Или страх чужого мнения и ответственности. Любовь — великое чувство. И горе тому, кто хочет ее опошлить, привязать на цепь, втиснуть ее в рамки. Она смеется и уходит. А люди остаются связанными, как каторжники. И в холодном бесстыдстве повторяя жесты, утратившие значение и смысл, они хотят уверить себя и других, что это любовь. Ах, не жалейте, если вы ее не узнаете — такую любовь! Ваша душа останется свежей и невинной. Отдайте ее Мечте. Науке. Славе. Человечеству. Мечта привела вас сюда. Она же и поведет дальше. Вы — счастливая без *счастья*! И чем больше будет таких, тем светлее станет жизнь И мы победим самое страшное в нас — нашу Женственность.

Женя взволнованно встает.

— Простите... Я только сейчас начинаю вас понимать. Да, это не цинизм Наоборот, вы удивительная идеалистка! Я не все поняла, это надо продумать. Но я чувствую, что стою перед стройным и новым мирозерцанием. Наша женственность... О, да... Она враг наш. Она тянет нас к подчинению. Но чтоб дойти до такого вывода, надо много выстрадать.

Маня уже овладела собою и опять сдержанна. Брови приняла прежние спокойные линии. Губы холодно улыбаются.

— Ах, это было давно! И я рада этим урокам жизни. Они дали мне то, что выше счастья. Свободу души.

Гости поднимаются и застегивают свои пальто. Женя крепко жмет руки девушек.

— Спасибо вам! Вы сейчас так много дали мне обе. Хорошо бы встречаться! Право... Вот вы уедете, Софья Васильевна... А ведь вы-то остаетесь здесь?

— Я в таком же водовороте, как и вы, — говорит Маня серьезно. — Учусь, долблю лбом стену. Но она рухнет, знаю. А тогда... вот тогда придет Жизнь.

Лицо Мани словно светлеет при этих словах. А темные глаза становятся огромными и прозрачными.

— «Жизнь!» — как эхо повторяет за нею задумчивая Женя.

А Соня грустно говорит себе: «У меня она будет наверное бледнее того, что я переживаю теперь, на курсах!»

Маня застегивает перчатки. И, как бы угадав эти мысли Сони, она подхватывает:

— Будет ли эта жизнь ниже Жажды и Мечты, владеющих нами сейчас? Не знаю. Может быть, вся ценность была в этом именно труде, в этом именно стремлении. Увидим, увидим. Вот нас здесь трое, — говорит она, блестящими глазами окидывая пустующую комнату. — И у каждой из нас в душе свой мир. И если б каким-нибудь чудом вся наша энергия, все наши порывы, грезы и упорство воплотились на земле — о, какое грозное, какое прекрасное воинство ринулось бы отсюда в мир для борьбы и достижения! Мы молимся разным богам: вы — науке, Соня — человечеству, я — искусству. Но путь у нас один. Трудный путь ввысь. Вы меня понимаете? Ах, если б всем нам подняться вверх, не устав на полдороге! Не изменив себе.

— Будем верить! — говорит Соня.

— Верить, — мечтательно повторяет Женя. Вдруг Соня ударяет себя по лбу рукой и хохочет:

— Я совсем с ума сошла! Ведь у меня еще одно письмо. Ваша сестра просила меня передать его одной русской.

— Курсистке?

— Нет, нет. Писательнице... Nina... постойте, сейчас взгляну фамилию.

— Nina Glinska, — быстро перебивает Женя.

— Да... да... да... Вы ее знаете?

— Еще бы! Это интереснейшая женщина из всей русской колонии!

Она пользуется огромным уважением. Поезжайте к ней сейчас же. Она всегда дома от четырех до семи.

— Где же она пишет? — спрашивает Маня.

— Она сотрудница «Revue blanche» и «Revue de deux mondes» [\[11\]](#). Пишет по-французски. О русской литературе больше всего. Многих писателей наших перевела. Она очень талантлива. Это недюжинная женщина. И я рада, что вы ее увидите. Между прочим, она социалистка. Вам это говорила Зина? Она сблизилась с французскими рабочими. Настолько сошлась с ними, что совершенно порвала с так называемыми «буржуа»...

— Как странно! — задумчиво шепчет Маня.

На прощанье Женя опять жмет им руки горячо и доверчиво. Глаза ее с невольной завистью останавливаются на лице Мани, на своеобразно смелом изгибе ее бровей и губ.

— Вы, наверное, любите жизнь? — вдруг срывается у нее грустно и робко.

— Люблю! — говорит она.

И улыбается так широко и радостно, что в комнате точно светлеет.

— И не боитесь ее?

— Я? Что бы она ни дала мне впредь, я благословляю ее за все. И далее страдания и слезы мои я буду любить, когда они придут. Все это жизнь. Прекрасная жизнь!

— Зяма... — шепчет Маня, большими глазами глядя на Соню.

— Что он тут делает? Сторожит кого-то? Господи! У меня даже сердце забилося.

— Почему он в Париже?

— Он писал Розе, что учится здесь. Она ему даже денег посылала.

— Как ты думаешь, он нас тоже узнал?

— Конечно. И чего-то испугался.

При свете фонаря они читают на белой дощечке, прибитой у двери подъезда, Nina Glinska. Соня входит на крыльцо. Она слышит явственно за дверью мужской голос, говорящий по-русски: «Вы ничем не рискуете. За вами не следят. И мы примем меры...» — «Вам я не смею отказать», — звучит еще явственнее ответ.

В то же мгновение распаивается дверь. Из квартиры выходит человек. Он так высок и худ, что кажется воплотившимся Дон-Кихотом. Он очевидно смутился, увидав девушек. Они мельком видят бледное лицо аскета, белокурую бородку, тесно сжатые губы и холодный взгляд серых

глаз.

Незаметным жестом он надвигает шляпу на брови, так, что лицо его остается в тени. Но Маня говорит себе, что даже через десять лет, увидав в толпе это лицо, она его узнает.

— Pardon! — говорит он, чуть дотрагиваясь до шляпы и словно пронзая взглядом чужие лица.

Слегка согнувшись, высокий, весь в черном, он проходит под аркой ворот и скрывается.

— Зяма пришел с ним, — шепчет Соня. Кто-то держит изнутри дверь на цепочке, и на Маню пристально глядят чьи-то глаза.

— Кого вам угодно? — слышат они женский голос. Женщина спрашивает по-французски.

— Madame Glinska, une lettre di Russie [\[12\]](#), - быстро говорит Соня.

Через мгновение они уже в передней. Там совсем темно.

— Вы русские? — спрашивает женщина. И холодок недоверия звучит в ее голосе.

— Да... Вам письмо от Зины Липенко... Я из Москвы.

— Ах, вот как? От Зины? Пожалуйста, войдите.

Она запирает дверь, накладывает цепочку. Ее манеры меняются мгновенно. Она идет в следующую комнату, откуда в переднюю падает широкая полоса света, и делает грациозный жест рукой.

— Пожалуйста, разденьтесь.

Это среднего роста стройная женщина, лет тридцати пяти. Она одета строго, вся в черном. Ее светлые волосы лежат в бандо вдоль щек, худых и отцветающих. Глаза ее светлые и холодные. У нее умный лоб, смелые брови, темные волосы, и тонкая улыбка.

Через маленькую столовую она ведет их в свой кабинет. Это большая и мрачная комната, совсем лишенная женственных украшений и кокетливых мелочей. Все темно, строго, солидно. Кабинет мужчины. Лампа под зеленым абажуром озаряет рабочий стол, заваленный книгами и рукописями. Переплеты тускло поблескивают позолоченными корешками за стеклом шкафа. На стене портреты Элизе Реклю и Кропоткина. В глубине комнаты рояль.

«Она любит музыку. Может быть, сама играет и поет», — думает Маня.

— Прошу садиться, — ласково говорит Глинская, придвигая себе кожаное кресло. — Я сейчас пробегу письмо.

Девушки озираются с любопытством и смущением. Они обе

бессознательно робеют перед этой женщиной. Разве не сумела она устроить свою жизнь по-новому? Не отвергла ли она торные дороги? Не идет ли она, одинокая и гордая, по пути, подсказанному ей убеждением, чувством, призыванием? Ее обстановка буржуазна. «Но ведь это все нажито ее собственными трудами, — думает Соня. — Каждый стул, каждая чашка в этой квартире куплены на ее трудовые деньги. И если она любит комфорт, кто смеет упрекнуть ее в этом? Разве каждый рабочий не стремится украсить свою жизнь радостями мещанина? Ведь это только удовлетворение самых законных эстетических потребностей?»

— Вы надолго сюда? — приветливо спрашивает Глинская, складывая письмо.

— Увы! У меня только одна неделя. А Париж необъятен...

Нина Глинская смеется и становится более ственной.

— В самом деле, здесь можно растеряться. Не могу ли я помочь вам? Что вы хотели бы видеть?

Соня открывает рот. Беспомощно разводит руками.

— Все! — срывается у нее.

Маня не может удержать смеха. Глинская тоже звонко хохочет и кажется теперь моложе лет на десять.

— Однако из всего надо выбрать только немного. Вот сейчас с одного слова вы раскроетесь передо мною. Что вас больше интересует за границей? Люди? Или вещи? Под этим я понимаю: соборы, музеи, памятники.

— Конечно, люди! — вскрикивает Соня. «А меня, конечно, вещи», — думает Маня.

— Ну вот и договорились! В Сорбонне были?

— Завтра идем и туда, и сюда.

— А завтра вечером общее собрание феминистской Лиги «Les droits des femmes» [\[13\]](#)... Хотите со мною?

— Еще бы! Как я рада!

— А разве это не скучно? — спрашивает Маня, поднимая левую бровь.

— Как для кого, — отвечает Глинская, тонко улыбаясь. — Я нахожу эту лигу крайне интересной с тех пор, как в нее, вопреки желанию учредителей и председательницы, влилась новая волна: женщин-работниц.

— Значит, это не буржуазная лига, как у нас, в России? — спрашивает Соня, вся подаваясь вперед.

Глинская берет со стола красивый разрезной ножик черного дерева и играет им. Она откинулась в глубь кресла. Маня с удовольствием видит небольшую изящно обутую ногу.

«Эта женщина хочет нравиться», — думает она.

— И здесь лига долго была буржуазной, все первые десять лет. И сейчас председательница — аристократка. И секретарь — дама из высшего общества. Между прочим, образованная и талантливая женщина. И товарищ председателя — ученая буржуазна. Да и самое ядро, конечно, все из буржуазии. Ее привлекали, имея в виду осуществить филантропические затеи, ясли, приюты для детей и для старух, образцовую прачечную. Но, в силу вещей, рабочий элемент, которому эта лига пошла навстречу своей петицией в палату депутатов о сокращении трудового дня для женщин...

— Ах, вот как! Даже в палату?

— А как бы вы думали? Председательницу не любят. Но ей нельзя отказать в энергии. И у нее связи. Теперь с лигой считаются. На ее заседаниях присутствуют представители прессы, от города, от министерства. Вот увидите сами.

— Как это интересно! Но вы что-то говорили о рабочих?

— Да. Я говорю, что работницы теперь сами заинтересовались этой лигой. Они вступают в ее члены. Образовали сейчас стойкую и сплоченную оппозиционную группу. Они отлично знают, чего они хотят и куда им идти. Правлению трудно бороться с новым течением. Эти женщины не желают над собой опеки господ. Вы послушали бы, как они говорят!.. Возможно, что председательница покинет свой пост под давлением этой враждебности. Завтра это выяснится.

— Так что лига, в сущности, демократическая? — вскрикивает Соня.

— Н-не скажу сейчас. Но к этому идет несомненно.

Заседание Лиги уже началось, когда Соня и Маня вошли смущенные, запыхавшиеся. Они совсем заблудились в этом огромном Париже. И даже план, с которым все время справляется Соня, не помог. Они не знали номера трамвая. Они не подозревали, что это так далеко от них и в такой глуши.

Они садятся на свободные места. На них ыикают и оглядываются. Из третьего ряда им кто-то кивает. Элегантная дама в черном, в шляпе с огромными полями и пером. Кто же это?

— Да это Глинская, — первая узнает Маня. — Какая интересная! Совсем другой человек.

На эстраде три женщины. Председательница, важная седая дама в шляпке, читает что-то тягучим и недовольным голосом. В черепаховый лорнет на длинной ручке она глядит в рукопись. Слева — угрюмая и плохо одетая брюнетка... «Совсем как у нас, в Обществе — шепчет Соня. — И на

француженку непохожа»... Справа — очаровательная женщина, вся в белом, в белой весенней шляпе с фиалками. Это секретарь. Сняв длинные до локтя перчатки, она что-то пишет и скользит изредка умными, насмешливыми глазами по лицам публики.

Маня оглядывает всех по привычке и с бессознательной жадностью художника. Как и всюду, мало красивых и значительных лиц! Впрочем, вот одна. Брюнетка с теплой шалью на плечах. Она причесана по моде, но без шляпки. Должно быть, работница. Их тут много, но все бесцветны.

Перед ними сидит старушка, вся седая, сгорбленная, опираясь обеими руками на палку. Маня видит огромный изумруд на ее мизинце. На бархатной шляпке старушки веет страусовое перо. Шелковая накидка с настоящими кружевами накинута на сутулые плечи. Это тоже дама «большого света». У нее заметные седые усы. Черты резки, губы запали. Но вот она обернулась на кого-то, кто шепчется позади, и глянула строго и ярко. Какие блестящие глаза! Маня вынимает из пальто записную книжку, с которой не расстается, и тихонько зарисовывает оба профиля: аристократки и работницы, потом прелестное лицо секретаря на эстраде и живописную голову Глинской. Мужчин немного. Вон те, направо, что строчат торопливо за маленьким столиком, наверно репортеры. А в первом ряду — представитель министерства или города. У него какой-то орден в петлице. Но лицо банальное. Типичный француз. Отчет кончен.

— Кто желает возразить? — спрашивает председательница.

— Прошу слова, — низким мужским голосом говорит брюнетка с шалью на плечах и встает. Все оглядываются.

Глинская быстро поднимается, пользуясь перерывом, и, раскланиваясь, пробирается назад, к тому ряду, где сидят Соня и Маня. Перед ними как раз пустой стул. Глинская садится.

— Слушайте внимательно, — шепчет им Глинская. — Это Дениза. Она анархистка.

— Тсс... — проносится по зале. Старушка сверкает на них глазами. Маня умиляется.

Среди внезапно наступившей тишины низкий голос работницы звучит отчетливо и слышен без малейшего напряжения во всех углах. Речь ее, сначала сдержанная, полная иронии, постепенно разгорается. Она обвиняет правление в бездеятельности, в отсутствии инициативы, в нежелании идти навстречу нуждам рабочего класса. Что сделали для них за эти три года «эти дамы, жаждущие популярности»? Их настойчиво просили устроить ясли в одиннадцатом округе, заселенном фабричными работницами.

— Но мы дали вам ясли в девятом, — перебивает председательница,

возвышая голос.

— Это слишком далеко. Мы не можем бежать туда на рассвете с нашими детьми. Мы не можем опоздать к гудку.

— Но у нас нет денег!

Ропот покрывает это заявление. Враждебные восклицания, страстные жесты.

— Тсс... Тсс...

Председательница звонит.

Работница упрекает правление в игнорировании жизни, которая меняет свои формы и неуклонно идет вперед. Женщины-работницы осознали свои права. Они проснулись Они требуют своей доли, своего места. Если они вошли в лигу как равноправные члены, делая взносы из своих трудовых грошей, то не для того, конечно, чтобы любоваться на страусовые перья дам и умиляться унижающей их благотворительностью. Довольно того, что их эксплуатируют на фабриках! Они не отказываются от работы. Они высоко несут голову в сознании, что трудятся наравне с мужчинами. Они не согласились бы быть паразитами, если бы вдруг лицо общества изменилось. Но для своих детей они требуют, не просят, а требуют безопасности.

Ее перебивают аплодисментами. Председательница звонит. Секретарь тонко улыбается, глядя вниз. Глинская экспансивно кивает головой, обернувшись к оратору. И перо на ее шляпе тоже кивает не в такт.

Работница поднимает руку, требуя внимания. Она еще не кончила. Она заявляет, что потеряв веру в эту буржуазную лигу, только на словах защищающую права женщин, она и целая группа ее товарок решили покинуть это мертворожденное Общество. Они вступают в новую лигу, единственную, которая обеспечивает свободу женщине, которая дает ей проблеск впереди, надежду на развитие ее личности, единственную, которая не превращает ее в слепую машину. Это «Ligue de la Régénération Humaine» [\[14\]](#)..

— Что такое? — громко вскрикнула Соня.

Ропот пронесется по залу. На этот раз симпатии отхлынули от оратора. Лицо председательницы надменно и брезгливо. Глинская неодобрительно качает головой. В авторе «Свободной Любви» сказала семитка, преклоняющаяся перед материнством.

Дениза вызывающе смеется.

— О, я хорошо знаю, что шокирую почтенное общество! Франции нужны солдаты, фабрикам нужны рабочие. Но, дамы и господа, мы все тоже были верными детьми церкви в юности и вступали в брак, чтя

обряды. Мы любим наших детей. И если отказываемся теперь от радостей материнства, то уж, конечно, не для того, чтобы откладывать побольше в копилку, как это делают почтенные буржуа. И не затем, чтоб наслаждаться досугом, посещая портних и театры. Наши дети брошены на произвол судьбы. Они сгорают у очага, падают с шестого этажа, ползают в грязи дворов, дышат миазмами, голодают. На улицах их давят ваши автомобили.

— Ш... ш... — раздается неодобрительный свист.

— C'est trop fort... [\[15\]](#) — громко говорит на первой лавочке представитель министерства. Но шиканье снова покрывает взрыв аплодисментов.

— Смотри, Соня! Смотри на старушку. Вот прелесть.

Она стучит своей палкой в знак одобрения. Она вся на стороне оратора, хотя сама, наверно, живет в собственной вилле. И среди карет с ливрейными лакеями, которые девушки видели у подъезда, одна несомненно принадлежит этому угасающему отпрыску старинного рода.

Работница кончает свою речь так:

— Но ведь не об одних детях идет речь. Пора и о себе подумать! Роды, пеленай, обмывай, обшивай да еще и зарабатывай на них. А жить-то когда же? Когда читать? Развиваться? Нет, довольно рабства! Одного ребенка на ноги поставить можно. А наплодишь четырех, всех по миру пустишь. Что выиграет от этого общество? Обеспечьте сперва хлеб нашим детям, а уж тогда и обвиняйте в безнравственности тех, кто не хочет их иметь!

Она садится, шум вокруг не умолкает.

— Прошу слова! — снова раздается молодой женский голос.

— Кто эта Lise? — быстро спрашивает Соня, наклоняясь над стулом Глинской.

— Работница и девушка-мать. Предыдущий оратор — замужняя женщина.

— Так хорошо одета?

— Она в белошвейной закройщицей. Сравнительно много зарабатывает. Но все, что вы на ней видите, белье, платье, даже шляпа — сделаны ею самой.

Но этот ток изящен и красиво оттеняет белокурые по моде причесанные волосы Lise. Она бледна и худа, но миловидна, и фигура ее стройна. Звонким юным голосом без тени враждебности, все время как бы шутя и вызывая смех шутками, она говорит, что явилась защищать не права законных детей, как госпожа Дениза Леклю. А увы!.. права незаконных. Но пусть не шокируется высокопочтенное общество безнравственностью этого заявления! Выйти замуж без приданого нелегко. Молодость требует своего.

А мужчины очень забывчивы. И не узнают своих детей, если даже дети похожи на них, как две капли воды.

Легкий смех слышен в зале. Лицо председательницы покрыто пятнами, и рука с черепаховым лорнетом заметно дрожит. Глинская опять энергично кивает, глядя на ораторшу, и белое перо на ее шляпе не поспекает за движениями головы.

Соня злится. Это ее отвлекает.

— Мужчины забавляются, женщины расплачиваются, — продолжает Lise. — В Париже не одна тысяча малюток, лишенных отца, и жизнь их всецело зависит от заработка матери. Но надо надеяться, что высокопоставленное общество, принимал новых членов, не будет разузнавать об их нравственности и о прошлом трудящейся девушки? А если оно признало их равноправными с теми, кому посчастливилось найти мужа, то нельзя ли уделить немного внимания и этим *bâtards* ^[16]?

— Чего же вы хотите? Говорите короче! — с еле сдерживаемым раздражением перебивает председательница.

Lise все в том же шутливо-колком тоне напоминает правлению, что не раз уже ему подавались петиции с просьбой открыть еще приют для этих детей. Тех, что имеются, недостаточно.

— В вашем округе уже есть приют *Sacré-Coeur*?

— О да, сударыня... Но монахини требуют от матери брачного свидетельства.

— У нас нет средств, мадемуазель... Из отчета, который вы заслушали...

— *Pardon*... У вас нашлись средства, чтоб приютить двадцать старух и обеспечить их до смерти? Правда, они все религиозны. Мы же не ходим к мессе.

В зале движение и смех.

— Правда, что они уважают аристократию и враждебно относятся к республике. А при слове социалист осеняют себя крестным знаменем.

Опять смех, уже громче.

— Оставим личности! — перебивает председательница. — Старух нельзя выбросить на улицу. Они неспособны к труду.

— Но и дети неспособны. А между тем — хотя они только *bâtards*, — не в них ли будущее страны? То лучшее будущее, для которого мы все живем и боремся?

Ее прерывают рукоплесканиями. Больше всех волнуются работницы. Гул и ропот одобрения долго не смолкают в зале. И звонок дребезжит непрерывно.

— Чего же вы хотите? — настаивает председательница.

И Lise говорит о том, как хрупко и шатко в современном обществе положение девушки-матери и ее ребенка. Малейшая случайность, болезнь... И она выброшена из колеи. Нет заработка. Страдает дитя. Широкими, беглыми мазками Lise набрасывает эту картину, и голос ее дрожит и неотразимо волнует публику. Видно, что все это пережито ею лично. Маня слушает с бьющимся сердцем.

Lise кончает требованием, чтобы общество, дающее детям низших классов лишь начатки образования, широко открыло бы для них ремесленные школы. Надо выпускать детей, готовых к жизни. Все стоят за брак. Но никто не думает о детях.

Она садится среди криков «Браво».

Старушка в шелковой мантилье, обернувшись всем корпусом к оратору, громко стучит своей палкой. Lise издали кланяется ей и улыбается бледными губами.

— Как хорошо! — восторженно говорит Соня, продолжая хлопать.

Председательница встает. Голова ее дрожит, и колеблется эгрет ^[17] на ее шляпе.

— Дамы и господа, — говорит она взволнованно. — Я двенадцать лет занимала свой пост. Вместе с герцогиней N. - она кланяется в сторону старушки в мантилье — я была учредительницей этой лиги. Секретарь мой — виконтесса U, и госпожа M, моя правая рука, знают, сколько любви и сил вложила я в трудное дело развития и роста этого Общества... Вы — она смотрит на Lise и брюнетку-работницу — пришли на готовое. Вы внесли сюда дух враждебности и критики. Но критиковать легко. Работать трудно.

Раздаются сдержанные аплодисменты и тотчас гаснут.

— Когда мы с герцогиней и другими членами, всего горсточкой женщин, «буржуазок», как вы говорите, начинали нашу работу, мы встретили глумление прессы, обидное равнодушие общества, злобные насмешки тех самых женщин, права которых мы защищали. Но к этому мы были готовы. И почти десять лет работали, непризнанные, непонятые, но с верой и любовью, надеясь, что нас поймет и оценит молодое поколение.

В зале движение.

— Надежды тщетны. Мы протянули вам руку в полной уверенности, что общность дела и интересов сгладит социальную рознь, что идея, которой мы служим, перекинет мост над пропастью. Повторяю: надежды тщетны... Эту руку вы отвергли. И я считаю себя вынужденной оставить свой пост.

Крики... «Non... Non... Restez!..» ^[18] прерывают ее. Она поднимает руку.

— Да, Я его оставляю, с горечью... не хочу этого скрывать. Нелегко покидать стены дома, фундамент которого заложен тобою. Но дело выше человека. Долг выше самолюбия. Вы сказали, что жизнь идет вперед. И вы правы. Дорогу молодым! Они лучше сумеют проникнуться новыми веяниями, чуждыми нашему поколению. Я хочу верить, уходя, что передаю дело в надежные руки.

На этот раз аплодирует весь зал. Старушка опять стучит палкой и удовлетворенно кивает старой подруге.

Председательница звонит. Окрепнувшим голосом, вполне овладев собою, она объявляет перерыв на пятнадцать минут и спускается с эстрады.

Она прямо идет среди несмолкающих аплодисментов к тому ряду стульев, где среди «серой» публики сидит герцогиня.

— Вы очень хорошо сделали, моя милая, — ясно слышат Соня и Маня. — Мы, действительно, устарели. Это наш долг...

— Ах, как интересно! — восклицает Соня, держась руками за щеки.

— Пойдемте! Я познакомлю вас с секретарем, — говорит Глинская.

Очаровательная француженка, обласкав темными глазами лица русских, тревожно выспрашивает мнение Глинской. Она вся внимание. Видно, что она дорожит отзывом этой женщины. Председательница оказалась на высоте, не правда ли?

— Мне жаль ее, — вдруг говорит Маня. — Я никогда не решилась бы требовать ее отставки. Она делала, что могла. Воображаю, как бесцветна и пуста будет теперь ее жизнь!

— Vous êtes charmante! ^[19] — растроганно шепчет парижанка.

«Вечно с глупостями эта Манька!» — сердито думает Соня.

— И мне ее жаль, — холодно соглашается Глинская. — Но дело выше личностей. Она это верно сказала. Демократизация лиги именно то, что нужно теперь.

— Pardon... Я должна приветствовать герцогиню, — мягко говорит виконтесса.

Маня, улыбаясь, смотрит ей вслед. Вот она, воплощенная героиня из романа Поля Бурже. Отсюда она поедет на вечер. Он ждет ее там. Завтра они как бы невзначай встретятся у подъезда ее портнихи. Какая чуждая жизнь!

— Хотите, я вас представлю герцогине? — спрашивает Глинская.

— Очень хочу! Она меня умиляет, — говорит Маня.

— Позвольте вам представить русских...

Герцогиня ласково улыбается. Девушки как-то машинально делают реверанс перед старухой.

— Русские студентки? О, славные девушки! Я их искренно уважаю.

Соня уезжает.

Шумно и весело на обеде у Штейнбаха. Здесь и фрау Кеслер с Ниночкой. Соню немного смущает молчаливая фигура старика с жутким взглядом. Первые дни он от нее прятался и обедал отдельно. Но как-то Маня сказала ему в коридоре:

— Милый дядя, не бойся! Она меня любит. Она добрая. Она ничего дурного нам с тобой не сделает.

Соня видит, как Ниночка смело просится к нему на руки и теребит, смеясь, его седую бороду. Она видит слабую тень улыбки на бледном лице маньяка. И тоже старается любезно улыбаться.

Говорят обо всем, что видела и чего не видела Соня в Париже. Потом о Москве, потом о Лысогорах.

— А что поделявает дядюшка? — спрашивает Штейнбах. — Кем он увлекается?

Соня краснеет.

— Как? Вы разве не знаете? Он обожает Лику. Они живут открыто, как муж и жена.

— В одном доме?

— Н-нет. Лика все там же, в больнице. Но они видятся каждый вечер. И... Лика ждет ребенка...

— Так неужели же она серьезно влюбилась? — вполголоса спрашивает Маня, как бы думал вслух.

— А почему бы нет? — со странной горячностью подхватывает Штейнбах. — Он красив и... далеко еще не стар.

— Ах, я не об этом, — задумчиво возражает Маня.

За десертом она вдруг спокойно спрашивает, обрывая виноград:

— Соня, а почему ты ничего не скажешь о Нелидове?

Все словно притаилось и замерло в комнате. Чувствуется, что все растерялись. Кинув быстрый взгляд на Маню, Штейнбах опускает ресницы и старательно чистит грушу. Соня глядит на подругу круглыми глазами. Спокойна, кажется. Только что-то напряженное в ее застывших бровях.

Маня ест виноград и улыбается.

— Господа! Что у вас за лица? Можно подумать, я спросила что-то неприличное. Разве о Нелидове не принято говорить в обществе?

— Да нет... я разве... Ты не спрашивала раньше... потому... Ну что тебе сказать?

— Он счастлив?

— Н-не думаю. Впрочем, кто его знает? Он женился.

— Ну конечно, счастлив, — сама себе спокойно отвечает Маня. — Катя Лизогуб как раз то, что ему нужно. А что он делает? Марк, почему ты мне не предложишь грушу?

— Сейчас очищу. И вам, фрау Кеслер? Или банан, может быть?

— Его выбрали в предводители дворянства осенью. И он очень польщен. Это я знаю от Климова. Потом он строит дом, помнишь, вместо того, что сгорел?

— Как это давно было! — мечтательно говорит Маня, глядя перед собой далекими глазами.

Фрау Кеслер давно спит. И Соня уже засыпает. Они вернулись из Гранд-Опера, и Штейнбах уехал к себе час назад.

Маня сидит на постели в одной рубашке, неподвижная, как изваяние, и белая-белая при нежном свете ночника.

— Соня... прости... я знаю, что ты устала, но ведь ты уедешь завтра...

— Что такое? Что такое?

— Пустяки... я... мне... надо спросить у тебя... Ты не сердисься?

— Что ты, Манечка? Бог с тобой! Успею выспаться в дороге... Я сама рада поговорить. — Соня сладко зевает.

— Ты... видала Нелидова, Соня? — как шелест, звучит робкий вопрос.

Дрема мгновенно рассеивается. Соня подымается на локте. Как выразительна фигура Мани! Плечи сгорблены, руки лежат на коленях, покорные. И волосы упали на плечи. И не глядит даже... Вот два пробило. Значит, она не спала совсем? И все думала о нем.

— Помнишь, я писала тебе, когда родилась Ниночка...

— Н-ну?

— Я писала, что нет у меня к нему ненависти... что я... благодарна ему за все.

С захолонувшем сердцем Соня садится на постели.

— Ты ему ничего тогда не говорила?

Теперь она подняла голову. О, жалкое личико! Глаза раненой лани. В них уже не сверкает гордость. Где ее ироническая усмешка? Весь вечер она была так весела. Так задорно смеялась. Казалось такой неуязвимой. Соне страшно чего-то.

— Нет, Маня, ничего я ему не сказала. Ведь он... уже женился тогда...

И потому я его так долго ненавидела. Только когда Марк написал мне, что ты забыла его и что ты будешь на сцене, я согласилась встретиться с ним. Это было год назад, на Пасху. Он был у нас с женой, с визитом. Но я с ним почти не говорила, только с Катей. Дядюшка и папа часто бывают у них, — Соня смолкает и ждет. — Ну... что тебе еще нужно узнать? Спрашивай?

— Катя счастлива?

Соня видит, что Маня вытянула руки и хрустнула пальцами. Что сказать? Не может же она бросить Мане в лицо все «интимности», какие эта бесстыдная Катюшка открыла перед нею. Вспомнить совестно... Конечно, Катя могла приврать нарочно, в расчете, что все это дойдет до ушей Мани. И говорила-то, в сущности, с этой именно целью.

— Плоскодонная эта Катерина ужасно! Конечно, она сияет. Такую партию сделала. Она и за Климова готова была выйти. Ей все равно. Я ее не перевариваю, этот смех ее, голос...

Соня машет рукой и ложится.

— Спи, Манечка! Тебе завтра рано вставать на урок. А ты? Скоро ты повенчаешься с Марком?

Маня молчит. Соне жутко.

— Ты его любишь, Маня?

— Кого?

— Ну конечно, Марка!

— Да... люблю...

— И не разлюбишь никогда? Это уже на всю жизнь? — строго и страстно допрашивает Соня.

— Да- да... Я никого уже не буду любить. С этим кончено.

— Ну, слава Богу! Пора забыть эти глупости. Перед тобой такая чудная жизнь! Сцена, слава... И богатство, Маня! Это тоже много значит. Сколько добра можно сделать на деньги! У тебя дочь, такой друг, как фрау Кеслер. А Марк? Он ангел... и он тебя обожает...

— А ты? — вдруг после долгой паузы доносится тихий вопрос.

Соня быстро оборачивается.

— Что я?

— Не ревнуешь?

— Вот выдумала!

— Ни капельки?

— Да я... органически на это неспособна, ей-Богу!

— Счастливица!

— Я страдаю, только когда думаю, что ты... ему больно делаешь... И тогда я... правда... тогда я тебя ненавижу... Маня, дорогая... Не терзай его!

Выходи за него скорее замуж. Ты не знаешь, как мне больно, когда... Конечно, надо презирать людей и их сплетни. Но когда любишь, то страдаешь невольно от всякого грязного намека. Вот, например, ты сама тянешь со свадьбой, а там говорят, что... это Марк не хочет жениться... И что он никогда на тебе не женится!

— Нелидов? — срывается у Мани. И она бледнеет.

— О, что ты! Нелидов все-таки джентльмен и до сплетен не унижится. А все болтают: дядюшка, отец, мама, Климов. Даже Лика... и та становится мелочной, когда речь заходит о тебе...

— Мне все равно!

— А мне не все равно! — страстно возражает Соня и садится, свешивая босые ноги. — Хотят унижить и тебя, и Марка... Никто не хочет верить, что ты зарабатываешь в немецких журналах.

— Я сейчас почти ничего не зарабатываю... некогда...

— Но ведь ты от брата получаешь на жизнь?

— Конечно.

— А они слышать ничего не хотят! — Соня ударяет кулаком по подушке. — Столько грязи, столько злобы!

— Мне все равно, — устало повторяет Маня.

— Вот, когда я вернусь, я им все скажу... И что через три месяца ты здесь дебютируешь, и что тебе уже предлагали ехать в турне на два года за сто тысяч франков. А Марк отказал за тебя. Это сколько на наши деньги?

— Тридцать семь тысяч, — равнодушно отвечает Маня.

Она ложится под одеяло. Вся жизнь словно ушла из ее лица.

— Но он, значит, рассчитывает, что ты получишь более выгодные условия?

— Да. За один год столько же...

— Вот я им все расскажу, и что ты в первую голову рассчитаешься с долгами. Ах, эта ненавистная Катька! И даже дядюшка не ушел от сплетен. В твой талант он верит... Но любви Марка оценить не может. Ты должна прислать мне все афиши, все отзывы о тебе, все рецензии о твоём дебюте... Бот я им это все кину в лицо... И если кто-нибудь после этого посмеет назвать тебя содержанкой... — хочет она сказать, но спохватывается, — я прерву с ним всякие сношения.

Маня долго молчит. Бьет три. Соня опять начинает дремать.

Вдруг прерывистый и тяжкий вздох, похожий на стон, доносится до Сони. Она открывает глаза.

— Маня... Плачешь?

— Нет... нет... Спи...

— О чем ты думаешь, Манечка? Неужели, неужели... не можешь забыть?

— Скажи мне одно, Соня... Знает он, что у меня есть ребенок?

— Да. Конечно, знает... Я писала ему.

Маня, безмолвная и белая как призрак, подымается на постели.

— Ты... писала? Когда?

— Вот, когда вы уехали в Венецию...

Маня поднимает руки к горлу. Соня опускает ресницы, чтобы не видеть ее взгляда. Любовь это? Или самолюбие? Почему она так страдает?

— Он мне ни слова не ответил. И я узнала только от дядюшки, что он уехал за границу. Весною он вернулся, а женился в октябре.

Маня молчит, поникнув головой, вся подавленная этим открытием.

— Вот видишь, как легко он утешился малым! Ему нужна самочка, как Катя, чувственная, глупенькая, покорная. Из нее он веревки будет вить. Воображаю, какая драма вышла бы, если б вы поженились тогда! Ты бы ушла через год. А еще хуже, если б осталась. Все погибло бы, и твой талант, и твоя красота. Все к лучшему, Манечка! Марк живет для тебя и тобою. А там ты жила бы Нелидовым. И все ценное в тебе умерло бы незаметно. Манечка, милая, прости! Может быть, жестоко с моей стороны говорить это тебе, но я все-таки скажу. Я это слышала от дядюшки. Нелидов уверен, что Ниночка дитя Штейнбаха.

Маня делает порывистое движение. Но сдерживается и ложится лицом в подушку.

— Не сердись, ради Бога! И забудь о Нелидове. Что он для тебя теперь? Все кончено. У него жена, своя жизнь. Он все о наследнике мечтает. Пусть думает, что это дочка Марка! Так даже лучше. Пусть думает, что ты сама вычеркнула его из своей жизни! И разве ты сейчас не самая счастливая женщина в мире?

Она долго ждет ответа.

Маня молчит.

Опять утро. Весеннее, радостное. Фрау Кеслер крепко обнимает Соню на прощанье. Консьержка привела фиакр и выносит за Соней чемодан. Сейчас они позавтракают у Марка, и он через два часа отвезет Соню на вокзал.

Завтрак оживленный. Дядя не выходит. И оттого еще непринужденнее звучит девичий смех.

Что такое с Маней? Лицо горит. Она выпила на прощанье бокал шампанского. Поминутно нервно смеется.

После кофе, когда подружки на минуту остаются вдвоем, Маня подходит к Соне и стискивает до боли ее руки.

— Так ты говоришь, что Катя чувствительна? Почему ты это знаешь? Откуда ты это знаешь?

Соня молчит, ошеломленная. Что за глаза у нее? Больные, пронзительные, угрожающие, молящие...

— Разве... я... говорила?

— Да, да, ты это сказала ночью. Значит, она сама... тебе что-нибудь рассказывала?

Щеки Сони запылали. Она хочет возразить.

— Не надо! — вдруг жалобно вскрикивает Маня. И затыкает уши.

«Ужас какой! Да она его не разлюбила...»

В этот миг входят Штейнбах и фрау Кеслер. Маня убегает.

Сердце Сони бьется. Хорошо, если он ничего не заметил. «Бедный, бедный Марк!»

Уехали, наконец! Одна...

Маня стоит в кабинете Штейнбаха. Она сняла испанскую шаль, которую подарил ей Марк в Новый год. Это настоящая испанская шаль, желтовато-белого шелка с вытканными на ней алыми цветами и птицами. Бахрома на ней длинная-длинная. Как она расцеловала Марка в тот день, когда он принес ей эту экзотическую вещь!

Сейчас Маня небрежно бросает ее на кресло. Потом подходит и садится на кушетку.

Ах, она устала! Смертельно устала. Добраться бы только домой, вытянуться и лечь. Ах, если бы заснуть хоть в эту ночь!

Она обманула Соню. Иза ее не ждет. Но нет уже силы смеяться, там, на вокзале, казаться беззаботной, говорить фразы, бросать вызов кому-то. Всю эту неделю — бесконечную неделю — она играла роль. А в груди дрожали слезы. И тысячи вопросов теснились в душе. Смолчать хотела — ни о чем не спрашивать. Не выдержала-таки. Позор!

Она падает на кушетку лицом вниз.

О, наконец! Наконец. Кто увидит эти слезы? Пусть льются они! Так тихо в доме. Сумерки падают. Какое счастье, что можно плакать! Она устала. Бороться? Идти вверх? По трудной тропинке карабкаться на вершину, не смея отдохнуть, не смея оглянуться? Ах, этот приезд Сони! Сколько всколыхнул он и разбудил.

Страстно рыдает она. Мучительно и сладко. Словно плотина сорвалась в ее душе, и хлынула, затопляя все вокруг в стихийном стремлении, река ее

печали.

Но о чем же эти бурные рыдания?

«Счастливица!» — сказала Соня, целуя ее. Разве сама она не считала себя счастливой еще недавно? Разве не жизнь перед нею? Чего не хватает? Искусство, богатство, слава, любовь — все ждет ее впереди.

О чем же плачет она?

Где-то скрипнула дверь.

Старик вышел из своей комнаты в переднюю и поглядел на вешалку.

Все уехали наконец. Но Сарра тут. Вот ее плащ. Ее зонтик в стойке. Ее шляпа.

Он стоит, прислушиваясь.

Кто-то губами коснулся волос Мани...

Она оглядывается. С криком благодарности обвивает руками шею старика. И плачет на его груди.

Ах, все они такие умные! Все они такие достойные. Но они замучили ее.

Вот этот молчит. Он ничего не требует, ничего не ждет от нее. Но знает все. Он почувствовал, что она несчастна и одинока.

О, прижаться к его груди! Сорвать с лица и с души маску! Стать самой собою! И плакать, плакать, не боясь расспросов, не боясь упреков. Эти милые руки, как они нежны!

Ты ничего не расскажешь, знаю. И эта тайна умрет между нами. Только оба мы выиграем от этой минуты страдания. Ты станешь мне ближе их. Ты, непонятный всем, далекий, с твоей загадочной любовью, с твоей темной душой.

Маня приезжает к Изе, вызванная телеграммой. В передней ее встречает Штейнбах.

— Что случилось?

— Приехал директор театра, где ты будешь дебютировать. Он был на выпускном спектакле, видел «Танец Анитры». Он говорит, что никто не исполнял его так, как ты. Не будь с ним суровой, Маня! Твой успех зависит от него.

Маня входит и сразу видит волнение Изы. Директор встает, идет навстречу Мане и целует ее руку.

Это полнокровный, лысый толстяк с насмешливыми, умными глазами. Он целует ручки у Изы, необыкновенно любезен. И опять-таки из-за его

спины обе ослепленные женщины не видят лица Штейнбаха, который искусно ведет свою линию.

— Если mademoiselle Marion будет иметь успех, а я в этом не сомневаюсь, mademoiselle подпишет контракт на тридцать представлений, по тысяче франков за выход.

— Какая противная рожа! — говорит Маня, когда он уезжает. — Он похож на мясника. Разве он любит искусство?

— Какое тебе до этого дело? Ты его любишь. И этого довольно, Marion, какая ты удачливая! Подумать, через что я прошла в твои годы, прежде чем двери такого театра открылись передо мной! Это, конечно, выгоднее, чем турне Нильса.

— Этим я обязана тебе, Иза.

На этот раз креолка задумывается. Словно пелена спадает с ее глаз. Но самолюбие не позволяет ей признаться перед Маней в охвативших ее сомнениях.

Великий день приближается. На всех столбах расклеены громадные афиши, гласящие о дебюте русской босоножки. Тут же и программа: «Сказка моей души» — трилогия.

I. Любовь. Желание. Жизнь.

II. Разочарование. Отчаяние. Смерть.

III. Пробуждение. Новые грезы. Идеал.

Парижане останавливаются перед афишами. Пожимая плечами, они читают эти странные названия.

Не проходит дня, чтобы в какой-нибудь газете хотя бы в двух строках не упоминалось имя Marion. Репортеры восторженно описывают ее внешность, Изу Хименес, ее школу, желтый салон. Сколько их хотело бы проникнуть в школу, на урок! Но Иза Хименес непреклонна.

Креолка упивается этими статьями. Она опьянела от лести.

По вечерам она читает черной Мими вырезки из газет, которые прячет в шкатулку. И улыбается воспоминаниям. Она уже не критикует Маню. Она предоставила ей полную свободу выбора тем и трактовок. Так лучше.

Репетиции начались. И вот тут-то настало мучение для всех. Директор, капельмейстер, Иза, Штейнбах — все страдают от капризов Мани, от странных, неожиданных перемен в ее настроении. Случаются дни, когда после двух-трех попыток она вдруг опускает руки, опускает губы и заявляет деревянным тоном:

— Не могу. Ничего не могу! Я сейчас уезжаю...

Директор хватается за голову...

Почему? Что за капризы! О, если бы она не была любовницей миллионера Штейнбаха!

А дело в том, что в ложах зала, погруженного в полумрак, появились какие-то тени. Мелькнуло белое перо. Послышался сдавленный смех. Это подруга директора прокралась в ложу и привела своих друзей.

— Скажите им, чтоб они ушли, — говорит Маня.

Лицо директора багровеет.

— Нет. Лучше я уйду! Настроение исчезло. Я не могу танцевать.

Директор ловит в коридоре Штейнбаха.

— Ça n'a pas de nom! ^[20] — говорит толстяк, вздергивая плечами и делая экспансивные жесты. — Артистка должна стоять выше своих настроений. С этим надо бороться. Публика платит деньги и не хочет считаться с нервами и капризами. Mademoiselle Marion должна плясать во всяком настроении. И без него, если на то пошло.

— Она скорее откажется от дебюта...

Выпучив глаза, директор смотрит в надменное лицо.

— Ah monsieur! C'est impossible! ^[21] Вы хотите меня убить? Это за неделю до спектакля, когда весь Париж говорит о нем?

Штейнбах садится в автомобиль. Маня ждет его, спрятавшись в уголок от любопытных глаз. А директор чуть не с кулаками накидывается на свою Берту. Неужели она не могла сдержать своей болтовни? И как она смела назвать без спроса постороннюю публику?

Но и Берта возмущена.

— Это не посторонние. Это мои друзья. И репортер «Matin». Он хотел заработать на своей заметке. О, эти проклятые русские! Эти дикарки!

Маня долго молчит. Потшг виновато взглядывает в смущенное лицо ИГтейнбаха и кладет руку на его колени.

— Не сердиеь, Марк! Я так несчастна. Что я могу сделать с собой? Когда я слышу шопот и смех, у меня точно крылья падают. Чтобы танцевать, мне надо чувствовать связь между мной и теми, кто глядит на меня.

— Но сначала нужно создать эту связь. Надо победить равнодушие толпы. Ее надо завоевать.

— Ах, Марк! Я с отвращением думаю о своем ремесле... Да, ремесле. Творчество живет только в тишине и одиночестве. Толпа ему враждебна. От одного ее дыхания оно умирает. Мне кажется, что только ненависть к этой публике может вызвать у меня подъем. Только жажда победы.

— Твой путь тяжел, знаю. Но его надо пройти. Она молча кладет

голову ему на плечо. И, разбитая, закрывает глаза.

А время мчится. И наступает день генеральной репетиции. Даже год спустя, в разгаре своей славы, Маня не может забыть тяжких минут, пережитых ею в этот день.

Она потребовала, чтоб никто из публики не был допущен в театр. Но директор стоит на своем. Он дал слово журналистам. Они создадут успех первого представления. Завтра утром они дадут статьи, и целый месяц толпа будет ломиться в театр. Отказать им сейчас — значит провалить все дела. Они не простят обиды. И неужели ей самой не страшно? Сгубить из-за каприза свою карьеру?

Наконец, его собственная труппа и артисты других театров? Они не могут платить такие деньги, какие бросает публика. Они — свои. Не пустить их на генеральную репетицию, не разослать приглашений другим театрам — значит нарушить все традиции, нажать себе врагов. На это он не пойдет.

Иза, Штейнбах, Фрау Кеслер, все убеждают Маню в том же. Она уступает. Но чувствует себя жалкой, ничтожной.

Когда она едет в театр, ее знобит.

— У меня такое чувство, — говорит она Изе и Штейнбаху, — точно меня сейчас разденут догола и выставят на показ.

По настойчивой просьбе Штейнбаха зал тонет в полумраке. Освещены только сцена и оркестр. Все этим недовольны. Актрисы мечтали показать свои туалеты.

Занавес взвивается над пустой сценой, задрапированной темным сукном. В оркестре раздаются звуки.

— Eh bien, mademoiselle?.. [\[22\]](#) — шепчет директор.

Маня кидает бессознательный взгляд на его взволнованное лицо. В ней самой все оцепенело. Как-то машинально она выходит из-за кулис. И останавливается.

Напряженная тишина царит в зале. Да разве это зал? Это черная пасть притаившегося чудовища. В ложах смутно мелькают какие-то призраки. Здесь где-то Иза и Марк, ее единственные друзья во враждебном, огромном городе. Внизу, в полумраке, смутно шевелятся тени. Репортеры, рецензенты, актеры и актрисы. Все враги, завистники. Все конкуренты. Беспощадные, предубежденные, не верящие ничему в своем житейском опыте. Профессионалы и ремесленники, циники и пустые души. Пышным цветом распустилось в них одно большое тщеславие. И, как сорная трава, оно задушило все нежное, все красивое и благоуханное, что там цвело

когда-то.

О, Маня знает, с кем имеет дело! Эта толпа страшнее той, что придет завтра.

Она думает это, стоя в глубине сцены. И ее собственная душа пуста.

«Боюсь этих людей? Да. Но ведь я их презираю?»

Все молчит. А страх растет. Стряхнуть оцепенения она не может.

Вдруг отчаянное лицо капельмейстера попадает в поле ее зрения...

«Почему он так бледен? Кажется, он делает знаки? Мне? Разве уже пора начинать? Но начну? Я не могу двинуться. У меня словно гири на ногах и камни на груди». «Все пропало», — говорит кто-то на дне ее души.

Странная и жуткая минута.

Капельмейстер два раза начинает прелюдию. Играет ее всю до конца. А она стоит, полуобнаженная, как вакханка, с тигровой шкурой на плечах, в венке из виноградных гроздьев.

— Что же это такое? — с искаженным лицом кричит ей директор из-за кулисы. — Почему вы не начинаете?

Она расслышала и оглядывается.

— Не могу. У меня нет настроения, — громко и спокойно говорит она.

— К черту настроение! Если его нет, танцуйте без него.

— Не могу. Не стану.

Ее слова расслышали все. Зал дрогнул. Мрак шевельнулся. Маня это почувствовала.

— Какой скандал! — говорит кто-то внизу. — Она смеется над нами?

— Нет, это интересно.

— Да кто ж так держится на генеральной репетиции? Ведь это тот же спектакль.

— Хуже.

— Какая дикарка!

— Напротив, настоящая артистка.

— Тсс... Тсс... Где-то звучит смех.

Сердце Мани дает толчок. Глаза загораются ненавистью. Слава Богу! Вот этого вызова ждала ее оцепеневшая душа.

Маня видит как во сне какую-то белую призрачную фигуру, которая мечется в ложе бельэтажа, перегибается и делает отчаянные знаки.

«Иза... — И теплая волна вливается в душу. — Иза страдает... Сейчас, сейчас...»

Просто, как у себя дома, она подходит к оркестру и говорит:

— Сыграйте еще раз все. Все, с начала до конца!

И закрывает глаза. И с закрытыми глазами медленно, как лунатик, идет

по сцене, чего-то ожидая, глядя в свою душу, стараясь забыть о чужих и враждебных людях.

Вот... вот... знакомые звуки...

Перекинулся воздушный мост от одного берега к другому. От плоской действительности к стране вымысла. Задрожал и загорелся, как радуга. Ах, радуга над Земмерингом! Во мраке дрожит и переливается воздушный мост. Грезы сходят по нему на землю. Сны обманувшихся. Счастлив тот, кто их видит!

Звуки в оркестре зовут.

Она закружилась по сцене в какой-то медленной, странной, но ритмической пляске, полузакрыв глаза, простирая вперед руки. Волна забвения. Она поднялась... Идет... Сейчас подхватит. И в ней утонет ее страх, ее презрение к себе за этот страх. Утонет все.

Вот она...

Взмахнув руками, с легким криком, Маня понеслась по сцене. И от этого крика вздрогнули нервные люди. Так кричат, падая в бездну. И артисты это почувствовали.

Словно шевельнулся опять живой, притаившийся мрак. Но до сознания Мани это уже не дошло. Манящие, загадочные образы поднимаются на темном фоне.

— Bravo! — срываются крики. Раздаются аплодисменты и гаснут. Но Маня не слышит их.

Вакханалия еще не кончилась. Но идея танца ясна каждому. Это любовь и забвения на празднике Диониса. Чем-то стихийным, безумным веет от ее лица, от взмаха рук, от жестов. Вдруг резкий аккорд, полный диссонанса. Словно струна сорвалась. И Маня внезапно падает на колени, спиной к публике, перегнувшись назад, с раскинутыми руками, касаясь головой земли. Словно нет у нее костей. Лицо мертвенно-бледное. Глаза закрыты. Алые губы улыбаются.

Весь партер поднялся, аплодируя Из лож веют платки.

— Какая сила ног и легких!

— А вы заметили мимику? И эти руки? Они говорят.

Она выпрямилась и стоит неподвижно. Словно просыпается. Сжались тонкие брови. Огромные глаза печально глядят в полумрак. Сердце бьется как птица. Зачем ее разбудили?

Она бежит за кулисы.

На сцене полумрак. Нежные, воздушные, пронизанные бледным солнцем севера плывут звуки Грига. Все ниже спускаются аккорды.

Ах! Она узнает эти призраки утра. Это туман ползет с гор в долину.

Все ниже сползает он. И вот открылись пики с вечными снегами.

Она идет. Все выше... выше... Внизу, в долине, звенят колокольчики стад. Звучит чья-то песнь. Сейчас все смолкнет. Исчезнут деревья, исчезнут пчелы. Игрушкой будет казаться долина внизу.

Медленно на носках идет она по сцене, озираясь. Она приложила палец к губам. Тише! Ни песен. Ни шума. Вы слышите священное безмолвие гор? Выше, выше... Жизнь осталась позади, с ее докучными звуками, непонятными в царстве Молчания.

Широкие звуки льются волнами в душу. И душа растет... Ничего кругом. Горы, она и Молчание. Долина исчезла внизу, под туманом.

Разве она любила? Разве она страдала? Разве это она жила там, внизу, слабая и трепещущая перед Вечностью, перед Смертью? Разве это она боролась за счастье и гибла из-за любви?

Алый свет вдруг разлился по сцене. Торжественно, мощно гремят звуки оркестра. Маня закидывает голову, широко открывает объятия. О, неведомый простор! О, свобода души! О, солнце, льющее радость.

Она опускается на колени. В глазах дрожат слезы.

В фойе, в коридорах стоит гул. Группа журналистов окружает пожилого плотного человека, с сидящей бородой, знакомую Парижу фигуру. Так прочувствовать, так передать *Morgenstimmung*.

— Для этого надо быть поэтом... Что-то мистическое было в ее игре, в глазах ее. Заметьте, после — *une vraie artiste* ^[23], - задумчиво говорит знаменитый критик.

Это слово подхватывают репортеры и несут его в толпу.

Иза врывается в уборную и падает Мане на грудь, истерически смеясь.

— Ты меня так напугала, гадкая! Разве артист смеет отказываться? Иметь капризы. Ах ты, безумная Мань-я!

У фрау Кеслер глаза полны слез. А слов совсем нет. Штейнбах тоже молча и горячо целует руки Мани.

— Видишь ты теперь, какая власть у артиста? — говорит Иза. — Я сама слышала, как они смеялись над тобой и ругали. А потом? Ах, Marion, ты не знаешь своей силы! То, что ты пережила нынче, уже не вернется. Это ужасные минуты! Кто из нас их не знает? Но ты привыкнешь. *Monsieur Marc* так побледнел. Я думала, он упадет. Не правда ли? Как она была прекрасна, *monsieur Marc*! Но что же ты плясала? Ведь это совсем не то, что мы с тобой репетировали вчера?

— Не знаю, — как во сне отвечает Маня. — Но я рада, что ты

хвалишь. Я думала и о тебе...

— Теперь спать, спать, спать! — говорит Иза по дороге домой. — Прими что-нибудь и не думай ни о чем. А завтра лежи весь день с закрытыми шторами, не развлекайся ничем. И пей бром. Надо держать себя вот как! В кулаке. Это великий день, Marion. Всю судьбу твою ты держишь в руках.

— И не ешь ничего, — кричит она уже у подъезда своего дома, когда автомобиль поворачивает назад. — Только чашку бульона и крепкий кофе с коньяком. До завтра!

Она исчезает в подъезде.

Когда фрау Кеслер выходит из автомобиля, Штейнбах оборачивается и крепко обнимает Маню. Он целует ее лицо, ее глаза. Молча, нежно, страстно. О, если б создать ей новую жизнь! Создать ей новый мир. Без унижений и страданий, которыми усеян путь средней женщины. Если б дать ей ключи счастья, о которых говорил Ян!

Знойное небо раскинулось над Малороссией. Полевые работы в разгаре.

Нелидов тоже целый день в поле. Он загорел, помолодел. Твердо по-прежнему глядят серые глаза. Как хорошо, что после долгой праздной зимы приходит лето, требующее всего человека, требующее упорного труда, дней без тоски, ночей без грез, каменного сна...

Теперь, кажется, все наладилось. Пятьдесят тысяч, полученные от бельгийцев, не только дали возможность расплатиться с долгами, но и создали известную обеспеченность. Положим, немало пришлось затратить на свадьбу. Разорившиеся Лизогубы ничего не могли дать за дочь. Да он и не думал об этом. Больше всего денег ушло на свадебное путешествие и на развлечения в Москве и в Петербурге. Пришлось ради Кати круто изменить жизнь. Принимать гостей, выезжать самим. Но и эти траты не страшны теперь, когда есть на что опереться.

Больше всего его радует строительство дома. К октябрю он его закончит. День за днем следил он за ростом здания, полюбил каждый кирпич в нем. Какой-то символ кроется в его страстной привязанности к этим стенам. Точно укрыться хочет он в них от мрака прошлого. Зажечь огни. Затопить печи. Согреть тело и душу. В новом доме начнется новая жизнь. Его жена войдет хозяйкой в этот дом. Его дети будут бегать по дорожкам парка. И тогда все минувшее покажется сном. Он скажет себе тогда: «Я счастлив...»

Под вечер он стоит у смолкнувшей жнейки. Работы закончены.

Доверху полны снопами громадные телеги, запряженные каждая парой крупных волов. Сейчас тронутся. Хорош урожай в этом году!

Нелидов смотрит на небо. Солнце село в тучу, и она медленно растет, по краям окаймленная золотом. Пурпурные длинные пальцы вырвались из-за ее хребта и протянулись по небу. Заалели облака на востоке. Пожаром заката облиты поле, лица женщин, белые плахты, важные морды волов. Даже на землю пали красные блики. Барометр опускается с утра. Как хорошо, что он поторопился с уборкой! Наверно, еще до ночи будет гроза...

Вдали раздается топот. Он смотрит, приложив руку щитком над глазами. Кто-то скачет верхом из усадьбы. Случилось что-нибудь? Мама? Катя?

Он бежит к своей лошади. Она привязана вдали, у одинокого грушевого деревца.

— Что? Что? — с побелевшими губами кричит он. И машет рукой гонцу.

— Барыня... молодая барыня... Анна Львовна за вами послали...
«Так скоро? Неужели сейчас?»

Как хорошо в лесу утром! Париж встает рано. И по всем направлениям едут амазонки, ландо и автомобили. Но Маня знает уединенные аллеи, где не перед кем позировать и красоваться тем, кто в эти часы назначает свидания в лесу, кто ждет флирта и приключений.

Сидя на скамейке, в тени каштанов, Маня говорит себе: «Нынче я никто. А завтра обо мне будет говорить Париж. Что говорить? Не знаю. Боюсь ли я? Конечно. А если успех? Марк пошлет газеты Соне. Та напишет матери в Лысогоры. Как далеко! Точно на том свете. Дядюшка запряжет лошадь и поедет в Дубки. И за чайным столом прочтет перед Нелидовым и его женою о моем дебюте...»

И только когда день погас, Маня задрожала перед Неизвестностью.
На шоссе запел автомобиль.

«Марк едет. За мною? Разве пора?»

Она растерянно хватается за вещи, забывая, что взять, что оставить.

— Уложила. Все уложила! — говорит фрау Кеслер. — Вот картон. Вот сумка. Ах, Марк Александрович, здравствуйте! Возьмите вы эту сумку. Она ее забудет.

Господи, что за несчастное личико! Он целует Маню.

— Марк? Неужели пора?

— Да, Маня. Опоздать нельзя.

— А если б я заболела, Марк?
— Но ведь ты здорова.
— А если б Нина заболела, то и тогда я должна...
— И тогда, — холодно перебивает Штейнбах.
— Тьфу! Тьфу! Глупая, чего накликаешь беду? Возьми себя в руки.
Легко сказать! Когда душа сжалась в комочек.

Маня идет мимо кулис. Толпа рабочих в синих блузах расступается перед нею.

— Elle est belle, ^[24] — говорит кто-то.

Странно! Она это слышит и останавливается. И улыбка вдруг загорается в ее лице. Улыбка, и радостная, как будто она увидела цветы. Взгляд ее падает на молодого черноволосого рабочего. Потемневшими от восторга глазами смотрит он в ее зрачки.

Тоска и страх падают с души, как вериги. Она смеется.

— Дайте мне руки на счастье! — говорит она рабочим. И протягивает им свою. Они смущенно жмут ее пальцы.

— Mademoiselle... Сейчас поднимают занавес, — говорит директор, оглядываясь.

— А вы меня увидите? — спрашивает Маня черноволосого рабочего.

— Нет, сударыня.

— Почему?

— Мы не буржуа. Для нас нет места в театре. Нетерпеливые хлопки и стук несутся из зрительного зала.

Директор сердито оглядывается на рабочих и машет рукой помощнику.

— Давать занавес? — кричит тот.

Маня оборачивается к директору, надменная, полная самообладания.

— Я хочу, чтоб эти люди меня видели! — говорит она резко и твердо.

Полнокровное лицо директора заливается краской. «Опять выдумки и капризы».

— Вы смеетесь надо мной? Где же у меня места? — в повышенном тоне спрашивает он, сцепив руки. Он приподнимает плечи, и в них тонет его короткая шея.

— Если они меня не увидят, я отказываюсь выйти.

И по опыту вчерашней репетиции директор чувствует, что эта сумасшедшая способна на все. Надо уступить.

— Allez! Là! ^[25] — свирепо выкатывая белки, бросает он рабочим. И показывает куда-то влево, вниз толстым пальцем театрально вытянутой

руки.

С радостным смехом рабочие бегут, толкаясь. Исчезают.

«Я буду думать о них. Для них буду плясать», — говорит себе Маня, улыбаясь.

— Вы готовы, mademoiselle? — нетерпеливо спрашивает помощник. — Нельзя больше ждать. Вы слышите публику? Я даю занавес.

Она молча наклоняет голову. И слышит глухой шуршащий звук.

Музыка слышится в оркестре. Она опять-таки условилась накануне с капельмейстером, что, стоя за кулисами, выслушает весь «Полет Валькирий», прежде чем показаться.

Но она выходит неожиданно. Она не крадется вдоль стены, как Дункан, с ее слащавой, неестественной, как бы молящей улыбкой. Она ни о чем не хочет молить. «Зверь хищный и загадочный, я тебя не боюсь!» — говорит в ее душе какой-то голос.

Она останавливается в глубине сцены и, сдвинув брови, опустив руки, закинув голову, глядит вверх. Выше этих черных голосов, наполняющих галереи. На фрески потолка.

Реклама сделала свое. Театр переполнен. И за тройные цены парижанин хочет получить удовольствие сполна. Ему обещали красавицу. Но уж это ложь. Даже под гримом красоты особой нет. Да разве удивишь парижан красотой, когда они знали Клео де Мерод и прекрасную Отеро? И публика уже насторожилась, несогласная простить хотя бы один промах.

А Маня смотрит на фрески и вспоминает Венецию. Старый дворец. Лицо Лоренцо. Рыжую женщину. Свои страдания. Свою любовь. Вспоминает ту лунную ночь, когда душа ее разбилась вдребезги. И, подняв руки к небу, она молила послать ей грезу о невозможном. Подарить ей сны вместо жизни.

Вот они... вот... Затрепетали крылья, рассекая воздух. Крылья бессмертных Валькирий.

И вдруг, раскрыв широко объятия, Маня улыбнулась им. И понеслась сама рядом с ними — вся порыв, вся жизнь...

Все ниже и ниже легкие, трепетные звуки.

И Маня падает, как подстреленная птица, лицом к публике, неожиданно и легко, как будто сложив внезапно крылья. И, сдвинув брови и опершись на локти, она глазами сфинкса, огромными и таинственными, смотрит в лицо толпе.

Пораженная неожиданностью, публика партера экспансивно поднялась со своих мест: одни — чтоб дать волю чувству, другие — чтоб видеть лицо Мани. И весь зал дрогнул от криков и рукоплесканий.

Из письма Штейнбаха к Соне

...Вы не поверите, какое впечатление произвела она, изображая собственную драму, пережитую ею когда-то, эти сумерки души, ужас надвигающейся смерти. Где взяла она эти жесты? Эту потрясающую мимику? «Она Дузе балета», — пишет о ней знаменитый критик, рецензию которого я вам высылаю. И здесь нет преувеличения.

...Прощайте, Соня! Я счастлив. За всю долгую и бесцветную жизнь я не имел таких минут.

Знали вы или нет, дорогой друг мой, что я наметил себе эту цель давно, почти три года назад. Я вез Маню полумертвую, побежденную любовью; в буквальном смысле слова потерявшую сознание от жестокого удара, оглушившего ее. Я вез ее в Венецию, чтоб создать ей новый мир. И часто я падал духом от сознания, как тяжела моя задача и как слабы мои силы! Женщину, живущую чувством, девушку, созданную для любви — нежную и мечтательную, ревнивую и страстную, — я решил вырвать из-под ига любви. Я бросил вызов этой грозной силе и нарисовал перед Маней величавый и вдохновенный образ Мечты. Я вел ее более двух лет на высокую башню, чтоб она забила все, чем жила, чтоб золотистые дали раскрылись перед нею. И сколько раз дрожали ступени под ее ногою! Сколько раз падала она в слезах, страшась своего бессилия.

Цель достигнута. Еще несколько ступеней. И лица ее коснется ветер, свободно веющий на вершинах.

Она еще идет...

Освободилась ли ее душа? Сможет ли она гордо взглянуть в лицо любви, перед которой падала ниц недавно? Не знаю. Не знаю ничего. Женщина, живущая чувством, с ее фантазией и темпераментом, увлечется еще раз. Она может вновь пережить безумие любви. Я к этому готов, Соня. Все, что обогатит и расширит ее творчество, должно быть ценным для тех, кто любит ее. Надо уметь вовремя сойти с дороги. Вот мудрость, которой она ждет от меня, быть может, бессознательно.

Но важно здесь не то, что будет дальше со мною... Важно, победит ли она теперь в этом страшном поединке с врагом,

который зовется Любовью? Приручит ли она ее, как зверя, теперь, когда у души ее выросли крылья? Или ее трогательная и упорная борьба в течение стольких лет, ее стремление и искания разобьются о подводный камень, об этот страшный инстинкт, толкающий вас, женщин, на рабство и самозабвение?

Боюсь об этом думать. Пришлите нам из далекой Украины ваш ободряющий привет, дорогая Соня, вы, с вашей цельной и ясной душой, отданной не одному, а всем, ей, идущая в гору без усталости и колебаний. Ви, свергнувшая иго любви!

Ваш Марк

P. S. Устройте так, чтобы все рецензии попали на глаза Нелидову и его жене. Посылаю единственные открытки с ее портретами, которые успел захватить в магазинах. Все уже раскупил Париж.

Из дневника Мани

Нейи

После двух лет молчания я открыла старую тетрадку. Глаза мои падают на эти строки:

«В последнюю ночь в Венеции, где я хороню мое прошлое и начинаю новую жизнь!...»

И вот опять я стою на пороге Нового.

Завтра... Что несет с собой это завтра? Новые стены. Новая мебель. Новые лица. Незнакомые переживания.

Прощай, моя комнатка! Я ухожу из тебя, тихое предместье. Не будет садика, террасы, лунных ночей и безмолвия. Не будет тишины даже ночью... Я не сяду уже в трамвай. И не помчит он меня, трепетную, нетерпеливую, в квартиру милой Изы, где ждал меня прекрасный Нильс...

Прощайте и вы, мои безвестные спутники: бедняки чиновники, обремененные семьей; бесполые конторщицы с увядшими лицами и угрюмыми глазами; миловидные модистки с робкими улыбками. Каждое утро мы мчались в трамвае в Париж. Вы к вашему тусклому труду. Я к моей упорной работе.

Теперь прощайте, случайные спутники жизни! Наши дороги уже не пересекутся. Никогда.

Я плачу. Каждый камень этих бедных стен я хотела бы поцеловать. Обнять каждое деревцо чахлого палисадника. Не здесь ли росла моя душа? Моя несчастная душа, растоптанная Николенькой? Не здесь ли мое сердце, оскорбленное изменой Марки, научилось видеть врага в Любви? В этой любви, что была моим богом?

Если б эти деревья вдруг заговорили! Если б ожили эти камни. Какой страстный крик тоски кинули бы они далекому небу! Безмолвно глядят в наши искаженные лица эти знакомые вещи, окружающие нас. Эти стулья, книги, кровать, картины. Бесстрастно внимают они нашим рыданиям. Только их не стыдимся мы в часы отчаяния. Только пред ними нет у нас тайн. И если б они заговорили...

2 часа ночи

Ты всего достигла...

О чем же ты плачешь?..

— Что с тобой было вчера, Маня? Штейнбах целует ее руку и ставит цилиндр на стул.

Маня лежит на широкой софе, в светлом пеньюаре. На столике рядом белеет свежий номер «Illustration» [\[26\]](#).

— Ты провела дурную ночь?

— Да. Я иногда страдаю бессонницей.

— Быть может, эта усталость отразилась вчера в твоём танце?

— Ты заметил? — быстро перебивает она. И бледные щеки окрашиваются на мгновение.

— Еще бы! Кто этого не заметил? Об этом говорит вся пресса.

— Я не читаю газет...

— Зато я их читаю. И каждый отзыв меня волнует. Твоя слава мне всегда была дороже, чем тебе, странная ты женщина!

— Артист должен верить только себе...

— Конечно. Но если бы ты танцевала среди пустых стен, ты имела бы право не считаться с чужими мнениями. Когда же публике вместо талантливой балерины показывают автомат... или лунатика...

Она вдруг оборачивается к нему, опираясь на локоть.

— У тебя иногда бывают счастливые идеи, Марк, — сухо смеется она.

Его матовые щеки краснеют.

— Ты хочешь сказать...

— Что я не создана для сцены? Что артист всегда ремесленник. Вот тайный смысл твоих слов. Его вдохновение, слезы, улыбки, экстаз — все

окуплено толпой, все учтено антрепренером. Остается только...

— Творить, Маня.

— Но разве это делается по заказу?

Точно сразу устав, она опять падает на подушки и закрывает глаза.

Он молча смотрит в это лицо, опять для него новое, опять чужое.

За эти полгода, что она стала артисткой, они видятся каждый день, хотя и живут врозь, по желанию Мани. Она наняла прелестную виллу, и он иногда просиживает там до вечера, всегда необходимый ей — и в жизни, и на сцене. Ее лицо — его барометр. Когда она весела, светит солнце. Она хандрит, и жизнь темнеет. Он думал почему-то, что изучил наконец эту изменчивую душу, это изменчивое лицо. Он видел его в моменты высшего экстаза, на сцене и в те интимные минуты после спектакля, когда она почти без чувств лежала в уборной. Или дома здесь, когда она играла с Ниной и сама становилась ребенком. Или когда глаза ее, темные от желания, останавливались на нем. Но лучшие часы были у него, в его старом тихом доме. По дорожкам заглохшего сада бродил тяжелыми шагами одинокий, безумный старик, ища чего-то, куда-то спеша; создавая себе иллюзию жизни в этом бесцельном движении, разряжавшем его энергию. Шторы были спущены, двери заперты. И в прогретой атмосфере странно красивой комнаты под звуки его импровизации, лежа у камина на тигровой шкуре, в греческой белой тунике с обнаженными руками, Маня грезилась. И образы вставали перед ней. И реяли мечты. И огромные глаза глядели в огонь. И видели там целый мир.

Свой новый мир.

И эти минуты таинственного творчества, мучительно-сладкого, напряженно-страстного, были так прекрасны, так жутки, что Штейнбах тоже отрешался невольно от действительности. Он переносился в загадочный мир, полный символов, намеков, полутонов, где движение бровей или опустившийся уголок рта говорят яснее, чем сонет или рассказ. Где порывистый жест страстно раскинутых рук или поникшая головка становятся криком радости или поэмой страдания. О, этот новый, странный мир, который она находила в собственной душе, к которому она приобщила и его! Казалось, действительно, их души шептались в эти странные часы. Их души сплетались теснее, чем их тела в любовном экстазе. И только тогда, в эти сказочные минуты, он с гордостью мог сказать себе: «Маня — моя!»

И, как бы бессознательно чувствуя зависимость своего настроения и творчества от звуков его игры, она вдруг с криком счастья кидалась ему на грудь. И отдавалась ему в самозабвении, как в первый вечер, два года назад,

в этой комнате, когда бог творчества впервые вошел в ее душу.

Но за эти полгода он видел не только радости художника. Он был свидетелем страданий. Как часто неудовлетворенная, бессильная облечь в образы то, что звучало ей из его игры, Маня падала на пол и плакала иступленно, и рвала на себе волосы, и гнала его от себя с ненавистью, и твердила, что она — бездарность.

И все-таки, все-таки он не знает ее!

Вот это новое выражение усталости и пресыщения, которое старит ее и делает чужой и некрасивой. Откуда оно? Не может быть, чтоб одна бессонница могла вызвать такую перемену! Но что же тогда? Что?

Машинально он берет со столика газету.

— Оставь! — резко говорит Маня. И поднимается на подушках.

Он ошеломлен в первую секунду. Затем губы его кривятся.

— Нет, я возьму! — говорит он. Встает и высоко поднимает над головой журнал. — Это нелепость. Почему именно я не смею смотреть то, что миллион людей уже видели нынче в Париже?

Но она и не думает бороться и отнимать. Она опять опускается на подушки и закрывает глаза. Однако он чувствует, что это только поза, что она вся насторожилась.

Он садится и с возрастающим интересом перевертывает первую страницу. Крупными буквами отпечатано: *«Трагический случай в Елисейских полях. Опять анархисты!»*

Затем три снимка: первый — с убитых бомбой, как они лежали на песке. Острый профиль, удивленно раскрытые губы. Брови сдвинуты от страдания. Второй изображает арестованного вчера человека, подозреваемого в сообщничестве. Нерусский тип и незначительное лицо. И, наконец, портрет анархиста, того, с оторванными ногами, два часа спустя после его смерти. Лицо юное, гордое, поразительно торжественное, с тесно сомкнутыми губами. Они словно отказываются выдать тайну, которую у них выпытывают. Чуть сжатые, но уже властные брови говорят о несокрушимой воле, как и линия губ, как и линия подбородка. И все это — скрытое в жизни, незаметное в повседневности среди улыбок, робких взглядов и тихого голоса, которыми, быть может, обладал этот человек с нежным безбородым, почти женственным лицом, — вдруг проступило в смерти, вдруг запечатлелось на высоком лбу, в тесно сжатых губах, в длинных опустившихся ресницах. «Вы меня не знали», — как будто говорит это лицо всем близким, всем встречавшим его. Казалось, за эти два часа это лицо прожило целую жизнь. И она вскрыла все таившиеся в нем возможности. На первом рисунке мальчик. На втором — личность.

Грустно и долго смотрит Штейнбах, захваченный трагической красотой Смерти. Он думает: «Каждое мертвое лицо — это окно, из которого глядит на нас Вечность».

— Ты была вчера там? Я это прочел нынче в «Figaro».

Она делает нетерпеливый жест. «Никуда не скроешься!» — говорит ее брезгливая гримаса.

— Ты в первый раз видела так близко мертвеца?

— Я видела мертвого Яна.

— А!

Он бросает журнал на стол и придвигается к кушетке.

Маня лежит в профиль к нему. Ресницы подняты. Она глядит вверх.

— Будь Ян жив, Маня, он первый осудил бы этого безумца. Он всегда был против террора. Слишком ценил он жизнь, чтобы сеять смерть. Смерть ненужную и жестокую... Разве тебе не жаль этого газетчика?

— Я об этом не думала. Его все жалеют и без меня. А кто пожалеет «безумца»?

— Надеюсь, это не террор тебя привлекает? Трагизм обстановки! За своим настроением ты не видишь жизни, чужой жизни. Ты верна себе, — добавляет он мгновение спустя, не дождавшись ответа. И в голосе его чуть заметна горечь.

— Я не могу нынче танцевать, Марк, — вдруг слабо и жалобно говорит Маня. — Моя душа пуста.

Он встает, изумленный. Но она вдруг оборачивается к нему, садится на кушетку. Потом быстро спускает ноги и говорит, прижимая руки к груди знакомым ему жестом:

— Не спорь со мной! Не возражай! Не говори общих мест, что надо взять себя в руки, что контракт, публика. Все это не имеет для меня ни малейшей цены. Для истинного художника не существует контракта. Нельзя ни купить, ни оплатить, ни закрепить его настроения, его фантазии. Марк, я нарушаю контракт. Я ни одного раза больше не выступлю в Париже.

— Полно, Маня! Это истерия. Ты расстроилась. Ты больна. Через неделю это пройдет. Я сделаю анонс завтра во всех газетах. Нельзя так поддаваться настроениям!

Она встает, кидается ему на грудь и прижимается к нему, как бы ища спасения от чего-то жуткого...

— О, молчи! О, помолчи, Марк... Прислушайся к тому, что я переживаю. Будь чутким... каким ты был раньше.

Он гладит ее по голове.

— Что случилось, Манечка?

Не переставая его обнимать, она откидывает голову. И он видит в глазах ее ужас.

— Не знаю, Марк. Но что-то новое вошло в мою жизнь за эти сутки. Что-то страшное. Умирает то, что жило и смеялось вчера. Лохмотьями кажется все, что еще утром казалось прекрасным. Я боюсь, Марк, что я опять потеряла себя.

Он садится рядом с нею, на кушетку. Ее голова лежит на его груди. О, бесконечно дорогая головка!

— Если ты прежний Марк и чувство твое не изменилось, не спрашивай меня сейчас! Я все скажу потом... Но устрой так, чтоб я не выступала здесь ни разу. Что надо для этого? Отдай мои бриллианты, меха, кружева, обстановку.

— Перестань! Это все вздор!

— Я знаю, что надо что-то платить, какую-то неустойку...

— Все будет сделано. Не беспокойся.

— О, Марк... Друг мой! Как мне ле... легко... те... перь...

Упав лицом в подушки, она рыдает.

Он стоит молча, взволнованный. Он так давно не видел ее слез. С Венеции. Ему казалось, что целая жизнь прошла за эти два года и что новая Маня разучилась плакать. Он видел порывы ее отчаяния, когда ей не удавалась работа или когда процесс творчества шел слишком медленно. Но это было не то... Какие иллюзии она хоронит опять?

Беззвучный и неподвижный, выжидает он, когда минует кризис.

Звонят. И красивая вертлявая Полина тихонько стучится в дверь.

— Мадам будет принимать?

Она подает Штейнбаху две карточки.

— Сотрудник «Matin» и... Маня, это директор.

— Все равно, Марк. Я не выйду... Мне никто не нужен... Пусть оставят меня в покое!

С озабоченным, сразу постаревшим лицом Штейнбах выходит в салон к посетителям.

— Ушли? — через полчаса спрашивает Маня, когда дверь открывается. Она все еще лежит. Но лицо ее спокойно.

— Это будет большой скандал, Маня. Но я им обоим заявил совершенно бесспорно, что ты больна, платишь неустойку и покидаешь Париж.

Она сверкающими глазами глядит на него и улыбается.

Он ходит по комнате, задумчивый и тревожный.

— Знаешь, что мне сказал сотрудник «Matin?» «Я не удивляюсь, — сказал он. — Я видел вчера лицо madame там, перед трупом. Это отразилось на ее нервах. Она не должна была смотреть в это лицо».

Маня приподнимается.

— Он это понял? Он?

— Как видишь...

— И завтра... он это... расскажет Парижу?

— Конечно...

С жестом отвращения она закрывает глаза.

— Куда уйти от людей, Марк? — шепчет она с тоской.

— Уедем нынче в Тироль! У нас две недели до твоего выступления в Лондоне. Ты отдохнешь.

Она думает. Потом взгляд ее падает на «Illustration».

— Нет, Марк. Подождем немного, еще немного.

Без стука в дверь и доклада входят фрау Кеслер и бонна с Ниной на руках.

— Мы едем в лес. Погода чудная, — говорит фрау Кеслер, здороваясь со Штейнбахом.

Нина тянется к нему и сердито бьет маленькими ножками бонну по животу за то, что та повернула к кушетке.

— Ма... Ма... Кх... — кричит она. И прелестно улыбается.

Штейнбах берет ее из рук бонны. Нина вцепилась ручкой в его бороду и звонко, торжествующе смеется.

— Вечно так! — ревниво шепчет Маня, опуская на колени руки, которые тянулись к ребенку.

Он несет девочку к кушетке и наклоняет ее над сердитой Маней.

— Теперь поцелуй му... — примиряюще говорит он.

— С твоего разрешения? — бросает Маня, сверкая глазами.

— Му... — снисходительно лепечет ребенок и подставляет матери щечку.

— Не надо! — говорит Маня, холодно отстраняясь.

— Как ты нынче расстроена! — огорченно замечает он. — Но зачем срывать на ребенке твои нервы?

Девочка равнодушно отворачивается от матери и крепко обнимает ручонкой шею Штейнбаха.

Он осыпает ее поцелуями и спускает на пол. Бонна оправляет на ней платье. Ребенок важно подает ручку фрау Кеслер. Нина идет гулять, не оглянувшись.

— Настоящая женщина! — с горечью срывается у Мани.

— Вся в мать, — подхватывает Штейнбах. И губы его морщатся.

Маня вдруг вскакивает.

— Нина! Ниночка! — кричит она жалобно. И кидается к двери.

Она отворена. Штейнбах видит странную картину.

В салоне Маня опускается на колени перед девочкой. Она страстно обнимает ее, покрывает все ее лицо поцелуями, полными такого отчаяния, как будто в этом ребенке — все, что осталось у нее в жизни.

«Однако это серьезнее, чем я предполагал», — думает Штейнбах с растущей тревогой.

— Му-у... — протестует Ниночка, недовольная тем, что смяли ее лебяжий пух.

— О чем ты плачешь, глупая? — по-немецки спрашивает фрау Кеслер. — Что за сцены перед ребенком?

Маня машет рукой и бежит назад. Она опять падает на кушетку лицом вниз, и плечи ее вздрагивают.

Задумчиво ходит Штейнбах по комнате. Все затихло в доме. И оба они молчат. Но тревога все растет.

Как страшно все неведомое, что грозит отнять у него эту женщину, ее капризное чувство! Все, что грозит нарушить его привычки. О, эта сладость привычки, знакомая только усталым людям! Этот страх перед новизной и переменой.

Утром, на другой день, Маня еще в постели требует все газеты. Ей приносят целый ворох.

— Почему ты не встаешь? — тревожно спрашивает фрау Кеслер, входя в спальню. — Больна?

Маня не отвечает. Слово не слыша, глядит она перед собой в одну точку.

Фрау Кеслер садится на постель.

— Манечка, что случилось? Говори. Тебе будет легче.

Словно просыпаясь, глядит на нее Маня. Потом берет с одеяла газету и протягивает ее. На второй полосе портрет девушки. Она совсем юная, худенькая, с наивными глазами. Прелестная, доверчивая улыбка озаряет это милостивое лицо.

— Кто это? — с недоумением спрашивает фрау Кеслер.

— Возлюбленная того анархиста.

— А, вот что! — Фрау Кеслер с новым интересом разглядывает портрет. — Она еще девочка... И какая милая улыбка!

— Теперь она уже не улыбается.

Фрау Кеслер быстро поднимает голову. Глаза Мани глядят вверх все с тем же выражением.

— Несчастливая! Где-то она теперь?

— В тюрьме, — тем же странным голосом отвечает Маня. — Ее арестовали как сообщницу. Она помогала делать бомбы...

— Она? — В третий раз фрау Кеслер хватается за газеты. Теперь в глазах ее ужас.

— Такая молоденькая... и такая преступница? Ах, как обманчивы лица! Она мне казалась кроткой и женственной. Что за люди пошли! Что им нужно? Такие юные оба...

— И любили друг друга, — вставляет Маня однозвучно.

В час дня, к завтраку, приезжает Штейнбах. Маня лежит на софе в той же позе, с тем же лицом, что и вчера. Как будто для нее жизнь остановилась.

— Ты читала газеты, Маня? — спрашивает он, целуя ее руку.

— Д-да...

— Значит, ты знаешь, какую сенсацию вызвала твоя внезапная болезнь?

— Моя? — Она широко открывает глаза. — Я ничего не читала, — отвечает она после паузы.

— Однако... — Он показывает на ворох бумаги.

Она устало закрывает глаза.

— Ты можешь мне не верить. Но я совершенно забыла, что где-то есть театр и что я артистка...

Он молчит, обдумывая ее ответ. Потом подымает с полу газету. Быстро пробегает статью: «Еще об анархистах».

Он встает, ходит по комнате.

— Маня, уедем. Умоляю тебя, уедем скорее! Я чувствую, понимаешь ли, я чувствую, что надвигается какое-то несчастье. Не знаю, откуда придет оно, в чем выразится? Но со вчерашнего дня я не знаю ни минуты покоя. Уедем в Тироль, где мы были летом. Или туда, где родилась Нина. Вспомни! Ты так любила горы. Мы будем проводить там вдвоем целые дни. И это вылечит тебя.

— Так ты думаешь, что я больна? — задумчиво спрашивает она.

Он в отчаянии берется за виски.

— Я ничего не думаю. Я не знаю, что думать! А ты молчишь.

Он садится в кресло, облокотившись на колени, и прячет лицо в руках.

Глаза Мани смягчаются, и пальцы ее тихонько касаются его рукава.

— Милый Марк, поймешь ли ты меня, если я заговорю? Не сочтешь ли ты бредом то, чем полна душа моя?

— Маня... Говори, говори откровенно! Разве я не друг тебе? Разве я не готов всегда строить твое счастье, в чем бы оно ни выразалось — «хотя бы в любви к другому», — хочет он сказать. — Смолкает внезапно и припадает губами к ее руке.

Но она вряд ли вслушалась в эти слова. Она глядит поверх его головы, странно щурясь, с болезненной тенью улыбки.

— Помнишь, Марк, площадь в Риме? Площадь с платанами?

— Ну?

— Помнишь ты эту женщину в черном, с глазами, горевшими как угли, и ее улыбку, полную презрения к нам?

— Помню, Маня, — медленно говорит он. — Что же?

Она слабо улыбается и долго молчит.

— Я думала, Марк, что ты поймешь меня с полуслова. Прости, мне ничего не хочется объяснять. Почему мне казалось, что и так все понятно?

— Постой, погоди! Между нею, той женщиной, и вот этой, — он ударяет пальцами по газете, — есть, очевидно, какая-то связь... и там тоже... то, что ты видела третьего дня... Постой, постой! Я хочу уловить общую идею...

— Она улыбалась, Марк. Она улыбалась и любила. И все-таки шла на смерть без страха, как и он...

— Неужели ты можешь оправдывать эти жестокости? Все ужасы террора? Я не узнаю тебя, Маня.

— Нет. Не террор! Я не оправдываю жестокостей. Я хочу только понять...

Она вдруг садится на софе. Берет его руки в свои и стискивает их с нервной силой.

— Скажи мне, в чем их вера? В чем их сила? Ведь это дети. Почему же у них столько презрения ко всему, что ценно для нас? Значит, они ждут другой жизни и других ценностей? А мы? Мы? Если они безумцы, то можно жить по-старому, И плясать, и надевать бриллианты, и кататься на автомобиле, и жить для Красоты. Ложиться спокойно и вставать безмятежно. И любить тебя, любить Нину. А если...

— Что, Маня? Что? Говори же...

— А если они правы, Марк? И безумцы не они, а мы? Если преступники не они, а мы? Мы все, живущие безмятежно изо дня в день, среди всего, о чем слышим и что видим?

Он молчит. Теперь не она — он крепко держит ее за руки. Но она закрывает глаза, не выдержав его взгляда.

— Ты больна... Для меня это ясно. Здоровый, нормальный человек не может мучиться такими вопросами. Он живет и наслаждается самим процессом жизни, как это ты делала раньше.

— Да, раньше... И даже встреча с Яном не убила во мне радости, стихийной радости жизни.

— И ты об этом жалеешь? Что общего у этого светлого строителя будущей прекрасной жизни с этими безумцами?

— Во всяком случае, больше, чем с нами.

— Довольно! Я не могу выносить такого положения. Мы едем завтра, вдвоем...

Он звонит. Она садится на софе.

— Почему вдвоем? А Нина?

— Тебя нужно удалить от всех забот и дрязг. Входит горничная.

— Вы уложите два кофра для madame с ее бельем и платьями... Самое необходимое. Позовите госпожу Кеслер!

Они опять одни. Маня встает.

— Я не поеду без Нины. Я не могу жить без нее! Какая это свобода, когда беспокойство за нее будет отравлять мне дни и ночи? И потом..., «какое это одиночество вдвоем?» — хочет сказать она. Но смолкает, закусив губы.

Однако он понял. Его брови хмурятся. Она подходит и прижимается к нему.

— Ах, Марк! Друг мой, не сердись! Отбрось мелочность в эти минуты! Если б ты знал, если б ты заглянул в мою душу! Все рушится. Я стою над пропастью, на узком мостике. И чувствую, как доски гнутся подо мною. Этот мостик... Нина...

Она прячет лицо на его груди. Он гладит ее голову с горькой улыбкой.

— Берегись, Маня! Я давно предупреждал тебя. Ты опять строишь счастье свое на песке. И первая волна его смоем.

— Молчи! О, молчи!

— У тебя есть искусство. Это здание стоит на горе. Оно вечно. Иди вверх! Почему ты остановилась?

Маня с горестным жестом качает головой. Ее руки судорожно обвиты вокруг его шеи. Она плачет.

— Кто такой? — спрашивает Штейнбах лакея, нетерпеливо оборачиваясь от стола, где он перебирал бумаги.

— Этот господин не хочет уходить. Я говорил ему, что вы уезжаете, что вам некогда. Он просит одной минуты разговора.

С жестом досады Штейнбах бросает в раскрытый чемодан нерассмотренную пачку писем.

— Просите.

Он зажигает электричество. Спускает шторы.

«Наверно, опять из русской колонии, с подписным листом в пользу столовой или с билетом на лекцию», — думает он.

Дверь отворяется, и портьера падает за вошедшим.

— Вы? — срывается у Штейнбаха.

— Я...

Вошедший высок, гораздо выше самого Штейнбаха, и очень худ. У него строгое, длинное лицо, такое худое и изможденное, что даже морщины покрывают его виски и щеки, хотя он еще молод. Глубоко запавшие серые глаза глядят пристально, холодно, почти сурово. Бледные губы стиснуты с выражением несокрушимой силы и упорства. И даже белокурая бородка и усы не могут смягчить этих линий. Он одет небрежно, почти бедно.

— Вы не ждали меня, Марк Александрович?

Голос у него глухой, как у слабогрудого, немного высокий по тембру.

— Извините, я помешал вам?

— Пожалуйста, пожалуйста... Садитесь!

Штейнбах идет к двери, отворяет ее, зорко оглядывает соседнюю пустую комнату и запирает дверь на ключ. Ему совестно, что он так растерялся в первое мгновение.

— Поверьте, Марк Александрович, если бы не крайняя необходимость...

— О, ради Бога, не извиняйтесь! Я весь к вашим услугам, как и всегда.

— Прежде всего, — слабая тень улыбки скользит в серых глазах, — передаю вам привет от нее...

— От Надежды Петровны? — радостно срывается у Штейнбаха. — Неужели она здесь?

— Только вчера приехала.

— Значит, удалось?

— Блестяще...

— Я рад, Ксаверий, — Штейнбах взволнованно встает и ходит по комнате. — У меня гора с плеч упала.

— Разве вы боялись ответственности?

— Нет! Чего же бояться мне? Особенно здесь. Я боялся только за нее.

Обидно, что мы не свидимся! Я вечером выезжаю на две недели. Или, может быть, она останется в Париже?

— Нет, здесь ей жить нельзя, после этого случая... на Елисейских полях...

С мгновение они молчат, глядя друг другу в зрачки.

— Я тоже должен исчезнуть. Хотел бы поехать с ней в Италию, хоть на месяц. Ее здоровье расшатано.

— Еще бы!

— Вот я пришел к вам с просьбой ссудить ее...

Штейнбах не дает ему договорить и берется за бумажник. В дверь стучат.

— Кто там? — тревожно срывается у Штейнбаха.

— Это я, Марк. К тебе нельзя?

Лицо Штейнбаха светлеет.

— Не тревожьтесь, Ксаверий. Это Marion..

— А! — срывается у гостя глухое восклицание.

Маня входит, одетая на гулянье. В комнате запахло духами.

Она жмет руку Штейнбаха, оглядывается и вздрагивает.

Они опять стоят друг перед другом, как тогда, в толпе. И серые, запавшие глаза скорбно и странно глядят в ее душу.

Она чувствует, что он ее узнал. Она это чувствует.

— Marion... Ксаверий...

Тот делает быстрый жест.

— Достаточно. Меня не зовут иначе.

— И я могу вас так звать? — робко спрашивает Маня.

— Пожалуйста.

Он говорит это без тени улыбки, по-прежнему строго и холодно изучая ее лицо.

— Мы уже уложились, Марк. Все готово.

Опять стучат. Брови Ксаверия хмурятся. У Штейнбаха срывается жест нетерпения. Он выходит из комнаты.

— Monsieur, votre oncle vous demande, monsieur...

— Je viens tout-à-l'heure...^[27]

Он возвращается и говорит с порога:

— Дядя беспокоится, Маня. Его волнует твой отъезд. Зайди к нему потом. Я сейчас вернусь. Поговорите... Это друг Яна... Кстати, как идет его книга?

— Почти вся разошлась...

— Неужели? Что же вы думаете? Новое издание?

— Об этом я тоже хотел просить вас, Марк Александрович.

— Да, да. Сейчас вернусь. Они остаются вдвоем.

Друг Яна. Вот этот? С его лицом аскета и взглядом Савонаролы [28].
Возможно ли? Ксаверий тоже заметно изумлен.

— Откуда вы знали Яна? — глухо спрашивает он.

— Он жил в имении Марка под чужим именем. Я его знала живым и...
видела мертвым.

— Но кто открыл вам его партийное имя?

— Он сам.

Легкое движение срывается у Ксаверия.

— Смею спросить... почему?

Маня поднимает ресницы. И ее огромные глаза вдруг как бы
заслоняют перед ним все ее лицо. Только их видит он в эту минуту.

— Мы любили друг друга...

Она отворачивается и комкает конец газового шарфа.

— Так это вам посвящена глава: *«Девушке, светлой и радостной, как
утро»!*

— Мне...

Они молчат. Тишина нарушается только потрескиванием дров в
камина.

Вдруг Ксаверий тихо говорит:

— Вы непохожи на этот образ. Вы были другой тогда?

Маня порывисто вздыхает, как человек, который долго плакал.

— Да, я была другой.

— Неизвестной, — подхватывает Ксаверий. — Быть может, бедной?

— Да, да. Никому неизвестной, бедной девочкой была я тогда. В
чужом доме, без родителей. Без цели в жизни. Без честолюбия. Но я была
счастлива тогда...

— А теперь?

Опять взмахнули ее ресницы, и он видит огромные глаза. С тоской и
тревогой глядят они куда-то вверх, выше его головы.

— Чего же не хватает теперь для вашего счастья? — тихо, точно во
сне, говорит Ксаверий, еле двигая тонкими губами и как бы пронизывая ее
взглядом. — Вы богаты, популярны. Все газеты полны вашим именем. Во
всех витринах красуются ваши портреты. Какие серьги на вас!

Она слушает. Слушает напряженно этот тихий голос. Точно тонкой
струйкой холода тянет на нее от этих слов, от этих глаз.

— Вы меня видели на сцене? — вдруг отрывисто спрашивает она.

Слабая краска покрывает его щеки. Не улыбка опять, а только тень ее

бежит по его лицу и сбегает мгновенно.

— Какой странный вопрос! Разве наши театры доступны таким, как я? Разве мы с вами не люди с разных планет, столкнувшиеся тут случайно?

Ноздри Мани вздрагивают. Она встает и делает несколько шагов по комнате.

— Вы отрицаете искусство, господин... господин Ксаверий?

— Просто Ксаверий. Для меня и миллионов таких, как я, оно пустой звук. Ян хорошо говорит об этом в своей книге. Чем артист талантливее и прославленнее, тем он дальше от народа.

Маня подходит к столу и нервно перелистывает книгу в дорогом переплете с золотым обрезом.

— Покажите мне, где это место? Где он это говорит?

Ксаверий встает и наклоняется над столом. Теперь они рядом. Их руки бегло соприкасаются. Но разве он не прав, говоря, что между ними пропасть? И что они люди, говорящие на разных языках?

— Вот эта страница: «Об искусстве». Вы... читали книгу Яна?

— Да.

— Вы ее плохо читали. И Штейнбах тоже, хотя он сделал ее своей настольной книгой. Но это роковая судьба всех писателей, особенно таких, как Ян. Их читают. Ими восторгаются и... продолжают жить, как жили... Марк Александрович строит в Петербурге театр-студию, чтоб развлекать благородную публику. А девушка, радостная, как утро, отдает этим людям весь свой талант.

Лицо Мани заливает румянец. Она надменно вскидывает голову. Их взгляды встречаются, ее — полный глухой враждебности, его — полный презрения. Да, да. Презрения. Она это сознает прекрасно. Да он и не хочет этого скрывать!

— Отрицать искусство — значит быть варваром! Значит идти назад. Искусство не знает ни цели, ни этики... Из-за того, что оно недоступно массам, оно не теряет своего значения. Вы... толстовец?

Он опять слабо улыбается.

— Зачем ярлыки? Я вам отвечу. Народ нуждается в искусстве и радости не меньше, чем так называемая интеллигенция. Но, как и все в наше время, эти радости выпадают на долю богатых, минуя бедняков. Почему вы думаете, что им нужен только хлеб, только труд? И не нужны поэзия и красота? И вы напрасно оскорбляетесь моими словами. Если Ян не ошибался в вас, если вы действительно девушка, которой он посвятил труд своей жизни, то вы... бессознательно, быть может, но уже чувствуете правду моих слов. Подумайте об оправдании вашей жизни!

— Что такое? Что вы сказали? Он повторяет тихо, но упорно:
— Подумайте об оправдании вашей жизни.
Она молчит одно мгновение, ошеломленная, словно ослепшая.
— Какой вздор! Это сектантство! Я живу... Разве этого не довольно!
Какое нужно для этого оправдание? Разве цветок не вправе цвести, а птица петь? — Она взволнованно ходит по комнате. — Каким мраком и гнетом веет от ваших слов! Ян не говорил мне об этом.
— Вы были незаметной девочкой без таланта. Цветком или птицей. А кому дано много, как вам...
— Тот, по-вашему, должен быть слугою всех? — запальчиво перебивает Маня. — Артист свободен...
— Неправда. Он раб толпы. И не вправе презирать ее.
Слова протеста вдруг замирают на ее устах.
Вытянув руки, сцепив пальцы, она смотрит в одну точку с тем выражением, которое так пугает Марка и Агату.
Разве не той же дорогой ощупью во мраке шла ее собственная мысль?
Штейнбах входит. Странное выражение лица Мани бросается ему в глаза. Она быстро опускает вуалетку.
— До свидания, Марк Александрович, — говорит Ксаверий, подходя. — Благодарю вас за Надежду Петровну!
Маня подает Ксаверию руку.
— Если я была резка с вами, простите, — упавшим голосом говорит она. — Я совсем невменяема эти дни.
Вдруг она видит его улыбку, вернее, тень улыбки.
«Разве ты можешь обидеть меня?» — говорит это лицо.
Рука Мани опускается. И даже губы ее белеют.
Он с порога кланяется ей.
Портьера падает за ним.
— Я только провожу его, — говорит Штейнбах. — Подожди.
Когда через десять минут он входит в кабинет, она стоит все в той же позе, у окна, раздвинув шторы и глядя в сумрак. Лицо у нее болезненное. Глаза пустые. Белые губы стиснуты с горечью.

Письмо Мани к Гаральду

Тироль

Гаральд, я вас не знаю и никогда не видела вашего лица. Еще вчера ей были ничто для меня. Как же случилось, что сегодня ей

заняли такое большое место в моей душе?

Вчера опять я стояла на распутье... Жизнь — Сфинкс, со всем, что есть в ней мрачного, — с самодовольной наглостью победителей, с рабством и нищетой побежденных, — уже не в первый раз встала передо мной и задала роковой вопрос: «Кому ты служишь?»

Ответ для меня был только один: «Я служу ликующим».

И этот ответ подрезал крылья моей слабой души. Остры были ступени, по которым я шла вверх эти годы, стараясь не думать, не оглядываться. Но я упала и разбилась. И, задыхаясь в пыли большой дороги, я говорила себе: «Теперь конец. Жить уже нечем...»

Я прочла вашу «Сказку». Она долго искала меня.

Как полуослепший от мрака узник сквозь случайную расщелину в стене вдруг видит горы, море и простор небес, так сквозь призму слов вашей «Сказки», за стенами чуждого мне отныне долга, мне снова открылись свободные дали творчества.

Вы избранник, Гаральд! В вашей власти из бледных слов творить нетленные образы, неведомые Жизни, но более яркие, чем она. Что в сравнении с вашим чудным даром мой скромный талант плясуньи? Как тени, исчезающие бесследно с экрана, исчезну и я из памяти людской, сойдя со сцены. Ваши стихи будут жить.

Но нет уже ни горечи, ни тоски в моей благодарной душе!

Вчера я была мертвым инструментом, валявшимся в пыли. Сегодня душа моя звучит. Я скрипка. Вы артист. Послушная вашей воле, я снова пою песни. Они для вас.

Я знаю: и мне дана власть. И мне дана радость. Образы, созданные моей мимикой и движениями моего тела, должны быть ценны для меня, как святыня. Бледны они или ярки — все равно! Их создать могла только я. Я одна во всем мире... И тайна моего творчества, как бы не было оно далеко от людей, умрет вместе со мною, не разгаданная никем другим. И не повторится никогда.

Гаральд, вы научили меня видеть достоинство человека лишь в том, что есть в нем неповторимого. Вы еще раз подтвердили истину, давно еще, с детства звучащую в моей душе, что единственная цель, достойная человека — это найти форму, в которой выразилась бы сполна его индивидуальность. И

раз форма найдена, не важно — бредет ли он, безвестный, своей узкой тропой или под гром рукоплесканий идет широкой дорогой Славы. И та, и другая — путь Человека.

*Гаральд, пересекутся ли когда-нибудь пути наших жизней?
Или прекрасные цветы, посеянные в моей душе поэзией
вашей «Сказки», расцветут и поблекнут, не сорванные вами?*

Оглушительный звонок раздается в передней. Анна Сергеевна бросает пыльную тряпку и кидается в переднюю.

— Что такое? — спрашивает Петр Сергеевич, выходя из кабинета.

Анна Сергеевна уже боится чего-то.

— Кто там? — через дверь спрашивает она.

— Я... я... я!.. — звенит жизнерадостный молодой голос.

Анна Сергеевна молчит секунду, растерявшись.

— Да ведь это Маня! — срывается у Петра Сергеевича. — Манечка! — истерически вскрикивает он, откидывая крюк. И судорожно обнимает сестру, кинувшуюся ему на грудь.

Анна Сергеевна плачет и, стоя сзади, гладит плечи Мани. Вот наконец свиделись! Боже мой, как давно! Боже мой, как долго не видались.

— Вечность, вечность! — твердит Маня. У нее тоже глаза полны слез. Но лицо сияет.

— Какая красавица! Покажись-ка! Ах, вся в мать! Вылитая мать теперь. Правда, Петя?

— Похожа. Но своего много. — Он смеется. Весь сморщился, как старичок.

— А где она? — тревожно спрашивает Маня.

— В санатории доктора Л. Ей там чудесно. Лучше, конечно, чем было у нас. Снимай же шляпу! Что же мы тут стоим?

— Шляпа-то какая, Петя, посмотри! Перья какие чудесные. Ну, чего хочешь? Кофе? Чаю?

— Дайте чаю. Вы, значит, остались тут же? — спрашивает Маня, озираясь в столовой.

— Привыкли, — говорит Петр Сергеевич.

— А дела твои, Петя? Практика есть?

— Помаленьку. Работаю много. Диссертацию защитил недавно.

— Блестяще сошла! — кричит Анна Сергеевна, убегая на кухню.

Они входят в кабинет. Скромная обстановка умиляет Маню. Ведь во всем отказывал себе, чтоб поддержать ее за эти почти три года. Они садятся на диван, обтянутый американской клеенкой. С безмолвной горячей лаской

Маня обнимает брата и щекой прижимается к его лицу.

— Лентяйка, — шепчет Петр Сергеевич, глядя ее по щеке. — Кабы не Марк Александрович и не фрау Кеслер, ничего бы о тебе не знали. По два письма в год... Бесстыдница...

— Петечка, милый... Мне нелегко жилось. Огорчать не хотела. А лгать не умею...

— Почему тяжело? Да, мало высылал? Чего ж молчала? Я бы занял...

— Ах, не то! Не то... Разве когда-нибудь... Лишения мне всегда были ни по чем...

— Что же еще? — дрогнувшим голосом срывается у него. Мягко отстранившись, он пристально рассматривает ее поникшее лицо. Совсем другая стала. Ничего, в сущности, не осталось от прежней Мани. Рот другой. И глаза не те.

— Ах, Петя... потом... когда-нибудь... Я ведь через месяц сюда вернусь. Буду гастролировать в антрепризе [\[29\]](#). Ты увидишь, как я работаю.

Он невольно улыбается этому техническому термину. Маня это видит. Чудак! Он, пожалуй, как многие, думает, что ее ремесло легкое. Легче всякого другого?

— А здесь ты надолго?

— Нынче вечером выезжаю в Петербург, на гастроли в Студию.

— И много получишь?

Она смеется, растопырив пальцы обеих рук.

— Что такое? Сколько?

— Двадцать тысяч за два месяца там и здесь.

Петр Сергеевич встает, пораженный. Она смеется.

— Возмутительно! — говорит он, вздергивая плечами. — Бросать такие деньги на театр. В такой бедной стране, как Россия.

Опустив голову, Маня разглядывает кольца. Щеки ее чуть-чуть побледнели. Вспомнился Ксаверий, весь разлад, пережитый ею недавно. «Подумайте об оправдании вашей жизни...»

Когда она поднимает голову, лицо ее словно постарело. Но она мягко улыбается брату.

— Поди, поди сюда! Я поцелую тебя. Ты умиляешь меня, Петя. Все тот же ты, что и был. Но, видишь ли, если б люди не любили так страстно... не искусство, нет! Если б они не любили зрелища, то мне не удалось бы уплатить тебе мой долг и расквитаться с Марком.

— Ах, вот это хорошо! Хорошо, что ты с ним-то рассчиталась. Со мной-то и погодить можно было бы. Свои люди. Знаю, что я непоседлив. — Хрустнув пальцами, он опять начинает ходить по

комнате. — То-то мы с Аней диву дались, получив сразу такую уйму денег. Точно с неба они тебе свалились. Ай-ай-ай! Какая знаменитость!

Он улыбается, издали как чужую разглядывая эту женщину. Она в бархатном платье, с жемчужной ниткой на шее — подарком лондонских поклонников, эффектная модная прическа, дорогие кольца на руках. Опять лицо его морщится, и он похож на старичка:

— Идите, чай готов! — кричит Анна Сергеевна. В столовой Маня говорит:

— Что же вы меня о Ниночке не спросите?

— Ах, да! Где же она? В Москве?

— Сейчас сюда приедет Марк с фрау Кеслер. Они ее привезут...

Брат с сестрой переглянулись. Они давно подозревают, что Штейнбах возлюбленный Мани. Но она, кажется, и не хочет этого скрывать.

Маня подходит к окну и смотрит в переулок.

...Сумерки падают. Вот сейчас, на том тротуаре, она разглядит черную фигуру Штейнбаха. Она оденется и побежит на бульвар, полная смятения. Она — невеста Нелидова.

...А Марк пойдет по ее стопам и настигнет ее. И победит в этой борьбе. «Мы оба — дети несчастья, — звучит его голос из далекого прошлого. — И мы встретились недаром...»

— Манечка, чай остынет, — зовет сестра.

Она отходит от окна, вся застывшая, вся далекая.

Она знала, когда ехала сюда, что прошлое нельзя забыть; что оно выйдет из всех углов и разбудит в душе ее заснувшую тоску. Но у нее был талисман от всех сомнений, от всех воспоминаний. Этот талисман — Гаральд!

Почему же так бледно его имя сейчас? Разве она не выстрадала уже свободу своей души? Разве не ушла от стремления к смерти, вот в этих стенах, охвативших ее с такой грозной мощью? Нелидов... Что это? Светлый сон или кошмар? Чего не хватает ей сейчас? Не победительницей разве вернулась она в этот дом, откуда уходила когда-то побежденная?

Звонок... Они бегут в переднюю.

Слава Богу! Марк... Не надо ни отвечать, ни занимать разговорами.

...В померкшей душе все громче звучат голоса. Она видит себя бегущей по этому переулку в метель. Фонари гаснут под порывами бури. В двух шагах ничего не видно. «Николенька... Ты?»

...Вот он перед нею, несчастный, дрожащий, растерявшийся, как ребенок. То, чего он боялся, свершилось. Он полюбил обреченную.

«...Николенька, если судьба меня прокляла, стань выше судьбы! И

прижми меня к сердцу».

...Они обнялись. Прижались друг к другу с отчаянием. Как будто мир рухнул за ними и они остались вдвоем. Он не отрекся от нее. Он любит! Спасена.

— Это ангел... ангел!.. — как сквозь сон доносится до нее плачущий голос Анны Сергеевны. — Золотые локоны, голубые глазки... Какое чудное дитя!

Петр Сергеевич смущенно крутит бороду. Он видел Нелидова только раз в жизни. Но девочка — его портрет.

Шумно стало сразу в столовой. Фрау Кеслер говорит без умолку, жалуется на Маню. Такая транжирка! Ужас! Пришли к ней в Париже русские курсистки. Она тысячу франков дала им. От столовой пришли... Пятьсот франков!

— Что ж, это хорошо, — улыбается Петр Сергеевич, глядя и целуя ручку Ниночки. Тоской и умилением полна его душа.

— Хорошего мало. Всех не накормишь. А сломает она ногу или заболит, тогда что? Нет, я теперь взялась за ум. Отнимаю у нее деньги и вношу на имя Нины. Надо ей что-нибудь скопить. Ребенку в ее положении...

— Что такое? — дрогнувшим голосом перебивает Маня и ставит назад чашку, которую несла к губам. — Повтори, что ты сказала.

Все словно замерли в комнате. «Что за глаза! — думает Штейнбах. — И грозят и молят...»

— Не будь мещанкой, Агата, — через мгновение холодно говорит Маня. — Артисты не для того работают годами, совершенствуются и творят, чтоб в личной жизни подчиняться предрассудкам и обычаям толпы. У Сарры Бернар никто не смел спросить, кто отец ее Мориса? У него была мать. И этого довольно.

Петр Сергеевич через стол протягивает руку и гладит пальцы Мани. Шумный вздох облегчения срывается у него. Он улыбается с удовлетворением. «Ей-Богу, хорошо сказано! Ай да Манечка!»

Маня молча пьет чай, не принимая участия в беседе, которой овладел Марк. Она не видит его беглых, острых взглядов.

Уезжая, Маня говорит:

— Жду вас обоих в шесть вечера на обеде ко мне в гостиницу.

— Будем пить шампанское, — смеется фрау Кеслер.

Петр Сергеевич высоко поднимает брови.

— Это по какому случаю?

— Как вы странно спрашиваете? — отвечает Штейнбах. — Разве

Мария Сергеевна не осуществила всего, о чем мечтала? Не прошла она разве долгий и трудный путь, прежде чем достигнуть цели? Вы скажете, что она баловень судьбы, что она избранница? Да. Но не один талант дает нам силы в борьбе с жизнью. Ее побеждает только труд. Упорный труд и вера в своего бога. Этот бог — Искусство.

— Bravo! Bravo! — весело подхватывает фрау Кеслер.

И Петр Сергеевич вдруг вспоминает вечер в гимназии, когда маленькая Маня плясала перед восхищенной публикой. Не мечтал ли он сам тогда о новой дороге для этого ребенка? Не жаждал ли он найти в душе ее иного бога? Не любовь?

Штейнбах входит в подъезд одной из гостиниц, на Невском, и в обширном вестибюле сбрасывает пальто на руки подбежавшего портье.

— Был кто-нибудь?

— Двое... Вот карточки... Придут опять через час. А еще телеграмма...

— Маня, ты спишь? — тихонько спрашивает Штейнбах, отворяя дверь в номер бельэтажа, в конце коридора.

— Нет... Войди...

Она лежит на кушетке, покрытая пледом. Петербургская сырость не проникает в эту теплую и роскошную комнату. В коридоре тихо. Только с улицы доносится гул трамвая и гудки автомобилей. Штейнбах зажигает электричество и звонит.

— Затопите камин, — говорит он вошедшей прислуге. — Погода ужасная, Маня! Не лучше Лондона. Такой же желтый туман. Такой же гнет. Как твоя голова?

— Теперь лучше. Ты был в Студии?

— Да. Сейчас оттуда. Сцена очень хороша, велика. Я мечтал именно о такой для тебя. Меня задержал режиссер. Это Шпильман, очень талантливый и образованный человек. Он здесь по моему настоянию. Ты ведь слышала о нем?

— Тот самый Шпильман?

— Ну да. Завтра репетиция в час. Шпильман волнуется, думает, что ты простудилась. Твой великолепный Нильс тоже волнуется, просил разрешения навестить тебя. Я, конечно, отказал.

— Ты... никого... больше не видел?

— Я познакомился с артистами.

— А... Гаральд?

— Его нет. Странный человек! Можно подумать, что он совсем не

интересуется постановкой своей вещи. Я был и у него. Не застал дома.

Она закусил губы, удерживая вопросы. Штейнбах подходит к Мане с телеграммой.

— От фрау Кеслер, — говорит он. — Ниночка здорова. Дяде тоже лучше. Все благополучно. Кстати, отсюда можно говорить по телефону с Москвой. Я попрошу Агату говорить с тобой каждый день в шесть. Удобно?

— Да... да... — рассеянно отвечает она. — Теперь уйди, Марк... Я оденусь к обеду...

— Нет, Маня... Если ты можешь ехать в оперу, то уж лучше оденься сразу для театра... Мы пообедаем у себя...

— Хорошо... хорошо... Ступай!

Он уходит, плотно заперев за собой дверь, соединяющую их комнаты.

Но она все лежит... Глаза ее, большие и тревожные, устремлены в камин. Она что-то видит там... И улыбается...

Потом беззвучно встает и идет к раскрытому кофру... Оттуда к зеркальному гардеробу. Она внимательно оглядывает свои платья. Какое надеть завтра на репетицию? Вот это золотистого бархата с мехом скунса. Оно идет ей больше других. А шляпа? Она задумчиво скользит взглядом по картонкам.

Сейчас. Сейчас она выберет все. Она обдумает до мелочей весь свой туалет, кончая сумкой, носовым платком, перчатками, духами. Может ли что-нибудь называться мелочами, когда дело идет о первом впечатлении, решающем все? Ведь в нашей памяти о встречах с людьми ценны только эти индивидуальные штрихи, которые тонут потом в болоте привычки, которые стираются, как грани от трения. Но эти первые впечатления вызывают наш восторг или антипатию. Нашу дружбу или отчуждение. У них своя непререкаемая власть.

— Ты готова? — раздается голос за дверью.

Как кошка, она делает прыжок и поворачивает ключ.

— Нельзя... нельзя...

— Не надо ли тебе помочь потом? Не зови Полину. Скажи мне.

Она на цыпочках отходит от двери, смотрит на красивые изломы золотистого бархата. И мечтательно улыбается.

В этом платье она будет хороша.

Маня отдергивает штору и с отвращением смотрит на сверкающую от дождя асфальтовую мостовую.

Что за гадость! Снег растаял. По Невскому едут пролетки с меховой

полостью. Вон городской в черном плаще. Несчастный! Как ему холодно. Который это час? Неужели она проспала? Сейчас сердце дало толчок, точно крикнуло:

«Вставай!»

Только десять. Слава Богу! Она успеет еще до репетиции съездить туда. Лишь бы Марк не услышал...

Она прислушивается с секунду, стоя босиком на ковре, к звукам в соседнем номере.

Спит.

Быстро, бесшумно она одевается. Как умно, что она все приготовила с вечера! Не надо открывать кофров, стучать ящиками.

Глаза ее полны тайны, когда она, уже одетая, подходит к двери соседнего номера. Накануне она заперла ее на ключ.

Нет, ничего не слышно. Только бьется ее сердце. О, как стучит! Зрачки расширены. На бледных щеках разгорелись два пятна. Это некрасиво. Надо взять себя в руки. Надо быть интересной. И владеть собою!

Но она волнуется, как школьница, потихоньку крадущаяся на бульвар, когда все подружки уже в классе. И весело, и жутко. Только скорей, скорей теперь! На улице она будет в безопасности. Этот громадный город поглотит ее и заметет все следы. И даже такая ищейка, как Штейнбах, не догадается, где она была.

Портье заступает ей дорогу.

— Что вам? — с внезапной ненавистью спрашивает она.

— Я прикажу подать автомобиль, сударыня. Господин барон...

— Не надо! Я возьму извозчика.

Наконец. Сырость охватывает ее. Пустяки! Пустяки. Все это бессильно перед давно забытой радостью, переполнившей душу.

Она делает знак лихачу и дает себя посадить услужливому швейцару в красной ливрее.

— Куда прикажете? — спрашивает лихач. Ей закрывают ноги полостью. Она машет рукой в светло-серой перчатке. И капли мокрого снега смачивают ее пальцы.

— Прямо к Неве...

Прижавшись в уголок пролетки, она из-под опущенного верха глядит сверкающими глазами вдаль. Вуалетку она опустила. Вот он, Петербург. Город красив, но что за погода! Досадно, что намокнет перо, что съезжится перчатка. Ах, если б солнце! Ничего... ничего... Все это мелочи, в конце концов. Она сейчас увидит Гаральда и скажет... Что она скажет?

Дотронувшись до спины извозчика, она называет улицу. Лихач

поворачивает назад, потом влево. Сквозь туман мелькают какие-то голые деревья. Бульвар... Какой он бесконечный! Ах, скорей бы! Скорей... Сырость пронизывает. Так ли она сказала адрес? Марк сообщил ей его походя, вскользь, еще в Париже. Что-то запутанное. Дом выходит на две улицы. С одной один номер, с другой...

Что же это? Она забыла?

Выпрямившись, она глядит вперед, на мутную, зловещую воду канала.

«А вдруг его нет дома?»

Лихач останавливается внезапно.

— Сударыня... Вот этот... Прикажете въехать во двор?

Она высовывается. В лице ее разочарование. Грязный двор, мрачный фасад, отвратительные запахи. Неужели он здесь?

— Прикажете подождать, сударыня?

— Да, да... Позвоните дворника.

Но не дождавшись, с бурно бьющимся сердцем она идет по грязи к одному из подъездов. И спросить-то даже некого.

Слава Богу! Какая-то женщина, похожая на кухарку, идет с корзиной в руках.

— Скажите, пожалуйста, здесь меблированные комнаты «Луч»?

Кухарка оглядывается на дверь подъезда, словно видит ее в первый раз.

— Я тутотка проходным двором хожу. А вам кого надоть-то?

— Я вас спрашиваю, здесь меблированные комнаты «Луч»?

— Здесь... здесь... только это черный ход... Парадный через двор... на той улице...

— Благодарю вас. Так в этом подъезде?

— Вот... вот... Колидором пройдете... потом по лестнице... как пройдете стало быть...

— Благодарю вас.

Маня скрывается под навесом.

Она идет как во сне. Мрачный коридор, грязная лестница, запах кошек, какие-то переходы. Совсем как в кошмаре. Темные, зловещие, запертые наглухо двери...

Опять коридор. Углубленный внутрь себя взгляд Мани безучастно скользит вокруг, как будто ничего не замечая. Тут? Или этажом ниже? Кого спросить? Пустяки, пустяки. Ведь это черный ход...

Светлеет наконец. Вон и фигура какого-то парня, босоногого, в розовой рубахе, с метлой в руке. Запахло мастикой и потом. У стены стоит деревянный длинный ларь.

— Скажите, где меблированные комнаты «Луч»?

— Здесь... Вам кого?

— Номер тринадцатый...

— А вот поверните направо. Колидор пройдете, там налево, крайняя комната...

— Благодарю вас.

Ах, если б сердце не стучало так громко! Даже гложешь от этого стука.

Она медленно идет и с побелевшими губами останавливается у двери № 13.

Она стучит. Тихонько. Но ни звука не слышно за дверью...

Она стучит громче.

Та же тишина.

Маня стоит, пораженная. Ушел?

Почему же она так верила, что они свидятся?

Рядом окно. Она подходит и, подняв вуалетку, без дум глядит остановившимися глазами на сеющий дождь, на задернутый туманом город; на голые, печальные скелеты деревьев внизу; на мутную, зловещую воду канала.

Потом поворачивается и, как лунатик, идет куда-то.

Около какой-то двери она видит наивные штиблеты. Жилец еще сладко спит...

Выпучив глаза, глядит на нее коридорный, присевший на корточки у топящейся печи.

— Где здесь выход?

— Пожалуйте... Вот сюда... Я проведу...

Она дает ему на чай и вынимает из сумки свою карточку. На ней выгравировано одно слово: Marion.

— Пожалуйста, передайте это господину... господину Гаральду, в тринадцатый номер. И пришлите мне моего извозчика. Он там, у черного хода.

Она объехала все книжные магазины, ища его книг. Все разошлись. Было одно только издание.

В одном книжном складе, где-то на задворках, ей подают маленький томик стихов и книжку рассказов.

— Это ничего, что экземпляр разрезан? Другого нет.

— Все равно. Заверните.

Она побывала в лучших художественных магазинах, ища его портретов. Все раскуплены. В одном только ей предлагают завалящуюся

открытку с его портретом.

— Разве он имеет такой успех? — спрашивает Маня итальянца хозяина.

— О, большой! У женщин, конечно. После концерта, где он читал, студентки раскупили все его портреты.

Маня бросает беглый взгляд на карточку и прячет конвертик в сумку.

— Куда прикажете ехать?

Маня смотрит на свой браслет с крошечными часами. Еще рано.

— На Невский. В какую-нибудь кофейню. Там я вас отпущу.

Только усевшись в пролетку, она вынимает карточку.

Так вот он какой! Лицо Евгения Онегина, как его изображают в опере. Высокий, прекрасный, сдавленный у висков, убегающий лоб, те же маленькие бачки, та же прическа, те же бритые щеки. Только костюм современный. Он сидит у стола и, опустив ресницы, читает книгу. Глаз не видно. Какие они? Профиль резкий, губы сжаты с выражением силы. Красив выдающийся упорный подбородок.

Маня закрывает глаза. И странная улыбка змеится по ее губам.

В кофейной она сидит за столиком и медленно пьет кофе. Карточка Гаральда лежит перед нею.

Какие у него глаза? Смягчают ли они это суровое, сухое лицо? Улыбнутся ли они ей, как родной душе, как артистке, понявшей художника?

Угадает ли он ее тоску? Ее разочарование. Ее усталость?

Француженка Полина, которую Маня привезла с собой в Россию, раскладывает по ящикам комода последние мелочи из кофра.

— Ah madame.. Partir seule, sans mon aide! Je ne dormais pas, madame. Quel dommage! [\[30\]](#)

— Маня, где ты была? — тревожно спрашивает Штейнбах, входя в комнату.

— Каталась.

— В такую погоду?

Она снимает шляпу, избегая глядеть в его лицо.

— Я не могу без воздуха. Голова болит.

— Почему ж ты меня не разбудила?

— С какой стати? Ты спал? Вдруг он спрашивает:

— Ты брала автомобиль?

— Нет. Я брала извозчика.

Он молчит, обдумывая что-то и зорко щурясь на ее профиль с

опущенными ресницами. Она расстегивает перчатки.

— До репетиции осталось полчаса, — говорит он изменившимся голосом. И она это слышит. — Я велю подать кофе.

— Пожалуйста.

Она садится перед зеркалом и поправляет прическу. Глаза таинственно поблескивают из-под влажных ресниц. Губы упорно сжаты. Что-то враждебное встает в душе.

Гаральд вернулся через полчаса.

Коридорный подает ему карточку Marion.

Стиснув зубы, нахмурившись, глядит на нее Гаральд, словно хочет разглядеть за этими пятью буквами образ, символом которого они служат.

Он садится за работу.

Нет. Трудно сосредоточиться. Ему досадно.

Огромным усилием воли он все-таки овладевает собой.

Постепенно уходит он от действительности. Таинственные тропинки вымысла, на которые он ступил сейчас уверенным шагом, манят его все дальше и дальше.

И падают стены, замыкающие горизонт.

Бьет час.

Он отодвигает бумагу. Откидывается в кресле и закрывает глаза.

Таинственные тропинки скрылись в тумане. И вот он опять лицом к лицу с повседневностью.

Надо завтракать. Из ресторана идти в редакцию, для переговоров о рассказе. Он обещал дать его «Голосу». Оттуда он заглянет к Доре. Он не видал ее три дня.

Эта женщина манит его, как загадка. Когда он поймет ее, очарование исчезнет. И будет жаль.

Marion... вдруг вспоминает он. И встает. Брови его дрогнули.

Надо занести ей карточку. Сейчас? Да, сейчас, пока она на репетиции. Он не хочет встречаться с ней.

Медленно переодевается Гаральд. Он обдумывает свой туалет, начиная с галстука и кончая штиблетами.

В редакции «Голоса» его зовут снобом. Это первый сказал Валицкий. Сам он так вульгарен со своими бархатными жилетами и красными галстуками! Он не понимает, что костюм человека один из важных штрихов, дополняющих его личность, как манера есть, ходить, садиться, пожимать руку, говорить и слушать собеседника. Нет ничего неважного и лишнего, когда думаешь о впечатлении, вызываемом тобою.

Marion... вспоминает Гаральд. И опять странная тревога охватывает его. Он смело глядит в лицо этому чувству.

Когда он получил ее письмо, эта тревога уже закралась в его душу. Ему был неприятен порыв этой женщины.

Все непосредственное ему чуждо. А от этих строк веяло зноем. Слова письма были просты, искренни. Но оттого-то они показались ему темными. И враждебными всему строю его души. Как в искусстве ценно не изображение действительности, а отражение души художника, так и в жизни ценны не инстинкты, а каша борьба с ними, наша победа.

«Есть много причин, почему я не хочу ее видеть сейчас, — думает он, выходя на улицу. — Как артистка она будет пленять меня и даст мне много красок и образов. И я с трепетом жду ее дебюта. Но мы не должны встречаться вне сцены. Все очарование исчезнет. Я знаю себя...»

Вот и переулочек. Надо свернуть, и шагов через пятьсот покажется высокий, унылый ящик дома, где приютилась редакция. Но Гаральд идет мимо. Он спешит на Невский.

Уже два часа. В гостинице он спрашивает, дома ли Marion?

— Уехали в театр полчаса назад, — любезно отвечает портье.

— Передайте, пожалуйста, карточку.

«Она спросит, конечно, почему я ей не ответил? Но разве я отвечаю на письма, которые получаю от читателя? Все ответы в моих книгах, и повторяться я не хочу. Я не могу, конечно, помешать порывам и признаниям людей, которые меня никогда не видали, людей, которых пленило мое творчество. Но как личность я им чужд. И нет между нами связи.

Я бываю часто растроган этими письмами. Они звучат как молитва. Но разве боги отвечают на молитвы? А открыть постороннему глазу больше того, что сказано в книге, — значит изменить себе...»

Гаральд останавливается перед витриной художественного магазина. Портреты Marion всюду на первом плане. Многие подходят и любят.

«Она действительно прекрасна, — думает Гаральд. — Возможно, что только грим придает такое очарование этим глазам. Но не все ли равно? Вне сцены артист может быть хоть безобразным. Жизнь ничто. Важно только искусство и иллюзия».

Сжав губы, глядит Гаральд в это лицо, полное зноя и неги, на эту змеиную фигуру, так смело изогнувшуюся в сладострастном танце. И тревога его растет.

К чему лицемерить с собою? Его влечет эта женщина. Еще не зная ее, не видя ее глаз, не слыша ее голоса, он уже на расстоянии чувствует, как

жгуче и болезненно вибрируют его нервы. Она будит жестокое любопытство, знойное желание, молодые порывы — все, с чем он борется во имя высшей цели. Страсть враждебна творчеству. Эту женщину надо избегать! Инстинкт самосохранения подсказал это ему в первый миг, когда он держал в руках ее письмо.

Он подходит к другой витрине.

Маня лежит на земле в позе Сфинкса и глядит на него огромными мистическими глазами. Она в легкой тунике. Волосы завязаны греческим узлом. Трагически сдвинулись темные брови. Приподнявшись слегка на локтях и положив в ладони подбородок, она глядит ему в душу. Жуткая, загадочная, полная угрозы и вызова.

И Гаральд стоит, не двигаясь. Весь под ее властью.

Вот она — *женщина!* Из века чуждая, из века враждебная. Непонятая никем загадка. Стихийная, темная сила.

В ней наше счастье. Но не в ней ли и гибель всех возможностей?

Не она ли это стоит там на всех путях и перепутьях, подстерегая минуту усталости, угадывая жажду отдыха в зрачках путника?

Не она ли жестоким смехом смеется над тем, кто лежит в пыли, и наступает ногой на грудь побежденного?

Цепки руки ее, и жадны ее уста.

Она — символ рода. И враг личности.

Берегись ее, идущий вверх!

КНИГА ПЯТАЯ

За кулисами Студии Штейнбах видит высокую фигуру Гаральда. Он идет ему навстречу.

— Наконец! Marion все время спрашивала о вас.

Гаральд сдержанно кланяется.

— Ей хотелось знать ваше мнение. Вы странный автор! Совсем не интересуетесь интерпретацией своих мыслей?

Штейнбах ловит себя на каких-то фальшивых, чуждых ему интонациях. Точно он заискивает перед этим человеком.

— Простите, барон, быть может, это покажется вам дерзостью, но я всегда испытывал разочарование, видя пьесу на сцене.

— Свою пьесу? Почему же так?

— Нет, и чужие тоже, если я прочел их раньше, в одиночестве. Это похоже на сон, который вы пробуете рассказать наутро. Факты как будто те же. Исчезла тайна.

Штейнбах в полумраке кулис внимательно изучает это холодное лицо, убегающий лоб с вдавленными висками, твердый очерк губ, упорную линию подбородка. Ему жутко. Импонирует ли ему сдержанная сила, которой веет от этого человека? Или же это предчувствие...

— Могу я видеть Marion?

— Да, пойдете в уборную. Нет. Она сейчас выйдет. Вы, надеюсь, ее видели в вашей пантомиме сейчас?

— Она прекрасна. Я хотел ее благодарить. Штейнбах вдруг останавливается.

— Я прошу вас, Гаральд, не говорите ей то, что вы сказали мне сейчас. Это сравнение с рассказанным сном...

— О, барон... Будьте покойны.

— Откровенно говоря, я удивлен. Мне казалось, что Marion поэтична и трогательна. Я думал, что лучше передать нельзя...

— Со сцены? Да. Я считаюсь с условностями и реализмом театра, барон. И все, что можно дать, Marion дала. Но ведь я... автор. И в моей душе живут иные образы. Там сны. Здесь жизнь... Конечно, я ей этого не скажу.

«Она ему не нравится, — думает Штейнбах. — Тем лучше!» Он стучит в дверь уборной: — Вы готовы, Marion?

— Это вы, Марк? — раздается изнутри равнодушный голос.

«Она его не любит», — думает Гаральд.

— Здесь автор «Сказки». Он хочет быть вам представленным.

Мгновение тишины... Никогда потом ни Гаральд, ни Штейнбах не могли забыть этого мгновения.

Вдруг порывистые шаги... Дверь уборной распахивается.

Маня стоит на пороге в своей серо-голубой полупрозрачной тунике, с обнаженными смуглыми руками, босоногая. «Почти голая», — думает Штейнбах. И почему он этого раньше не замечал?

Глаза Мани, тревожные, жгучие, впиваются как жало в лицо Гаральда. Взмахнули ресницы, поднялись брови, губы полуоткрыты.

Вот он, наконец! Тот, о ком она думала все эти месяцы. Думала неотступно, сливаясь с его мыслями, перевоплощаясь в его образы, ища понять его в этой странной «Сказке»!

Какое холодное лицо! Непроницаемое и чуждое... Как твердо сжаты губы! Силой и презрением веет от этого облика. Нет, не таким представлялся ей поэт.

Глаза Гаральда быстро скользят по ее лицу и фигуре. И он тотчас почтительно склоняет голову.

Она бессознательно протягивает руку, и он ее целует, чуть касаясь бритыми сухими губами. Она видит белую полосу пробора сбоку на черной голове.

Гаральд выпрямляется и внимательно смотрит на нее запавшими глазами, не знающими улыбки. Она моложе, чем он думал. Она красивее, чем на портретах. Это не хищница. Нет. Какая-то беспомощность и растерянность в ее взгляде и жестах.

— Я пришел, чтобы выразить вам мое восхищение. Каждому автору...

Голос неприятный, резкий. И как странно он говорит! Слишком твердо. Так говорят со сцены. Она слушает и не слышит. Не то... не то... Разве так представляла она себе эту первую встречу? Зачем он говорит банальности?

Она оглядывается на Штейнбаха, хрустит пальцами. Ах, они не одни сейчас! Если б они были одни, она крикнула бы ему в лицо: «Замолчите! Разве вы не чувствуете, что я не того жду от вас?» Да! Она так и сказала бы ему: «Вы были моим вдохновением». Как часто она говорила эти слова наедине с собою! Не дослушав отшлифованной фразы Гаральда, она небрежно кивает ему:

— Простите. Я устала. Мы, надеюсь, увидимся завтра? Ах, да... — Она проводит рукой по лицу, словно просыпаясь. — Это надо выяснить нынче. Если у вас есть какие-нибудь замечания...

«Почему она несчастна?» — думает Гаральд.

— ...я просила бы теперь сказать мне...

Штейнбаху страшно. Что-то случилось. Ее настроение упало.

—..Завтра будет поздно, — вяло доканчивает она.

— Указаний, хотите вы сказать? — перебивает Гаральд. — Какие указания можно делать артисту? Я не рецензент, Marion. Газеты послезавтра дадут вам десятки мнений полуобразованных и плоских людей, по случайности попавших в критики. Эти мнения не обязательны ни для вас, ни для меня. Пусть к ним прислушивается толпа! Для нас ценно только наше собственное творчество. И если образ, который вы создали, похож на девушку моей «Сказки», как фотография на живое лицо, так ведь это только неизбежная рознь темпераментов и воззрений. Это вы и я! Но то и другое мне одинаково священо.

Слабая улыбка вдруг раскрывает ее губы. Глаза большие и лучезарные. Она пристально, до странности пристально смотрит в зрачки Гаральда.

«Мистические глаза, — думает Гаральд. — Что в них? Признание? Обещание? Вызов?»

Что-то дрогнуло и в его душе сейчас. Да, и в душе его и в лице также. И Маня это почувствовала. А! Наконец...

— До завтра! — слабо, нежно говорит она. И скрывается.

Ключ повернулся в замке. «Ей хочется побыть одной! — думает Штейнбах. — Меня она не хочет видеть. Что обещала она Гаральду этим долгим, странным взглядом?»

Штейнбах бледен. Двое мужчин в полутьме кулис идут к выходу, обмениваясь вежливыми полужесткими фразами, зорко наблюдая друг за другом.

Штейнбах думает, кривя губы в любезной улыбке:

«Если бы снять с нас обоих налет культуры и дать волю инстинкту, не взял бы я его разве сейчас за горло, как пещерный человек своего соперника?»

А Гаральд думает: «Она сложна. Это не каботинка ^[31]. И я напрасно говорил ей банальности, которыми удовлетворились бы десятки женщин. Эта заслуживает истины».

— До свидания, барон!

Стиснув сухие губы, Гаральд идет по коридору, высокий, надменный, изящный. В руках у него цилиндр.

«Я неприятен Штейнбаху. Быть может, ревность? Знает ли он об ее письме? А это мгновение сейчас было красиво. Люблю первые минуты встречи, непохожие ни на что. Эти не повторяющиеся потом впечатления. Люблю эту тайну первых взглядов...»

Он выходит на подъезд, минуя группу женщин, поджидающих его в вестибюле.

Первые строфы сонета, вызванные образом Marion, звучат в его душе. И он внимает им благоговейно, как далекому любимому голосу. И, чтоб не смутить этих нежных звуков, он идет медленно, прижав трость к губам и глядя перед собой невидящими глазами. Идет осторожно, почти на носках.

Театр полон, несмотря на тройные цены или, вернее, благодаря этим ценам. Это настоящий спектакль-гала.

Сегодня в театре особенно много красивых женщин. Всюду обнаженные плечи, светлые туалеты, соболя и горностаи, живые цветы, поддельные жемчуга и настоящие бриллианты. Это потому, что все незанятые в этот вечер балерины съехались, чтоб поглядеть знаменитую босоножку. А балерины — самые красивые и желанные женщины столицы.

Воистину ярмарка тщеславия! Здесь все знакомы между собой, как будто встретились в гостиной. Любезно здороваются. Женщины бегло, но зорко оглядывают туалеты. Улыбки лгут. Но глаза не могут скрыть истинных чувств. Повернувшись спиной, они злорадно клеветают и мстительно смеются. Здесь все каботины не только женщины, любящие свое тело или свою славу. Мужчины так же мелочны, так же завистливы и тщеславны. Нигде не встретишь таких женственных мужчин, как в этой экзотической среде художников, журналистов и актеров, на этих спектаклях-гала. Как много бесполох, глубоко равнодушных друг к другу сталкиваются здесь! У них нет сильных страстей, нет темперамента. Если они сходятся, то из расчета или тщеславия, и все их связи эфемерны. Все поверхностно у этой публики. Есть только два могучих двигателя: зависть и тщеславие. И эти страсти напрягают всю волю бесполох, изощряют их способности, заполняют их души, управляют их жизнью. И горе истинно талантливой артистке или художнице! Мужчины, как и женщины, не прощают им успеха.

...Занавес еще не опустился, а все внизу с истерическими криками кинулись к барьеру. И наверху зрители поднялись со своих мест. «Браво! Браво! Marion... Marion!»

Штейнбах стиснул зубы как бы от боли и прижмурил веки... Ему вспоминаются Венеция, дневник Мани, ее ревность, ее страдания. Ему кажется, что во мраке прошлого он видит одну яркую точку — тот день, когда любовь Мани к нему — Штейнбаху, ее вера в него, эти последние иллюзии умерли в ее душе. Но сделал ли он что-нибудь, чтобы воскресить

эту веру? Нет. «Я хотел создать тебе новый мир, — думает он. — Но ты женщина. Ты не поняла моей жертвы...»

— Marion... Bravo, bravo, Marion! — несутся крики. Но занавеса почему-то не поднимают.

Штейнбах тревожно встает.

— Nils!.. Marion!.. Marion!.. — все нетерпеливее, все возбужденнее несутся крики.

— Что такое? Почему они не выходят? — спрашивает Штейнбах.

— Я сейчас оттуда... Marion в истерике...

Через пять минут эта весть разносится по театру.

— Все еще не выходили? Господи! Надо же устраивать истерики в такие минуты! Да она совсем не считается с публикой.

— Ах, барон! Наконец-то!

— Pardon! — говорит Штейнбах и стучит в уборную. Он видит заплаканные, но сияющие глаза Мани, растерянное лицо Нильса.

— Ты испугался, Марк? Теперь все прошло... Поди сюда, сядь! И пожми руку моему Нильсу. Я поцеловала его сейчас в благодарность. Я ничто без него на сцене. Если моя игра сейчас стоила чего-нибудь... Нет, я больше не буду плакать. Дай зеркальце!

Но Марк не выражает восторга. Эта «Манечка» поразила его. Он смотрит на Зеркальце, не видя его на туалетном столе.

Маня сама берет его.

— Ну, так и знала! Нос распух и глаза красные. Ступайте, Нильс! Я буду гримироваться.

— Nils... Nils... Marion... Marion...

— Вы не выйдете? Слышите? Весь театр зовет.

— Нет не выйду. Идите, Нильс, один!

— Не пойду я без вас! — огорченно бросает Нильс и, сдвинув брови, вызывающе складывает руки на груди.

Она с восторгом глядит на него. Для нее он все еще пастух, все еще полубог. А она сама — простая девушка долины, для которой Любовь и Смерть идут рядом, обнявшись как сестры. Она растерянно опускает зеркальце на колени.

— Что же мне делать? Марк, я пойду... Я должна идти...

Маня встает.

— Мой нос ужасен. Правда, Марк?

Взгляд Нильса словно обжигает ее лицо. И она чувствует себя бессильной.

— Пойдемте, — говорит он тихо, но повелительно. — Пойдемте!

И увлекает ее за собой, крепко держа за руку. И она идет, покорная, счастливая, точно во сне.

«Если б только не просыпаться...»

«Это ничего, ничего, — говорит себе Штейнбах, невольно закрывая глаза. — Он ей ближе сейчас, чем я. Но Нильс — это только прекрасный сон. А я унылая действительность. Сны кончаются. Жизнь остается...»

Пахнуло теплом из залы. И вот они оба перед лицом толпы, покоренной и восторженной. Маня смотрит на одного Гаральда. Она видит, что он поднялся и аплодирует ей.

Но Нильс и не глядит вверх, в ложу, где сидела недавно жена его. Он забыл о ней. Не с ней, с другой делит он радость этой минуты. Не она, другая вдохновила его и подняла сейчас на вершину жизни. И помогла ему покорить вот этих людей внизу.

Он сам никогда не переживал такого подъема. Были триумфы, но не было этого экстаза в игре. О, какие минуты! Не вся ли жизнь в этих ощущениях борьбы за власть и победу?

...Спектакль кончился, но публика не расходится. Вызовы без конца. Неудержимый порыв, слезы благодарности, лица, полные экстаза. Те, кто все-таки поспешили за калошами, успокоившиеся и одетые, в шубах, еще толпятся, запружая все выходы. Marion и Нильса засыпали цветами. Громадную колесницу желтых сияющих хризантем вкатили на сцену, когда Marion показалась в первый раз по окончании «Сказки». Это цветы от Штейнбаха. Нильсу он поднес лавровый венок.

Они выходят уже в двенадцатый раз, шествуя по цветам, как античные боги.

Вдруг роскошный букет из бледно-розовых, почти белых гвоздик с белой лентой, поднявшись на мгновение над оркестром, ловко падает к ногам Мани. Нильс поднимает его и подает. «От автора» — кидаются ей в глаза золотые буквы.

Лицо Мани дрогнуло. Весь театр видит, как она, прижав букет к груди, низко кланяется Гаральду. Потом благоговейно целует цветы.

Штейнбах печален. Стоя за кулисами, он слышит крики толпы. И здесь то же, что в Париже и Лондоне. Те же овации, и слезы, и цветы. И даже больше энтузиазма. А Маня дивно играла, Такой подъем, такое богатство мимики и жестов, такое вдохновение видел он у нее только раз, в день ее дебюта в Париже. Значит, она прежняя Маня? Забыто разочарование в искусстве и сомнения в себе, заставившие ее среди сезона нарушить контракт, заплатить громадную неустойку и спрятаться от всего мира в

горах Тироля? Но почему же нет у него удовлетворения. Почему такая тревога на душе?

Гаральд у окна читает телеграмму:

«ЗАВТРА БАЛ-МАСКАРАД В ЗАЛЕ N. ЖДУ ТЕБЯ.
ТЫ ПРИДЕШЬ!»

Закусив губы, он комкает бумажку и садится опять у стола.

Досада! Настроение нарушено. Но почему? Разве мало получал он подобных приглашений?

А если *она*... Не может быть! Слишком странно звучит это ты между людьми, видевшимися не более трех раз за кулисами Студии, за неделю обменивавшимся лишь беглыми, незначительными словами.

Он разглаживает телеграмму и читает ее вновь. Не выступит ли между строк таинственное лицо?

«Жду тебя. Ты придешь!» Это не просьба, это приказание. Он читает вслух эти слова. Потом вновь гневно комкает бумажку и бросает ее на пол.

Как хорошо писалось! Образ Marion в газовой тунике, не скрывающей благородных форм стройного тела, ее выразительные руки, пластичные жесты и трагические глаза дали ему так много. Он написал шесть сонетов за эти два дня и начал рассказ. Его надо закончить, пока не схлынуло вдохновение. Надо запереть двери и затворить душу, чтоб жизнь не вторглась в нее. Перед радостью творчества меркнет все земное. И ни для каких объятий, ни для каких соблазнов не пожертвует он хотя бы получасом этого одиночества за письменным столом!

Он берет перо и, покусывая ручку, смотрит в свою душу, где светлым хороводом вьются легкие тени. Лицо Marion с ее мистическими глазами. Неразгаданной вечной тайной полон этот взгляд. Тише! Не надо слов. Не надо сближения. Это душа ее говорит с ним темным языком, понятным лишь поэтам. Печальные и беглые взгляды, которыми обменялись они вчера в полумраке кулис, дали им больше, чем дал бы обычный поцелуй. Даже коснуться ее руки ему не хотелось после этого немого, загадочного разговора.

Она несчастна. Он это знает. И теперь письмо ее понятно. Он найдет его, но потом, потом. И перечтет опять, уже внимательно, с новым интересом к этой мятежной душе.

Кто не был бы счастлив на ее месте? Но эта линия у рта, эта печаль! Только каботину свойственно наполнять жизнь успехом у толпы. Истинный

художник всегда одинок.

«Ты придешь!»

— Нет! — говорит он громко. — Нет!

И опять берется за перо.

Вдохновение? Да, он его знает. Это гостя небес. И никому неведомы ее пути и час, когда она войдет сюда. Но труд, упорный труд — вот кто царит здесь, в этой комнате поэта. Работа над каждым словом, над каждым стихом. Как гранильщик шлифует камень, который будет сверкать потом и радовать глаз, так трудится он здесь, в тиши и одиночестве, упорно и медленно, без пощады к самому себе, борясь с жаждой жизни, жертвуя всеми возможностями грозному, требовательному богу искусства. Когда-то всеми осмеянный, теперь он всеми признан. Он горд, как Цезарь, и упорен, как рудокоп. Он бросил вызов толпе и покорил ее.

Сумерки тихонько падают. Резко белеет на полу забытая бумажка.

Он пишет, забыв о жизни.

— Я получил телеграмму, Маня. И вечером уезжаю.

— Нина? Боже мой! Что случилось?

— Нет, нет. Я еду по делам. Нынче вечером.

Штейнбах незаметно следит за ее лицом. Но Маня овладела собой. И только легкая краска, сбегаящая с ее щек, говорит об ее радости. О, быть одной! Именно теперь. Не чувствовать этого взгляда, подстерегающего каждое ее движение.

— Надолго ты едешь? — спрашивает она, играя кольцами.

— Неизвестно. Я тебе напишу.

Она думает о чем-то, щурясь на сверкающий рубин на своем мизинце, ее любимый камень.

— Марк, дай мне телеграмму, как приедешь, в тот же день. Слышишь?

Она поднимает глаза, и он видит в них что-то темное и угрожающее.

— К чему? — срывается у него невольно. — Ты каждый день говоришь с фрау Кеслер по телефону.

— Нет, нет. Ты должен мне телеграфировать!

Он пристально смотрит ей в глаза. И вдруг усмехается.

И она чувствует, что руки ее холодеют.

— Прощай! — говорит он, входя в ее комнату вечером, когда она собирается в Студию. — Надеюсь, ты нынче будешь иметь успех, как всегда.

Он целует ее руку.

— Почему так рано? Разве ты не курьерским едешь?

— Нет. С этим поездом я выгадываю два часа.

Через десять минут она слышит, как он выходит из своего номера. Полуодетая, она бежит к двери. Штейнбах идет по коридору в меховом пальто и шапке, с небольшим портфелем в руках. Его плечи как-то непривычно согнулись. Точно он устал.

— До свиданья, Марк! — Ее голос звенит робко и нежно.

Он оборачивается. Глаза его угасли.

Вдруг он подходит, словно кто-то толкнул его к ней. Берет ее голову в обе руки. Долго и странно смотрит в ее глаза. Скорбно изогнулись брови, эти черные брови, которые она любила когда-то. Но разве она его уже не любит? Кто сказал, что она его разлюбила? Она хочет отстраниться. Но он припадает к ее устам в долгом-долгом поцелуе.

— Марк! — тихонько и жалобно срывается у нее. Он ждет, с тоской глядя в ее лицо.

Но у нее нет слов. И она печально опускает ресницы.

— Прощай! — говорит он.

Стоя у двери, она слушает звук его замирающих в коридоре шагов. Вот он теперь спускается по лестнице, согнувшись, как его старый дядя. Как бы придавленный тяжестью Неизбежного.

Но кто сказал, что это неизбежно? Кто?

Она поворачивается и медленно идет в глубь комнаты.

Он понял. Он уезжает нарочно. Да, да. Она сейчас только это угадала. А он давно уже читает в ее душе. Если эта деловая телеграмма ложь, значит, он сознательно устраняется с ее дороги, чтобы не мешать.

У Мани вырывается стон. Она падает в кресло, закрыв лицо руками. Жалость и раскаяние, как они мучительны! Эти чувства незнакомы и враждебны ее душе.

Она никогда не жалела его раньше, во всей истории с Нелидовым. А встреча с рыжей венецианкой отняла у нее все иллюзии, всю веру в вечность и неизменность любви. Да, она его не жалела раньше. Почему же теперь так болит ее душа? Хочется кричать от боли. Хочется дать волю слезам, что подступили к горлу и душат.

Нет! Она его не разлюбила. Только теперь, охладев к его чувственной ласке, она оценила его натуру, полюбила душу его. Он стал ей близок, дорог, необходим. Может ли она представить себе дальнейшую жизнь без него?

Нет! Нет! Ни одной минуты. Никогда, ни для кого не согласилась бы она покинуть Марка. «Ни для кого!» — громко и страстно говорит она, как

бы кидая вызов кому-то. Нина, Марк и искусство — вот все, на чем держится ее жизнь. Нет другого, как он, во всем мире! И нигде не встретит она такое чувство. Ах, зачем, зачем дала она ему уйти, не высказав, сколько нежности и тоски в ее сердце! О, этот взгляд, которым он глядел на нее сейчас, словно прощаясь навеки.

Она вскакивает и с яростным криком дергает себя за волосы. Целая прядь остается в ее руке. Слезы боли выступают в глазах Мани. Она вспомнила. Вчера. Да, это было вчера, за кулисами. Она обменялась с Гаральдом долгим взглядом. И Марк этот взгляд перехватил. Весь день он казался убитым и растерянным. Весь день молчал, совсем как тогда, на ужине, после ее дебюта, когда она весь вечер проговорила с Гаральдом.

В театре Маня нервничает больше обыкновенного. Успех, как и всегда. Но она ни разу не улыбнулась.

В перерыве она подходит к занавесу и, чуть-чуть раздвинув его, глядит в зал. Гаральда нет.

Но зато завтра... завтра... Дома перед сном она входит в пустую комнату Марка и зажигает электричество. С порога она пристально оглядывает холодную неприготовленную постель, письменный стол, раскрытую книгу на ночном столике, надорванный конверт на ковре. Она поднимает его, машинально читает. Потом видит его пиджак, висящий на большой рогатой вешалке.

Она грустно улыбается и тихонько гладит рукав. Как хорошо пахнет подкладка! Пахнет прошлым. «Марк, милый Марк, — шепчет она и подносит рукав к губам. Они дрогнули жалобно, как у ребенка. — Где ты теперь? Спишь ли? Или скорбными глазами глядишь в темноту и видишь мою... измену? Благородный друг! Зачем ты так поторопился сойти с моей дороги? Разве ты предвидишь свое унижение и мое торжество?»

Она запирает двери на ключ, откидывает одеяло и, раздевшись, ложится в постель Марка.

Как приятно! Пахнет им: его духами, сигарами, саше от его белья, его мылом, тем индивидуальным, сложным запахом, который она знает давно. Она прижимается лицом к холодящему полотну подушки с его инициалами и слышит тонкий запах его кожи, когда-то сводивший ее с ума.

«Марк, — шепчет она с закрытыми глазами, — я с тобой, Марк, я люблю тебя. Я все та же. Нет, я больше прежнего люблю тебя. Но я уже не девочка. Ты дал мне много страданий. Но я не кляню тебя за это. Ты освободил мою душу, разбив иллюзии. Ты сделал меня тем, что я есть. Марк, я никогда тебя не брошу. Слышишь?»

Она подымается на постели и глядит в темноту. Электрические фонари

бросают странные, лунные блики на потолок и карнизы. Она глядит на них. И вдруг тоска сжимает ее сердце, как холодная рука.

«Марк... Марк... Зачем тебя нет здесь? — говорит она громко и жалобно и заламывает руки над головой. — Клянусь тебе, Марк, никто в мире не вытеснит тебя из моей души! Я не хочу уже ни страдать, ни плакать. Хочу только радости и опьянения. Ты слышишь? Ни жертв, ни слез. Последние слезы были о тебе. И я возьму эту радость! Да, ты угадал... О, Марк! Она мне нужна, как жизнь. Мне легче умереть, чем отказаться от нее! Не требуй жертв. Они ожесточат меня. Они убьют во мне артистку. Разве тебя будет радовать смерть моей души? Не мешай мне утолить мою жажду тайны и новизны. Я скоро выпью до дна этот кубок. И брошу его, смеясь. И пойду дальше. Но с тобою, Марк, всегда с тобой... И нас разлучит только смерть...»

Странно звучит ее голос в тиши и полумраке. Но теперь ей легче. Обняв подушки, она закрывает глаза.

Ах, если бы теперь каким-нибудь чудом он вернулся, угадав ее тоску! Если б он вошел сюда внезапно. Как страстно обвилились бы ее руки вокруг его шеи! Кто знает? Не повторилось бы разве безумие прежних лет?

«Вернись! — с тоской говорит она, протягивая руки и напряженно глядя на дрожащие вверху белые блики. — Где ты, Марк? Вернись...»

Все молчит.

А ночь идет. Разделенные сотнями верст, они тоскуют друг о друге. С каждым поворотом колеса растет расстояние, разделяющее их. Но мысли их с отчаянием ищут друг друга во мраке и несутся над снежными пустынями, над спящими деревнями. И, затерявшись в пустыне и тьме, их души плачут тихонько о том, что ушло и не вернется.

Все утро Маня ждет известия. Почему Марк запоздал телеграфировать? На репетиции она нервничает. У нее ничего не выходит. Никто не может ей угодить.

Дома ей подадут телеграмму.

Она разрывает ее в поспешности на кусочки и читает, складывая их:

«ВСЕ ЗДОРОВЫ. МАРК».

И только? Она смотрит, сдвинув брови, на смятую бумажку. Потом, потрянув головой, идет обедать.

Но губы улыбаются. Она ловит себя на странном чувстве какого-то радостного освобождения.

Нынче. Нынче. После спектакля...

В зале душно. Люстры тускло горят не то от пыли, не то от тумана. Уже первый час!

Дамы-патронессы, оголенные и разряженные, бойко торгуют напитками в киосках. У многих усталые и потрепанные лица со следами грима. Публика, вялая, пресыщенная, скучающая, бродит словно по кладбищу, тщетно ожидая циничной шутки, искреннего смеха, дерзкого канкана.

«Пошлость! И зачем я здесь?» — думает Гаральд. Он стоит у стены. На него часто оглядываются. Некоторые его узнают. Ему душно. Он устал. Висок начинает ныть. Надо уехать. Ждать нечего.

Вдруг алые розы падают к его ногам.

«Мне?»

Он машинально поднимает их, но все еще далекий.

«Это Marion», — говорит кто-то громко и отчетливо.

Он оглядывается. Группа мужчин стоит рядом. Все смотрят в упор на цыганку.

Брови Гаральда сливаются в одну линию. «Она опоздала», — думает он.

Не замечая растущей вокруг толпы любопытных, Маня идет прямо к Гаральду. Перед ней почтительно расступаются.

— Здравствуй! — говорит она. — Я знала, что ты придешь.

Он молча смотрит на эти черные алмазы, горящие из-под маски. Он силится понять значение этого мига, этой встречи. Ему досадно собственное равнодушие. Зачем она опоздала?

Маня оглядывается. Кольцо чужих лиц стягивается теснее. Что такое? Цветы? Ей? Свежий букет...

Она смущенно благодарит. Толпа аплодирует. Ее просят выпить шампанского, пройти в буфет. Ей представляются. Называют имена. Она с отчаянием оглядывается.

Вдруг она решительно берет Гаральда под руку и, кивнув толпе, идет с ним из зала.

Красное домино отделилось от стены и медленно двинулось за ними.

Толпа всюду. Впрочем, вот уголок более интимный. Что-то вроде гостиной. Мягкая мебель. Посреди комнаты огромный круглый диван. Электричество горит под красными тюльпанами, разливая полусвет, тревожный, раздражающий. Шепчущиеся парочки смолкают при их входа.

«Неужели и здесь узнали? Куда уйти от людей? Ах, все равно!»

— Гаральд, сядем здесь. Я устала.

Звуки оркестра долетают сюда неясно. Дальше комнаты для карт. Слышны сухие, короткие возгласы играющих. Маня садится в кресло, напротив двери, чтобы быть подальше от соседей. Она снимает маску. На лбу ее и около губ выступили капельки пота, мелкие, как бисер. Гаральду это неприятно. Хотелось бы сказать ей. Неловко. И он ничего уже не видит в ее лице, кроме этих капель. Он досадует на нее и на себя.

— Почему вы не бываете в Студии, Гаральд?

— Я вас видел, Marion, во всех ваших ролях и танцах. Повторять впечатление — значит ослаблять его.

Она молчит, обдумывая его ответ.

— Но у вас... стало быть, нет никакого интереса к артисту?

Капельки у ее губ слились в одну крупную и упали на шелк лифа. Она вынимает платок и оттирает все лицо, с которого уже снят грим.

«Наконец!» — думает Гаральд. И его неприязнь стихает. Самый звук голоса его смягчается теперь, когда он спокойно следит за словами своего ответа:

— Артист невыносим вне сцены, Marion. Она делает нетерпеливое движение.

— Это жестоко!

— Напротив. Это прекрасно. Я умышленно избегаю сближения. Какое безумное стремление у людей разрушить все иллюзии! Казаться или быть. Разве первое не более ценно?

Странно. Это точь-в-точь слова, которые Маня когда-то говорила Марку, а затем Нильсу. Но теперь они не доходят до ее души. Ножка в черной туфельке нетерпеливо бьет по ковру.

— Зачем мне жизнь и правда? — продолжает Гаральд. — Я ценю только образы, созданные моим воображением.

Красная фигура медленно идет мимо. Гаральд чувствует на себе взгляд темных глаз и смолкает, мгновенно теряя нить мыслей. Опять встают созвучия, теснятся рифмы новой поэмы. Он их повторяет про себя, боясь забыть, боясь растерять жемчуг творчества.

Но Маня ничего не видит. Весь этот ненужный разговор должен отпасть сам собой. Важно и страшно то, что будет сейчас. Сейчас... Сильно побледнев, она закрывает глаза.

— Гаральд... — Свой собственный голос, глухой и словно незнакомый, она как бы слышит издали. Так шумит в ушах кровь, снова прихлынувшая к лицу. Даже глазам жарко. — Гаральд, Вы получили мое письмо из Тироля?

Он молча наклоняет голову.

— Я стучалась в вашу душу. Но тщетно... А между тем, мы не так далеки и чужды, как вы мне дали понять в первую минуту встречи. Жизнь для нас только в искусстве!

Она смолкает, заметив тень улыбки на его сухих губах. Глаза тревожно расширяются.

— Вы думаете, я не люблю его?

— Я в этом уверен теперь, после вашего письма.

— Ах, Гаральд, если б вы знали, что я пережила тогда, что я пережила вообще. Я так страдала...

— Тем лучше, Marion. Страдания — это крылья, поднимающие нас к небесам. Вы не были бы такой артисткой, если б не взмахнули царственные крылья.

Она проводит рукой по лицу. Не то, не то... Ей страшно. Ее собственное возбуждение гаснет рядом с ним.

— Конечно, вы правы, искусство не дается даром. Но ведь счастье уходит, вера уходит. И остается обнаженная, пустая душа.

— Но разве есть предел царству, созданному нашим воображением? И не в нашей ли власти наполнить этот мир?

О, каким голосом он это сказал! Счастливец. С трепетом глядит она в его лицо. Его душа далека от нее. Бесконечно далека. Предчувствие не обмануло ее.

— Разве не тяготит вас одиночество?

— Оно наш удел, Marion.

— Нет! Моя душа стынет. Мне нужна любовь.

— У вас есть друг. О каком же одиночестве говорите вы?

Доминиканец обошел комнату и приближается к ним. Невольно следит за ним Гаральд. «Я где-то видел его. Где? Когда?» Маня опускает голову.

— Вы не о том говорите! — жалобно срывается у нее. — Писатель и художник не соприкасаются с толпой, как мы, артисты. Мне нужна связь с людьми. Я не могу играть, пока не почувствую, что между мной и зрителем протянулись струны. Я хочу, чтоб они пели. Хочу, чтоб любимые глаза глядели на меня из залы. Чтоб мне не было холодно среди людей...

«Теперь она опять прекрасна», — думает Гаральд, задумчиво изучая ее лицо. — И она не хищница. Как по-детски жалобно звучит этот милый голос! Она слабая и несчастная женщина, не умеющая ценить свой талант...

— Разве возможно общение с толпой, Marion?

Она растерянно озирается. Смотрит на красного монаха в углу. И не

видит его.

— С этой толпой? Нет. О, нет!

— А разве есть другая?

— Ах, Гаральд! Если б я нашла другую, я никогда не покинула бы сцену.

Страстно и с мучительной правдой срывается у нее эта фраза. Она гнет черепаховый веер, рискуя его сломать.

Гаральд весь подается вперед в кресле. Лицо его дрогнуло.

— Вы и об этом думали? Покинуть сцену, отказаться от искусства? Для чего же тогда жить?

Но она не отвечает на его вопрос. Она полна собою.

— Гаральд! Вы не знаете, какую роль вы сыграли в моей жизни! Я так рвалась вас видеть и сказать вам эти слова! Но вы меня избегали. Умышленно, я это чувствую. Почему? Почему, скажите...

От нее вдруг повеяло зноем, туманящей мозг стихийной страстью. Гаральд опускает веки.

— Вдали от вас я был полон вами. Я вам писал стихи. Разве это не более ценно, чем банальные, беглые встречи?

Маня бледнеет. Ее глаза, большие, искристые, полны ужаса. Отчего ей вдруг стало так страшно? Это красивые слова. Но она где-то уже слышала их. И от этих слов страдала.

Гаральд теперь смотрит на нее, и душа его смягчается. Трагическая красота Marion опять, как тогда, в театре, наполняет его смятением и тревогой. «В этих глазах целый мир, — думает он. — И этот мир для меня. Неужели я откажусь завладеть им? Неужели испугаюсь?»

Музыка кончилась. Толпа хлынула в гостиную. Опять идут мимо, бесцеремонно глядят на них, оскорбительно шепчутся. Но на этот раз они не замечают ни чужого внимания, ни собственного молчания. Взгляды их остановились. Они как бы глядят во мрак сердца, где звучат таинственные голоса.

Красная фигура, давно наблюдавшая за ними издали, снова обошла гостиную вокруг дивана и приближается. Идет совсем близко. Они ее не видят.

— Вы мне писали стихи? — шепчет Маня, первая нарушая очарование странного мига. — Я хочу их слышать. Завтра приезжайте ко мне. Я буду вас ждать. Придете? Придете?

Монах пристально глядит на них, стоя у круглого дивана.

Гаральд поднимает голову. «Странно! Он следит за нами. Кого из нас он знает?»

Поймав взгляд Гаральда, красная фигура крадется к двери, чуть-чуть сгорбившись.

— А! — невольно срывается у Гаральда. — Marion, посмотрите на это домино!

Она нетерпеливо оборачивается и смотрит, не видя.

— А где барон Штейнбах?

— Его нет в Петербурге.

— Вы уверены в этом?

— Что за странный вопрос? — Ножка опять бьет по ковру.

— Если не барон Штейнбах этот красный монах, все время наблюдающий за нами, то это его двойник, или астральное тело, как принято говорить у теософов...

Маня быстро встает и, вытянув шею, следит за удаляющимся домино. Вошел в залу. Скрылся.

— Не может быть, — смущенно говорит она, садясь опять.

— Однако сходство странное.

— Он в маске, Гаральд! — тревожно вскрикивает она.

— Но вы уже сняли свою и... глядите, все без масок.

Холодок бежит по спине Мани. Прочь эти мысли! Нить завязалась. Тонкая, нежная нить. Важно закрепить ее, не потерять в сутолоке жизни. Что вернет ей потом утраченное здесь мгновение?

— Гаральд, вы придете ко мне? — спрашивает она трепетным голосом. — Вы не будете избегать меня, как раньше? Я вас видела с другой. Все равно! Я чувствую, что вы свободны, как и я. И между нами нет ничего...

— И... никого, Marion?

Она глядит в его зрачки пламенными глазами.

— Никого!..

Сердце его стучит, и он его слышит.

— Чего же вы ждете от меня? — спрашивает он ее глухо.

— Вдохновенья, радости, опьянения. Всего, о чем томится душа давно, давно.

Гаральд молчит, с трудом овладевая внезапным волнением. Оно сильнее его воли. Стихийной силой веет от этой женщины, от ее голоса больше всего. Тайной и угрозой полны ее глаза. Не друг глядит из них, а враг. Враг могучий и коварный. Примет ли он его вызов? Ринется ли он в этот поединок? Что потеряет он здесь? А если выиграет?

— Вы это хорошо сказали: вдохновение. И вы были им для меня. Остановимся на этом, Marion. Вы видите вдали волшебный замок? Не

подходите близко. Он рухнет. Помните? «И тени человека боится легкая Мечта...»

Пальцы ее судорожно сжимают веер. И он ломается.

— Кого вы любите, Гаральд?

— Искусство.

Она нервно смеется.

— А эта женщина в вашей ложе?

— Я ни разу не поцеловал ее.

— Значит вы ее не любите? — вскрикивает Маня.

— Она дорога мне. Но только потому, быть может, что я ее не знаю. И не хочу узнать.

— Счастливец! — жестко говорит она. — Вы не испытали страсти?

— Нет. Мне знакомо желание. Грубое, темное, стихийное желание. Оно приходит и уходит, не ломая моей жизни. Но ни разу желание и мечта не сливались для меня в одном лице. И если это есть любовь, я ее не знал. Но есть ли она на земле?

— Мне жаль вас! — резко говорит она, невидящими глазами глядя на сломанный веер.

Гаральд спокойно пожимает плечами.

— Вам незнакомы высоты жизни, Гаральд.

— Я знаю другие, доступные немногим. Только в сознании собственной силы есть радость, перед которой бледнеет все.

Она встает. Лицо ее гневно. Щеки пылают.

— Вы боитесь меня, Гаральд? Он молчит одно мгновение.

— Да.

Она не ждала такого смелого признания. Она смущена.

— То, что вы сулите мне, наверно красочно и незабвенно. Но Marion, цель в жизни у меня уже есть. А делить душу я не хочу. И не умею. У меня свой мир, Marion. Таинственный и беззвучный, как священная роща Бёклина [\[32\]](#). Дать темной и враждебной силе, называемой страстью, нарушить эту тишину? Разогнать светлых духов, которые пляшут под деревьями в лунном свете? Вспомните пастуха и девушку моей «Сказки»! Да, я боюсь вас, Marion. Из ваших глаз глядит на меня эта стихия. И вашего вызова я не принимаю. Но это не трусость, нет. Это говорит во мне великая любовь, которой не страшны жертвы.

Она выслушала и горестно закрывает глаза. Медленно исчезают с ее лица краски.

— Прощайте, — говорит она беззвучно.

И, наклонив голову, идет быстро-быстро. Почти бежит. Рыданья

подступили к горлу. Она стиснула зубы. Боже! Лишь бы не заплакать при всех! Она не видит темных глаз монаха, стерегущего ее у входа. На воздух. Скорее! Быть одной!

Гаральд встал и глядит ей вслед, ошеломленный. — Какая стихийность в этой натуре! Он никогда не встречал такой.

И опять созвучия запели в душе. Он счастлив. Этот вечер дал ему так много.

Он идет через залы, не озираясь по сторонам, осторожно неся через толпу, как бы боясь расплескать, волшебный кубок, полный до краев.

О эта ночь! Эта ночь! Бесконечная, пугающая тишиной и одиночеством. Ночь без сна, без слез, без надежд, без просвета.

Страсть пришла. Опять внезапно вошла в душу, как входит варвар, все сжигая и опустошая на своем пути, опрокидывая алтари чужих богов, топча ногами ненужные, непонятные ему ценности. И Маня с ужасом глядит на это опустошение. Что уцелеет в этой катастрофе?

Нина? О ней она даже не вспомнила всю эту долгую ночь.

Марк?

Она выпрямляется в кресле, в котором полуодетая просидела до утра. Только сейчас, когда Полина внесла шоколад и щетка застучала в коридоре, она припомнила фигуру красного монаха.

И опять ей стало холодно.

Наскоро одевшись, она спешит к телефону. И ждет с напряженно остановившимся взглядом. Наконец.

— Агата... ты? Здравствуй. Как Нина? Здорова? Где Марк? Позови его сейчас. Сейчас. Я хочу слышать его голос. Что такое? Разве его нету? Боже мой!

И после паузы, жалким чужим голосом она отвечает:

— Да, он выехал в Москву. До свиданья, Агата. До свиданья.

Как разбитая, двигается Маня по комнате. Лицо ее осунулось и постарело за одну ночь. Она садится у зеркала и глядит в свои померкшие глаза.

Какой мираж в пустыне жизни поманил ее опять, что она помчалась как безумная по раскаленному песку, под знойным небом, изнемогая от жажды, простирая руки к исчезающему видению? Разве она не знала, что утолить эту жажду души бессильны ключи, бьющие на земле? Разве она не знала, что только вымысел дает счастье душе, утомленной реальностью? Горький смех дрожит в ее лице. Смех над собою.

Неужели она мало страдала? Неужели забыты унижения? Где та сила, которой горела душа в горах? Где вера в себя, когда в парке Трианона она

гордо говорила Марку, что из схемы ее будущего исключена любовь?

И опять в душе звучат вещие слова Яна, которые она твердила вслух, среди молчанья гор: «Из мрачной долины, тесно сжатой неприступными горами, за которыми сияет солнце, я поведу вас на высокую башню...»

Но разве она уже не прошла этот путь? Разве ступени старой башни не дрожали под ее ногами? Разве с каждым шагом вверх не бросала она, как вериги, тяготившие ее, воспоминания, сожаления, предрассудки? Не вырывала она из сердца — как враждебные сорные травы — свои женские иллюзии? И разве не плакало это сердце кровавыми слезами?

Начинать сначала?

Опять проходить весь круг?

Нет! Нет. Ни жертв, ни слез, ни унижений! Этого довольно! Не меньше Гаральда хочет она ценить себя. Все взять от него, ничем не поступаясь самой. Да, она этого хочет. Только радости. Только забвения. Ни обязательства, ни договоров. Свобода и одиночество всегда. В любви больше чем где-либо!

Уронив руки, она глядит в огонь. И лицо Яна улыбается ей. Она слышит его слова, которые заучила наизусть еще в Тироле, которые она ежедневно твердила себе, как молитву, в разлуке с Марком.

«Стоил ли он ваших слез? Вы разве задумались? Вы никогда не посмели широко открыть глаза и оглянуться. Разве рядом с вами не шли другие, не менее юные, не менее прекрасные, не менее готовые любить? Разве вы дерзнули протянуть им руку и сказать себе: „Жизнь все так же хороша, как была вчера, когда он любил меня. Буду жить и радоваться теперь, когда меня любит другой!“».

Она с отчаянием закидывает руки над головой.

«Ах, если б я могла быть такою! Если б я могла осилить страсть! Неужели опять она загонит меня в тупик без исхода? Неужели рухнет все, что я строила годы?»

Слышны чьи-то шаги. Полина подает письмо на подносе. Маня берет толстый матовый конверт. Почерк мужской, незнакомый, мелкий и твердый.

«Marion, боюсь, что между нами недоразумение. Я не хотел вас оскорбить. Если я зайду к вам в один из этих дней, встретьте меня как друга. Мы единомышленники. Мы одинаково смотрим на любовь. У вас не женская душа, Marion. И это я оценил. Дадим друг другу руки и пойдем к общей цели.»

Гаральд».

Она глядит на строки и вспоминает твердый очерк его губ, его упорный подбородок. Горькая улыбка кривит ее губы.

Она встает, тряхнув головой привычным жестом, и кудри падают ей на лоб.

— Одеваться, Полина. Пора! — говорит она спокойно. И небрежно бросает письмо на кушетку.

A la guerre comme à la guerre! ^[33] Если страсть — враг, она встретит ее во всеоружии. Она будет бороться за свободу своей души. Довольно безумия! У нее есть ребенок, есть искусство. Есть, наконец, нежность Марка. Что нужно еще от жизни? Неужели затем шла она так долго в гору, чтобы первый порыв налетевшего вихря сбросил ее вниз?

И как это бывает иногда во сне, когда мы видим с поразительной отчетливостью все детали картины, которую напишем потом и о которой ничего не знали до этой ночи; или как математику, измученному ускользающим решением задачи, вдруг снится прием, дающий к нему ключ, — так из тайников бессознательного всплыла в душе Мани уверенность: «Отдайся желанию. Утоли его. И власть Гаральда над тобой исчезнет».

Она даже выронила флакон с духами, и он глухо стукнулся о ковер. Полуоткрыв губы, она глядит перед собой.

Когда она выходит на воздух, ей кажется, что она сейчас упадет, — так велика слабость от бессонной ночи и страданий. Но губы ее стиснуты. И сухие глаза горят. Ей вспоминаются слова пастуха девушке в «Сказке»:

«Но разве ты не знала, что желанье убьет мою любовь?»

Штейнбах подходит к телефону и слышит голос со станции: «Сейчас с вами будут говорить из Петербурга». Он ждет напряженно. Сердце глухо стучит.

Наконец. Ее голос. Слабый, усталый.

— Марк, ты? Здравствуй. Как Нина?

— Здорова. А ты, Маня?

— Я устала, Марк. Когда вернешься?

— Когда ты позовешь. Миг молчанья.

— Почему не пишешь?

— Не умею, Маня. И... нечего сказать. Еще секунда тишины.

— До свиданья, Марк, — печально звучит издалика голос.

Конец.

На один миг соединенные таинственной властью, перелетев сотни верст, коснулись их души друг друга. И опять между ними города и тысячи чужих жизней, безмолвные леса, снежные поля, печальные деревни.

Несомненно, она страдает. Он как сейчас видит ее лицо, когда она бежала из красной гостиной. Лицо раненого человека, которому надо кричать от боли, чтобы не задохнуться.

Значит, она обманулась? Но почему же она не зовет его? Почему она не сказала ему: «Вернись! Я так несчастна!» Ни в радости, ни в печали она не хочет быть с ним.

Он еадится у гаснущего камина.

В доме тихо. Нина засяула после обеда. Отдыхает дядя Фрау Кеслер читает у себя.

Он смотрит в огонь. Потом подбрасывает поленья. Камин потихоньку разгорается. Если б так же легко можно было согреть стынущую душу!

Он боролся с тоской, как с врагом, ища дела, восстановил забытые связи, разыскав людей, с которыми недавно шел рука об руку. Ничто ни помогало. Оставались ночи.

Прошла неделя. Он ждал, что она позовет его. Не безумие ли это было? Когда женщина полюбила другого, ей тягостна, ей ненавистна чужая страсть.

В отчаянии Штейнбах встает и подходит к окну.

В этой комнате прошлое обступило его. Тени вышли из углов. На этой тахте тогда, накануне приезда ее жениха Нелидова, она обвила руками его голову и они пережили еще раз вдвоем краткий миг земного счастья, высший миг слияния души и тела, полное растворение одного в другом. И разве это не была любовь? Истинная, высокая, чистая? И она поняла это сама впервые в тот великий миг. Она сказала ему новым, глубоким и трепетным голосом: «Я люблю вас обоих, Марк. Разным, о, каким разным чувством! Но одинаково сильно, глубоко и прекрасно».

Это она говорила тогда. Но что осталось от прежнего?

Он сумел победить Нелидова. Но прошлое не возвращается. Своими глазами видел он ее удивительное лицо, ее горящие глаза там, в толпе маскарада. И эти глаза глядели с ожиданием и жаждой. Не на него. На другого.

Штейнбах злобно стискивает руки. Голос Мани разбудил в нем все, что он старался усыпить: ревность, месть, жажду счастья, отчаяние.

Забвенья! Забвенья! Оглушить себя, одурманить. Лишь бы не слышать этот усталый голос. Лишь бы забыть эти пламенные глаза, устремленные на другого. Лишь бы не быть одному эту ночь. Еще одну долгую,

бессонную ночь.

Он звонит.

— Андрей, я ухожу. Не ждите меня к обеду.

— Вы вечером в театр, Марк Александрович?

— Нет, бинокля не надо. Не забудьте только положить мне ключ от дома в карман пальто.

Он идет по линии бульвара, сдвинув брови, глядя перед собой бесцельно, весь отдавшись тоске воспоминаний. С опущенных, сказочно прекрасных деревьев тихо слетает иней.

Вон в том переулке, налево, она жила, и он пришел под окно, чтобы отнять ее у Нелидова. Штейнбах останавливается и смотрит туда. И сейчас живут там ее близкие. Вчера он видел их и просидел с ними весь вечер. И ему сладко было говорить с Петром Сергеевичем об успехе Мани, об ее зарботке. Анна Сергеевна растроганно вспоминала о щедрости Мани. Она давно уже расплатилась с братом и все-таки каждый месяц высылает им деньги. Анна Сергеевна с восторгом говорила о Нине. Слава Богу! Маня завоевала себе жизнь. За нее теперь уже нечего бояться.

Если бы они слышали сегодня ее усталый голос.

Повинуясь какому-то странному влечению, Штейнбах вчера сказал им, что Маня его невеста и что свадьба их состоится в недалеком будущем. «Слава Богу! Слава Богу!» — твердил взволнованный Петр Сергеевич, порывисто шагая по столовой. А Анна Сергеевна заплакала, как она плачет всегда, от горя и от радости, все равно. Но почему заговорил он об этом, когда сам перестал в это верить?

Он вышел вчера из этого дома, где ничто не изменилось. Он перешел тогда улицу и стал против квартиры Ельцовых, глядя на то окно. Как тогда. Потом пошел к бульвару по той же стороне, как шел тогда. А она бежала вон там, по тротуару. Бежала, смятенная и враждебная, охваченная проснувшейся страстью к нему. К нему! Бежала, покорная его воле, бессильная стряхнуть с себя гипноз своего влечения. А потом вот тут, на бульваре, они сели. Да, на эту самую скамейку. И она почувствовала, что ей уже не уйти от него. Никогда не уйти.

Но она ушла. На этот раз надолго ли? Вернет ли он ее своей любовью?

Штейнбах садится на знакомую скамью. Снежинки тают на его губах.

Но тоска гонит его дальше. И он идет опять, опустив голову, как бы ища следов на этой дороге, где прошла его Любовь. Знаешь ли ты дорогу назад? Ты, изменчивая, не ведающая пощады!

О, если б встретить ее снова, эту юную, прекрасную любовь! Если б в чей-нибудь душе еще раз вызвать желание! Если б упиться в последний раз

обманом! Час перед закатом — прекраснейший час нашей жизни. Не потому ли, что ночь близка, краски неба пылают так щедро?

Его скорбные глаза глядят вверх, словно следя за исчезающим видением.

Легкое восклицание доносится до его слуха.

— Погодите, одну минутку погодите...

Кто это говорит? Слабый, почти детский голос...

Штейнбах останавливается.

Перед ним маленькая, хрупкая фигурка. Ее можно было бы принять за девочку-подростка, если б не длинное платье. На ней черная короткая каракулевая жакетка. В тени барашковой шляпы с широкими полями бледное личико с огромными глазами кажется совсем маленьким и призрачным. Рука в теплой перчатке робко ложится на рукав Штейнбаха, и слабый голос говорит:

— Вы так прекрасны! Дайте мне еще раз взглянуть на вас и запомнить ваши черты!

Он смотрит на нее пристально и сам чувствует, как хищен его взгляд. Нет. На искательницу приключений она совсем непохожа. В руке у нее футляр от скрипки. Как жаль, что она некрасива! Одно мгновение они молча глядят в зрачки друг другу. И он ясно читает в этом лице. Да... да... нельзя ошибиться. Из глаз этой девушки глядит на него Мечта.

— Позвольте предложить вам руку, — говорит он, приподымая шляпу. — Вы идете из Консерватории?

— Нет, я ушла оттуда час назад. Я гуляла, — отвечает она просто и доверчиво, как будто знала его годы. — Вы заметили деревья? Они как в сказке нынче. Завтра задует ветер, иней опадет. И они опять будут голыми и жалкими. Мне больно расстаться с ними.

«Как Маня прежних лет, — думает он. И сердце его тихо и сладко стучит. — Как девочка Маня, любившая меня».

— Тогда сядем здесь или пройдемся, — вкрадчиво говорит он.

— Да-да, я так рада! Но ведь вы спешили куда-то?

— Мне некуда спешить...

Она внимательно смотрит на его портфель. Ее поразил очевидно звук его голоса. Но чуткость художественной натуры не позволяет ей ни на одну минуту заподозрить его в рисовке. Не лгут с таким лицом. Она это чувствует.

— Как это странно! — говорит она, садясь рядом с ним на скамье. — Когда я проснулась нынче, моя подушка была вся залита слезами. Это я плакала от счастья. И с утра я ждала чего-то большого, чего-то важного.

Постойте. Почему вы улыбнулись? Вы думаете, что я ненормальная?

— Нет-нет, говорите.

— Я устала ходить, я решила вернуться домой. Но какой-то голос шепнул мне: «Пройди еще один раз, в последний раз... Я пошла и встретила вас. Вы верите в предчувствия?»

— Верю.

Она смолкает и с восторгом смотрит на него.

«Она не так некрасива, как мне это показалось в первую минуту, — думает Штейнбах. — Неправильное, скомканное личико, вздутые губы. Но как хороши глаза! Таинственные, бездонные, зловещие и что-то знающие, чего другим знать не дано. Глаза истерички. Они делают это лицо значительным и необычайным...»

Вдруг дрожь пробегает по ее худеньким плечам.

— Вы озябли? Позвольте, я доведу вас до дому. Вы далеко живете?

— На Остоженке. Да, я, должно быть, простудилась. Я так давно на воздухе. Я все ждала, — говорит она, совсем просто, как говорят об обычном.

— Позвольте вам представиться. Адвокат Берг.

— А меня зовут Лия.

— Дайте мне вашу скрипку. Вы давно учитесь?

— В этом году я кончаю.

— Да? А я думал, что вам не больше шестнадцати лет.

Они идут медленно. Он бережно прижимает к себе эту маленькую ручку.

— У какого профессора вы учитесь?

Она вдруг останавливается и жалобно говорит:

— Пожалуйста, не надо расспросов. Не надо меня занимать. Моя душа полна... Эти минуты так прекрасны! Будем молчать. И тихо вот так идти рядом. И я буду думать, что это не случайность. Что это наши жизни сплелись, как наши руки.

Штейнбаху хотелось бы усмехнуться на этот бред «развинченной истерички». Но странное волнение будят в нем эти наивные слова. Воспоминания, конечно. Разве Маня не была такой же истеричкой? Разве не одни истерички дают поэзию и краски в банальном сближении?

Они молча, каждый действительно с душой полной смятения, проходят весь бульвар, всю площадь. Вот и Остоженка. Они поднимаются вверх, сворачивают в переулок.

— Здесь, — говорит она, останавливаясь перед двухэтажным деревянным домом.

Минута неловкого молчания. Он приподнимает шляпу, кланяется. Ее глаза широко раскрыты.

— Вы хотите уйти? — И, не дожидаясь ответа, испуганно подхватывает: — Нет-нет, разве это возможно? Неужели вы не чувствуете, что это невозможно?

Что-то злое и темное встает опять в душе Штейнбаха. «Приключение? Что ж? Она не хуже всякой другой. Даже интересна...»

— Вы живете одна? — звучит его вкрадчивый вопрос.

— Я живу с бабушкой. Она меня воспитала. Матери я не помню. Отец был ученым. Он умер тоже. Я круглая сирота. Бабушка милая. Над нами смеются и говорят, что мы обе ненормальные. Но не все ли равно, раз мы обе счастливы? Она еще совсем молодая душой и все читает романы. Я живу самостоятельно. У меня своя комната и отдельный ход. Войдите. Почему вы боитесь? Почему вы колеблетесь?

Ее темные глаза глядят строго и печально.

— Я не верю, что вы Берг. Вы назвались чужим именем. Видите, я угадала. Ваши губы дрогнули. Но разве я спрашиваю ваше имя? Оно мне не нужно. Мне нужно ваше лицо, эти глаза и все то, что я чувствую сейчас, глядя на вас. Я этого ждала так долго. Так пламенно ждала...

Штейнбах чувствует, что бледнеет.

— У вас, конечно, своя жизнь, — говорит она упавшим голосом, — полная дел, интересов. Чужая мне жизнь. У вас наверно жена, семья. Но я разве чему-нибудь помешаю? Вот вы шли куда-то. Шли без дела И что-то думали, больное. Вы несчастны, я это знаю и без ваших признаний. Зайдите ко мне. Я вам сыграю. Мне дадут золотую медаль, значит, я неплохо играю. Вы любите музыку?

— Да, — с трудом отвечает он.

— Может быть, вам станет легче, пока я буду играть. А когда вы уйдете, я засну и буду вас видеть во сне. Я часто видела вас и раньше. Но не могла разглядеть вашего лица.

«Несчастливая девочка. Она больна несомненно», — с тоской думает Штейнбах.

Молча подает он ей руку. Ему опять стыдно за свои сомнения.

Они поднимаются по деревянной старой лестнице. Совсем темно. Огня еще не зажигали.

— Осторожнее! Здесь поворот, — говорит она. С нежной силой берет она его руку и ведет за собой. У нее свой ключ.

— Садитесь. Я зажгу лампу.

Он раздевается в крохотной передней. Потом входит и оглядывается.

Странная обстановка! Комната в три окна с задрапированной дверью, выходящей в коридор, была очевидно залой. Полуоблупившиеся и пожелтевшие колонны под мрамор отделяют от зала бывшую гостиную старого дворянского дома. Спальни нет. Или она спит вон там, за колоннами, на кушетке, на которую наброшена восточная ткань? Старый резной шкафчик в углу. Над ним зеркало в овальной стеклянной раме, сделанной под серебро. И все здесь старое: блеклая обивка мягких кресел, козетка, рояль с длинным хвостом, портреты на стенах, секретер в стиле Людовика XV с крышкой, закрывающей письменный столик, с резной шифоньеркой. И даже персидский ковер перед козеткой стар и тщательно заштопан. Ничего кричащего, банального, модного. «У нее есть вкус, — думает Штейнбах. — И видны следы прошлого богатства».

У окна стоит мольберт. На нем эскиз чьей-то головки. Несколько полотен у стены перевернуты и закрыты бумагой.

— Выпьем чаю, — доверчиво и просто говорит она, снимая шляпу. — Я очень озябла.

— Здесь холодно. — Он помогает ей снять жакетку. — Не хотите ли, я затоплю ваш камин? Не зовите никого. Только скажите, где взять дрова?

Она радостно смеется.

— Вы меня поняли. Никто не должен знать, что вы были здесь. Пусть тайна окружит все, что касается нас! Вот, подите сюда. Тихонько... Я отворю эту дверь, в коридор. В углу налево чуланчик... Видите вы его?

— Смутно, но вижу, — шепчет Штейнбах. Он улыбается бессознательно. Ее юность и радость согрели его душу.

— Там дрова... Не гремите, а то услышит бабушка.

И она рядом в темноте тихонько смеется. Когда камин затоплен, Лия подвигает к огню два кресла.

— Вы запачкали руки, — говорит она. — Какие у вас чудные руки! Постойте, что это за камень?

— Черный опал.

— Какой таинственный! Он похож на глаз человека. Вы не боитесь несчастья?

— Я ношу его давно, в память моей матери.

— Вот умойтесь здесь, — говорит она, отдергивая занавес у колонны. — Ах, как жаль! Придется все-таки звать прислугу.

— Зачем?

— Я велю подать самовар.

— Мне не надо. Впрочем, для вас. Вы давно кашляете?

— Это пустяки. Я кашляю всегда. Прислуга подаст самовар, но сюда я

ее не впусти. Или вы останетесь за занавеской. Да?

— Конечно, — улыбается Штейнбах и задерживает занавес. «Я точно мальчик», — думает он удивленно.

Кто-то тихо стучится из коридора в дверь, которую Лия заперла на ключ. Лия смотрит на гостя большими глазами и кладет пальчик на губы.

Стук повторяется. Лия выходит на цыпочках.

— Как поздно! Почему так поздно? — доносится из-за двери женский голос, еще молодой, нежный и капризный.

— Я гуляла, бабушка. Есть я не хочу. Велите Дарье дать самовар и торт. И красного вина. У нас есть вино?

— Немного осталось. У тебя гости?

— Да, бабушка. Никто нам не должен мешать.

— Почему горит твое лицо? А руки как лед. Деточка, ты простудилась?

— Нет-нет...

— Вчера ты читала до трех. А теперь опять засидишься?

— Милая бабушка, я так счастлива! Не нарушайте моего настроения. Идите, читайте. Конфеты у вас есть? Нет? Мне не надо... Я о вас... Кушайте, вы так любите конфеты.

Она возвращается задумчивая, затихшая. И опять садится у огня, но не в кресло, а на низкую табуретку. Облокотившись на колени, она смотрит в огонь и тихонько кашляет.

Наконец, одни. У весело шумящего самовара стало уютно.

Штейнбах видит, что Лия не двигается, глядя в огонь. Он наливает ей чай, кладет сахару, подливает вина.

— Выпейте. Согрейтесь! Ваш кашель мне не нравится.

Она поднимает сияющие глаза:

— Как вы добры! А я забыла вас угостить... Я ничего не умею сама. Бабушка говорит, что я не от мира сего. Она сама такая же. Она совсем дитя.

Она пьет медленно, среди странного молчания, которое не тяготит ее. Очевидно она полна собой.

Он видит раскрытую книгу стихов, смотрит обложку. «Безмолвие». Стихи Гаральда. Душа разом холодеет.

— Вам нравятся эти стихи? Она точно просыпается.

— Стихи? Я очень люблю стихи, вообще. Ах, эти? О, они так прекрасны! Я многие знаю наизусть.

— Разве он так талантлив?

— Его стихи похожи на горы. Вы видели Альпы? Я провела в Давосе

целый год. Потом объехала Швейцарию. Когда я читаю Гаральда, всегда вспоминаю горы. Его стихи такие же далекие от земли, такие же чистые и холодные. Это вечные снега. И заметьте, как образно назвал он их: «Безмолвие»?.. Это мой любимый поэт.

«И здесь он?» — с горечью думает Штейнбах. Лия идет за колонны и снимает со стены карточку.

— Вы никогда его не видели? Вот его портрет.

Штейнбах долго смотрит на этот склоненный над книгой энергичный профиль, на эти гордые сухие губы. Быть может, в эту минуту эти губы...

Он быстро, неловко кладет портрет на стол, как будто обжег пальцы.

— Этот человек не знает слабостей, — задумчиво говорит Лия. — Нет дисгармонии между его стихами и его лицом.

Опять, опять встает тоска... Куда уйти от нее? Как забыться?

— Сыграйте мне что-нибудь, — резко срывается у Штейнбаха.

Она удивленно поднимает голову. Скорбь в его лице, эта ломаная линия бровей пронзают ее душу. Она молча берет скрипку.

— Не смотрите на меня! Сядьте у огня... вон там... И думайте о той, кем полно ваше сердце...

«Эта девочка читает в моей душе», — тревожно думает он.

Сидя в кресле и положив подбородок на скрещенные руки, он смотрит на синие струйки, бегущие по поленьям.

Нежные, дрожащие звуки зароились в комнате.словно лучи месяца крадутся в мраке леса. Ощупью ищут дорогу к его сердцу, во тьме его скорбной души. И где упадут эти лучи, там загораются алмазы. Все стремительнее и настойчивее набегают эти лунные волны. Еще... еще... И вот мрак редет. Волшебный свет затопил заколдованный лес. И проснулись спавшие боги.

Звуки смолкли. Лучи растаяли. В придвинувшемся мраке потонули опять сияющие очи.

— Что вы играли? — глухо спрашивает Штейнбах, не оборачиваясь, чтобы Лия не видела его лица.

— Потом скажу. Потом. Это было о вас... и для вас. Теперь слушайте обо мне...

Смычок рванул струны, и они заныли сладко и больно. Два-три аккорда, полных трепета, полных дыхания, как живые вздохи. И до жуткости похожие на голос людской льются страстные, напряженные, горячие звуки. Какая сила тона! И это играет женщина? Почти девочка? Нет. Душа ее созрела, и тайны этой души открылись внезапно и бессознательно для нее самой в этой страстной игре, полной восточной

неги. Вот она, смуглая девочка, босоногая и трепетная Суламифь, с очами, как звезды... Она ищет возлюбленного на всех дорогах с наивной верой и страстным упорством. Он явился внезапно и исчез как сон. И унес ее покой. Неумирающая легенда девичьей мечты воплотилась еще раз на земле, под иными небесами, через много веков. Неужели для него, усталого? Для него, пресыщенного?

Вдруг скрипка засмеялась. Переливчатые звуки двойных трелей бисером рассыпались по комнате.

Он глядит в огонь и видит знойные глаза, смуглое личико, темные кудри...

Точно обожженный, он встает, оттолкнув кресло. Смычок сорвался. Все тихо. Темные глаза сияют ему навстречу. Глаза другой. Не те. Но разве они не прекрасны? Не говорят ли и они о жажде счастья? Не сулят ли и они ему забвения?

— Лия! — со страстной тоской говорит он, протягивая руки. — Идите ко мне!

Она кладет скрипку на рояль и подходит бледная, трепетная, готовая на все по первому его требованию. Он это чувствует. Легкой дрожью подергиваются ее губы.

— Сядьте рядом, — тихо говорит он.

— Нет, здесь... Здесь... у ваших ног...

Она садится на скамеечку и робко смотрит вверх.

— Дайте мне ваши руки! — шепчет она. — Я к ним прижмусь лицом, вот так. И наступит Безмолвие, о котором говорит Гаральд.

— Не думайте о нем! Обо мне думайте сейчас! Лия, вы угадали. Мы встретились не случайно. Дайте мне забвение, Лия! Говорите, говорите мне о себе. Я буду слушать вас, как сказку...

А в душе слышится тоскливый вопль: «Согрей твоей радостью мое уставшее сердце! Видишь вдали надвигающийся призрак? Это Старость... Она заледенит последние порывы и оборвет дрожащие листы. Заслони от меня этот печальный призрак твоим юным телом, полным жизни. Дай мне забыть это серое лицо!»

Она сияющими глазами смотрит на него и говорит медленно, как во сне, не отнимая у него рук:

— Как давно я жду вас! Как часто я грезила о такой встрече! Жизнь груба. Души людей так плоски. Я избегаю людей. Я знаю только товарищей по классу. Мне больно от их зависти и вражды. Разве я ищу славы? Разве я хочу стоять на их дороге? Я люблю музыку, потому что, играя, я ухожу из жизни... И когда я смотрю на вас, у меня то же чувство. Как я люблю ваше

лицо! Вот эти руки...

— Лия... Лия... Что вы делаете?

— Целую их. Что в этом дурного? Мое чувство к вам так прекрасно. Я любила вас всегда.

Она прижимается лицом к его рукам.

— Вы одиноки, бедная девочка. Я так и думал. Ваш порыв — это экзальтация, которая пройдет...

— Нет, не говорите так... Мне больно. Если б я искала людей или... увлечений, вы думаете, что я не нашла бы всего, даже в стенах консерватории? Моя душа полна до краев вами, только вами.

— Вы меня не знаете, Лия...

— Зачем мне знать, где вы живете, чем занимаетесь, какую газету читаете по утрам? Вы шли мне навстречу, прекрасный и скорбный. В вашем взгляде я разглядела вашу душу, тоскующую, голодную. Вот опять дрогнуло что-то в вашем лице. Я угадала: только обманувшийся смотрит такими глазами... Никогда не полюбила бы я сытого и счастливого. Я знаю: вы любите другую и никогда не полюбите меня. Но я ничего не прошу и не жду. Дайте мне любить вас! Дайте мне грезить о вас... Моя душа тосковала долгие годы. Но я ждала, я знала, что вы придете...

Он гладит ее волосы. Она опять кашляет.

— Вы очень больны, Лия. Почему вы не лечитесь?

— Вздор! Доктор сказал, что я не должна играть по шесть часов в день. Но он ничего не понимает. Ведь я кончаю курс, и через месяц будет мой концерт...

— Где?

— В консерватории. Мне дают залу бесплатно. Прежде я жила уроками. Но теперь это невозможно, нет времени. И вот каждый год я даю концерт. И на эти деньги мы живем. Мой отец разорился на издательстве. А у бабушки осталось так мало.

— Вы еврейка?

— По матери — да. Отец мой — обрусевший поляк. Мать перешла в католичество. Бабушка тоже католичка. Меня зовут Любовь. Но мать звала меня Лия. Это имя я люблю.

— А ваша фамилия?

— Гриневич.

Она поднимает голову.

— Ах, довольно об этом! Посмотрите мне в глаза... Когда вы уйдете, я набросаю на память ваш портрет. Вы будете со мной всегда...

Пламя разгорелось. В комнате стало тепло. Опустив ресницы и тихо

улыбаясь, Голова Лии лежит на коленях Штейнбаха. Она держит его руку в своих. Другая его рука замерла на ее волосах. Он смотрит померкшим взглядом перед собой, и брови его сжаты.

За стеною бьют часы.

— Пора, — говорит он вдруг. Она словно проснулась.

— Вы уходите?

— Да, Лия. Я уйду. Позовите прислугу. Ваш камин...

— Тише! Тише! Ни слова! Дайте мне в последний раз взглянуть в ваши глаза. О, какие глубокие, какие таинственные глаза! Теперь... поцелуйте меня...

Он берет в руки ее головку и нежно касается губами ее ресниц.

Она стоит один миг перед ним с закрытыми глазами, с экстазом в побледневшем лице.

— Теперь уходите, — говорит она чуть слышно.

Пока он одевается в передней, она стоит все также неподвижно, с опущенными веками, глядя внутрь себя, затихшая и сосредоточенная.

— Прощайте, Лия! — говорит он. Она кивает головой, не двигаясь.

«Она даже не просит вернуться. Или боится обмана?»

— Лия, я приду опять...

«Когда?» — спрашивают взмахнувшие ресницы и пламенные глаза. Но она молчит.

— Я скоро приду, Лия.

Медленно спускается он по тускло освещенной лестнице.

В душе странно сплетаются две тени. Два голоса. Два лица.

«Вот она, любовь, которую ты ждал, — думает он, идя по пустынной улице. — Любовь юная, беззаветная, высокая, как это небо. Любовь, которую ты молил у судьбы...»

Но отчего молчит сердце и плачет душа?

Когда Лия на другой день идет из консерватории, она на бульваре замедляет шаги и озирается. Никого.

Она долго ждет, тихонько кашляя и дрожа в своей короткой жакетке.

Какие сны ей снились ночью! И этот миг пробужденья.

«Неблагодарное сердце. Зачем ты бьешься так тоскливо? Разве не сошла на землю твоя греза? Живи воспоминанием... Я ничего не просила. Но он сказал: „Вернись“».

Шаги ее замедляются невольно. «У него свои дела, своя жизнь. А она только случайность, только эпизод. Ничего, ничего, надо улыбаться».

Когда она поднимается по лестнице, она слышит тонкий запах

ландышей.

Вся комната ее полна живых цветов. Громадные шапки хризантем поднимаются над нарциссами и чайными розами. По углам трех корзин, полных ландышами, белеют мистические чашечки лилий. Все бело и строго. Только чайные розы слабо желтеют среди этой девственной красоты.

Лия долго смотрит на цветы. Глаза ее влажны.

— От кого это, Люба? — спрашивает бабушка, входя из коридора. Это сухая и стройная женщина с молодыми глазами и быстрыми движениями. У нее седые букли и наколка. На ней шелковое старое платье. Кружевной воротник тщательно подштопан. Акцент у нее польский, а голос совсем юный.

— В первом часу мне принесли их из магазина. От кого, не говорят. Но на адресе стоит твое имя. Кто это, Люба?

— Не спрашивайте, бабушка.

— Поздравляю! У тебя поклонник? Это для него ты играла вчера? Ну, конечно, я угадала. Ну, что же ты молчишь? И почему смотришь с таким упреком? Ах, Люба, Люба! Не легко тебе дается жизнь. Ты вся в мать... Если б ты вышла замуж и сняла с моей груди камень...

— Бабушка! Ради Бога, помолчите... Дайте мне побыть одной!

— Ну-ну, ухожу, — обиженно говорит бабушка. Быстро идет она к двери в коридор и плотно затворяет ее за собой.

Она очень довольна. Наконец! Молодая девушка, будущая артистка, должна иметь поклонника. А если к тому же этот поклонник богат...

За стеной весело звучит хорошо сохранившееся сопрано. Польки не хотят стариться. Бабушка чувствует себя молодой и счастливой. Она уже строит волшебные замки. Люба выйдет замуж за него... Они втроем уедут в Италию... Потом Люба даст концерт и прославится на всю Европу... Они...

— Что такое? Нет угля? Ах, Боже мой! Странные эти кухарки! Ну, возьмите в лавочке. Денег нет? Как нет? Вчера еще было три рубля. Что такое? Кушали торт? Да, правда... Вместо обеда торт и кофе. Это хорошо. Ну, вот вам гривенник. Не надо ворчать. Денег нет. Значит, они будут... Так и скажите лавочнику. «Барышня скоро даст концерт, и мы за все заплатим сразу». Да, пусть он не боится! «Если б я солнышком на небе блиста-ала». Лия подходит к ландышам и погружает в них лицо. Пахнет весной, свежестью. Лесом. Тайной. Счастливые слезы, как роса, падают в чашечки цветов.

Штейнбах робко звонит на темной лестнице.

Лия бросает скрипку. Одну секунду стоит среди комнаты, бледная, насторожившаяся. Потом запирает дверь в коридор и бежит в переднюю.

— Вы? Вы!

Она берет его руки и прижимается к ним лицом.

— Вы меня ждали, Лия?

— О, каждый миг, все эти дни. Разве вы не сказали: «Я вернусь»?

Обнявшись, они входят в залу. Штейнбах подходит к цветам.

— Вы должны любить ландыши...

— Да. Если у цветов есть язык, темный и странный, я все-таки поняла его. Эти цветы сказали мне то, о чем я не смела спросить...

— Они уже вянут, Лия.

— Пусть! Они умрут... Но будет вечно жить радость, которую они мне дали. Садитесь опять к огню. Вы видите, все — как было тогда. Никто не войдет. Вот и чай готов, и камин топится. Я ждала вас каждый день.

— Простите, Лия... Я уезжал по делам в Киев. Вернулся только два часа назад. Я сам стремился к вам. Завтра у вас будут новые розы.

— Я придвину табуретку, как тогда?

— Постойте, я вижу чье-то лицо на мольберте...

— Не смотрите. Мне ничего не удалось.

Штейнбах внимательно щурится на свой портрет. Сходство есть. Его черты, главное — его брови и губы. Но есть какая-то неуловимая разница. Он не может сказать, в чем. Эта девушка рисовала его не таким, каков он есть, а каким видела она его очами своей души. И — как всегда в истинном творчестве — печать ее собственной индивидуальности отразилась в этих странных, мистических, далеких от жизни глазах портрета. «Если б я был таким!»

— Я в долгу перед вами, Лия, — говорит он, когда она, сидя на табурете, берет его руки и смотрит в его глаза. — Вы угадали. Я — не адвокат Берг. Не знаю, зачем я так сказал. Но побуждение было низменное, и мне стыдно перед вами.

— Нет-нет, я ничего не хочу знать. Скажите мне только ваше имя.

— Марк.

— Довольно! Я хочу, чтоб, приходя сюда, вы отрешились от всего, чем жили вчера. И если я сумею заслонить это прошлое, я буду счастлива. Я знаю: у вас заботы, дела. Тоска, проза. Пусть я буду вашей радостью! Маленькой радостью. Хочу, чтоб у вас было место, где вы могли бы забыться.

— И вы будете играть мне? Вы большая артистка, Лия. Я не могу

забыть вашей скрипки.

Вдруг он отодвигается. Ее головка легла на его грудь.

— Это опасная игра, Лия.

— Для кого опасная?

— Я могу разбить ваше сердце.

— Оно ваше. Не все ли равно? Делайте с ним, что хотите. Если вы исчезнете из моей жизни, я...

— Что я? Что вы хотели сказать, Лия?

— Нет-нет, пустяки...

— Вот это именно то, чего я боялся. Лия, я не хочу недоразумений! Слушайте меня! Я связан с другой. И связан с ней навеки. Вся моя жизнь полна только ею.

— Где же она?

Как тих и спокоен ее голос! Точно прошелестели эти слова в стемневшей комнате.

— Здесь нет ее сейчас со мною. Но когда бы она. ни позвала меня, я уйду, Лия Я уйду.

— И не вернетесь? Он долго молчит.

Она ждет, вся сжавшись в комочек у его ног.

— Что я могу ответить вам, Лия? Говорите узнику, любившему стены своей клетки о высоком небе, о просторе моря. Он вас не поймет. Учите раба протесту и борьбе. Он не станет вас слушать! Любовь — это тюрьма нашей души... Это рабство.

Она поднимает голову, пристально всматривается и видит скорбь и горечь в его лице.

Она закрывает глаза и прислоняется щекой к его коленям.

— Пусть будет так! — говорит она.

И надтреснутый голос ее звучит болезненно.

В порыве жалости он склоняется над нею, запрокидывает себе на руку ее головку и смотрит с отчаянием в ее лицо.

— У меня нет свободы, Лия! В любви ее не бывает. Так любить — проклятие. Я презираю себя, но остаюсь рабом. Вот мое признание. Теперь вы отречетесь от меня? Я не даю вам никаких надежд, никаких обещаний. Но тогда зачем я здесь, спросите вы?

— Тише! Я не спрашиваю. — Она судорожно сжимает его руку. — Я не искала себе ни мужа, ни защитника. Я жизни не боюсь... Разве она не открыта передо мной и теперь? Не жениха ждала я эти дни. Только грезу.

Он наклоняется и целует ее в губы.

С ликующим криком она обвивает руками его шею и прижимается к

нему всем тонким, трепещущим телом. С такой нервной силой прижимается она, что сердце Штейнбаха начинает биться сильнее и кровь звенеть в ушах. Его руки бессознательно, судорожно, словно в каком-то отчаянии обхватывают ее тонкую фигурку и держат ее у груди. Она слышит, как стучит его сердце.

Долго молчат они, оба полные смятенья. Вдруг он слышит ее шепот как в бреду:

«Марк... Марк...»

Штейнбах разжимает ее руки. И встает.

— Куда вы? — жалобно срывается у нее.

— Я должен уйти, Лия. Я не смею возвращаться.

— Почему? Почему? Пойдите, Марк! Что случилось?

Он молчит. Разве сможет он сказать? Но душа его кричит «Я лгу тебе. В каждом слове, в каждом поцелуе лгу. Не тебя целую я сейчас. Не ты сказала мне только что: „Марк“. Я слышал другой голос. Между мной и тобой стоит другая женщина. Я ничего не могу сделать с собой. Я отравлен...»

— Лия, — говорит он вслух, — вы так молоды, талантливы. И вы правы, что не боитесь жизни. Вы ее уже завоевали. Научитесь же ценить ее и себя! Вы стоите большего, чем этот бред. Он пройдет, и явится любовь. И вы узнаете счастье.

— Только с вами, — говорит она твердо и спокойно, кладя ему руки на плечи и удерживая с силой, какую он не подозревал в ней. — Будет ли это счастье, или гибель моя, все равно! Вы ничего уже не измените в моей судьбе. Я знаю, что меня вы не любите. Но почему вы здесь? Ответьте мне теперь! Почему вы здесь, а не с ней?

В стемневшей комнате он видит только белое пятно ее лица, темные провалы ее таинственных глаз. Но он слышит ее голос. Голос женщины, а не ребенка. И в этом голосе столько силы и значения. Разве это та самая хрупкая и болезненная девочка, достойная жалости? Впервые за странностями и истерической экзальтацией он чувствует силу ее индивидуальности. И, как всегда, сам безвольный и бесстрастный, под гипнозом чужой упорной воли, под напором чужого страстного стремления он теряется и отступает.

— Вы молчите? Тогда я скажу за вас. Вы идете ко мне, потому что душа ваша голодна. У вас есть все, но нет радости. Та, которую вы любите, вас разлюбила.

— Нет. Если б разлюбила, было бы легче. Но я ей нужен. Без моей любви она не проживет.

Лия стоит задумавшись. Потом, потрянув головкой, говорит все так же спокойно и твердо:

— Моя жизнь в ваших руках. Если она нужна вам, возьмите ее. Ни обещаний, ни надежд, говорите вы? Хорошо. Вы не смотрите, что я кажусь ребенком. Я прекрасно понимаю значение каждого моего слова. И это не порыв... Я молила судьбу послать мне счастье, непохожее на жизнь кругом. И греза сбылась. Я знаю, грезы исчезают. Исчезнете и вы. Но я верю, что вы меня не забудете никогда. Моя любовь слишком хороша для земли...

— Лия... Лия... Замолчите! Вы терзаете мою душу.

Она доверчиво кладет голову на его плечо.

— Я хочу исцелить ее, Марк. Улыбнитесь мне. Неужели и со мною вам тяжело? Посмотрите в мои глаза. В них небо и вечность...

Маня ходит от окна к двери с тоской в душе и ломает пальцы.

Сколько дней она ждет его! Каждое утро она говорит себе: «Нынче». Лихорадочно одевается, старается причесаться к лицу. Едет на репетицию. «Сейчас... сейчас... — на обратном пути, говорит она себе, подъезжая к гостинице. — Он знает, что я свободна от четырех до семи». И она ждет. Каждая минута полна тревоги. Каждый шорох в коридоре, каждый голос, гул шагов дают сердцу толчок. Она кидается к двери.

Никого.

С разбитыми нервами едет она в театр. И как трудно взвинтить себя! Быть прежней Маней, для которой в творчестве тонули все печали.

Когда она засыпает, наконец, говорит себе:

«Завтра, завтра... Я не звала. Он обещал...»

Но и этот день проходит бесследно.

Стрелка на каминных часах показывает пять. Маня падает в кресло.

Чувство темное и болезненное, стихийное чувство заполнило ее душу. Что это? Страсть? Или ненависть? Слезы злобы и бессилия жгучим клубком подкатили к горлу. Если бы закричать. Дико, протяжно, как кричат животные.

«Что нужно тебе? — спрашивает она себя. — Гляди себе в душу. Будь честна и правдива! Сознаться! Чего хочешь? Владеть им? Владеть всецело, как Марком? Владеть его помыслами, его жизнью, сделать его безгласным рабом? Да, да!» — громко говорит она, и тяжело падают эти слова.

«Хочешь его ласки? Хочешь видеть страсть в этих темных, запавших глазах? Хочешь разбудить в нем желание? Да, да. Но ведь он же сказал тебе, что сближение убьет иллюзии. Ты больше не хочешь быть его

вдохновением?»

Несколько мгновений она сидит, стиснув губы, в полном оцепенении. И вдруг встает. И закидывает руки за голову в безграничном отчаянии. «Нет! Не я ему. Он должен служить мне! Его любовь должна вдохновлять меня. Его страсть должна питать мою душу. Я жалкая нищая без этой любви. Где мои силы? Моя гордость? Мое творчество?»

Она стоит так, стиснув руки, сдвинув брови, бледная и сосредоточенная. И столько трагизма и силы в этом осунувшемся, даже увядшем лице, столько упорства в ее сжатых губах, столько угрозы в глазах, что если б Гаральд, в эту секунду поднимающийся по лестнице, мог видеть это лицо, он не отворил бы двери.

Легкий стук. Зрачки ее расширяются. Растянулись мгновенно и смягчились все линии лица. Легкая и порывистая, она кидается к портьеру.

Гаральд с порога кланяется ей, держа в руке цилиндр.

Она хочет заговорить. Нет слов. Хочет улыбнуться. Нет сил. Ах... выдать себя теперь? Свою слабость? Свои страдания? Нет.

— Я не помешаю?

Она нервно смеется. И делает грациозный жест, прося войти.

Он идет за нею, глядя на шлейф ее платья. У двери кладет на кресло свой цилиндр и стягивает перчатки.

Она молча указывает ему место в кресле, напротив кушетки. Лицо ее в тени. Свет электрической лампы на высокой подставке смягчается палевым абажуром.

— Вы одна, Marion?

— Да, Гаральд. И я вас жду давно.

— А барон Штейнбах?

— Он все еще в Москве.

Гаральд вытягивает ноги и глядит на носки штиблет.

— Marion, я хочу задать вам один из трех вопросов, которые почему-то принято называть «нескромными». Вы выходите за него замуж?

Маня отвечает не сразу.

— Не знаю, что вам сказать, Гаральд. Я дала Марку слово в минуту отчаяния или усталости. Но сдержу ли я его? Слова не могут связать людей. Их связывает чувство.

— А скажите, вот этот эпизод в маскараде, вы его выяснили?

Кровь кидается ей в лицо.

— Почему вы меня об этом спрашиваете?

— Потому что отъезд барона совпал с нашим сближением.

— Что же вы хотите сказать? — спрашивает Маня, сдвигая брови.

— Из всех врагов самый опасный тот, кто великодушно уступает дорогу...

Она сощурившись смотрит в окно. Лицо ее опять темнеет.

Как она изменилась! Она страдает... Но ему не жаль ее. Нет! Зачем лицемерить с собой? Эта женщина не внушает ему нежности. Так страдают только сильные натуры, хищные и гордые, которые сожаления не ищут. Значит, он ошибся там, в маскарade? И верно было первое впечатление от ее портрета — инстинктивный страх перед стихийной силой, веющей от нее сейчас?

Она переходит комнату и бессознательно прислоняется спиной к кафелям печи, как будто ее знобит. И руки ее, которые она заложила за спиной, и пальцы, которыми она дотрагивается до печи, действительно совсем ледяные.

— Гаральд, — говорит она глубоким голосом, — в вашей коротенькой записке есть одна значительная фраза. Вы сказали, что у меня мужская душа. В этом много правды... Если б я была женственна, я завязала бы с вами заманчивую игру с прелюдией сближения, полную недомолвок, полутонов, с целой гаммой настроений. Я лгала бы и вам, и себе. Рисовалась бы своей загадочностью. Любовалась бы своей недоступностью. Если б вы холодно отвергли эту игру, я сумела бы утешиться флиртом с другим. Но я далека от этого пошлого кокетства. Я сознаюсь честно и смело: я люблю вас, Гаральд.

Она перехватывает его движение и поднимает руку, вся подавшись вперед.

— Дайте мне закончить! Знаю: в глазах толпы эти признания непристойны. Разве женщина не обречена ждать молча? Разве смеет она выбирать и бороться за счастье? Но вы, Гаральд, не толпа. Вы избранный из тысяч. Вы самый дерзкий и сильный. И я обращаюсь к вам, как к товарищу, как к равному. Поддержите меня! Я гибну. Все, чем я жила до встречи с вами, чего добивалась так страстно, — где оно? Я опять стою на перепутье. И ужас, ужас в моей душе. Ничего не вижу впереди... Только ваше лицо... Я знаю, я чувствую, что вы меня не любите. Вам даже непонятна страсть, охватившая меня. Где я найду слова, чтоб вы поняли этот ужас, обиду мою, страдания? Вот вы опустили голову и боитесь смотреть на меня. Гаральд, имейте мужество. Взгляните в мои глаза! Вы разве не видите, сколько в них отчаянья? Не то страшно, Гаральд, что страсть моя безответна. А то, что я, так верившая в себя, почти вырвавшаяся на свободу, опять очутилась в тюрьме. О, как я презираю себя! Я хотела смеяться над любовью. Она смеется надо мной.

Маня закрывает глаза. Скорбно изогнулись ее брови. Она вытягивает судорожно сцепленные руки, закидывает голову и стоит так. Воплощенное отчаяние.

Лицо Гаральда дрогнуло. Порыв этой женщины захватил и его. Ему жутко. «Не надо жалеть. Эта слабость погубит тебя», — говорит ему внутренний голос. Голос разума. Но он не может оторвать взгляда от этого скорбного лица. Он отвечает изменившимся голосом:

— Я хочу быть другом вашим. Marion! Вы верите мне?

Горькая усмешка дрожит в ее лице.

— Благодарю вас, Гаральд, за добрые намерения. Но я им быть не могу. Врагом вашим — скорее, да. Моя любовь порою так похожа на ненависть, что иногда я ловлю себя на мысли: «Пусть он умрет! И я вздохну свободно». Что вы так странно смотрите на меня? Вас поражает моя правдивость? Женщины так не говорят. Они всегда торгуются и с любимым человеком, и с собственной совестью. Я презираю эти уловки и говорю прямо: я люблю вас, как мужчина любит девушку, холодную, недоступную, готовую отдаться другому. Люблю вас жестоко, хищно, эгоистично. Я безумно ревную вас, Гаральд. Я больна этим чувством...

— Это не любовь, Marion.

— Вы правы... Это страсть.

— Она скоро пройдет.

— Да, если только она не убьет меня. Но и жить так невозможно.

— Чего же вы хотите от меня? В ваших словах я опять слышу вызов.

Ваши мольбы звучат как угрозы.

— И вы правы, Гаральд. Это вызов. В этом поединке кто-нибудь должен быть убитым. Или я, или страсть моя. Вместе нам тесно на свете. Поймите меня вы, любящий искусство, вы, отдавший душу и жизнь этому кумиру. И я еще недавно жила только для него. Я гордо отвергала все соблазны. Ах! Что я говорю? Они для меня не существовали. Я смеялась над желанием, которое невольно зажигала в других. «Что такое желание? — говорила я себе, смеясь. — Не все ли равно? Не один, так другой.» А у меня даже есть любовник. Стало быть, никто мне не страшен. А любить? О, Боже мой! У меня было чем наполнить душу. Мое дитя и творчество. Вот был мой мир. Почему все рухнуло, Гаральд? Зачем нужно было этой темной страсти захватить меня и завертеть, как ветер кружит щепку?.. Поймите, Гаральд: для меня это чувство к вам — не радость, а страдание. Мало того: это унижение мое, это невыносимая обида. Я, гордо бросившая вызов жизни, опять поражена. Опять лежу на дороге. И нет сил встать и идти дальше. Я не артистка теперь, а жалкая марионетка. Годы я

строила мой замок и считала его несокрушимым. А вы прошли мимо — и вот, все рухнуло. И нет сил строить сызнова.

Она порывисто ходит по комнате. Гаральд пристально глядит на нее и слушает проникновенно, как любитель *bel canto*^[34] внимает искусному певцу. Вдруг он видит, что Маня останавливается у окна, спиной к нему. Вынимает украдкой платок и закрывает им глаза. Горло его внезапно сжимается от волнения. Ее слезы, ее слабость — все, что есть в ней женственного и покорного, будит в нем смутную и сладкую, неизведанную нежность.

Но вот она повернулась к нему опять, стихийная и враждебная, лицо трагическое, глаза полны угрозы и тайны. И он снова насторожился. И нежное чувство, как маленький подснежник, внезапно выглянувший из-под снега, поблекло в смятении его собственной души. И точно угадав его инстинктивную извечную враждебность, она говорит, и пальцы ее терзают тонкий комочек батиста и кружев:

— Я не молю вас о нежности и любви. Не предлагаю вам пройти со мной жизнь рука в руке. Я сама хочу быть свободной от всяких договоров и обязательств. И в то же время... О, я буду правдива до конца! Я буду беспощадна к себе. Гаральд, лицо этой женщины в вашей ложе замучило меня. Днем и ночью вы оба передо мной. О, если б вы знали, страдаю! Я говорю себе: «Почему я не нужна ему, единственному из всех, кто нужен мне?» Ответ один: там другая женщина. Боже мой! Ведь это унижение так говорить, так признаваться, так предлагать себя.

— Успокойтесь, Marion! Я ценю вас, высоко ценю вашу правдивость.

Она слушает его. Пальцы ее хрустят.

— Думала ли я когда-нибудь, я — торжествующая, я — победительница, что мне придется пережить такие минуты? Когда пройдет это безумие, ведь пройдет же оно когда-нибудь, мне станет страшно, мне станет стыдно. Но сейчас для меня это быть или не быть...

Она снова переходит комнату и прислоняется к кафелю. Она дрожит. Она бледна. Голос ее звучит глухо, как у тяжело больного:

— Мое чувство — безумие. Да! Оно идет вразрез со всем моим мирозерцанием. Да. Но это безумие сожгло мой мозг. Какое-то пламенное кольцо охватило меня. И я бьюсь в нем и горю, не видя выхода. Гаральд, если есть иной способ восторжествовать над этой страстью, укажите мне его! Вы, сильный, вы, гордый, никогда не испытанный такого унижения. Поймите, поймите. Мне надо найти себя.

— Marion, и я люблю вас. Но моя любовь светла и радостна.

— Ах, знаю, знаю! Надо любить, ликуя и смеясь. Ничего не требовать,

ничего не ждать от завтра, не страдать от измены, не знать ревности. Это первые ступени к счастью, к новому счастью будущего. Это новое мирозерцание, которое я создала себе. Но ум говорит одно, а чувство — другое. Это старое чувство, Гаральд, презренное чувство. Но я родилась с ним, всосала его с молоком матери. Во мне говорят голоса тех, кто страдал веками, ревновал, плакал, унижался, гнался за любовью, как за высшим призом жизни. Я же знаю, что это мираж в пустыне, который обманет. Но что я сделаю с моими инстинктами? С этими темными, старыми чувствами? С этим стихийным влечением? Их одолеть я бессильна.

— Marion, подите ко мне, — тихо и нежно говорит Гаральд после короткой паузы.

Она смотрит на него большими глазами, полными тревоги. Потом медленно переходит комнату.

— Сядьте подле. И попробуем обсудить все это мирно. Дайте руку.

Она садится рядом, на кушетке. Но она не хочет дать ему руки. Сцепив пальцы, обхватив руками колени, она упорно смотрит вниз, на узор ковра. И губы ее тесно сжаты.

— Вы любили раньше, Marion? — Его голос звучит мягко, как осторожное прикосновение нежной руки к ране.

— Два раза.

— Так же, как и теперь?

— О, нет! Совсем, совсем по-другому.

— Верю. Как трогательно задрожал ваш голос сейчас! А теперь скажите, не вспоминаете ли вы равнодушно о прежней тоске, о прежних радостях? Не изжиты ли до конца эти чувства?

— Нет. Я никогда не разлюблю Марка и никогда... «не забуду Нелидова». — Хочет она сказать. Но смолкает внезапно.

Гаральд изумлен.

— Едва ли я буду женою Марка. Но мы слишком ярко любили друг друга. Мы слишком много страдали вместе, чтобы я могла его забыть. Такое чувство само по себе есть уже высшая ценность. Но нас связало и нечто другое. Если я стою чего-нибудь сейчас и если я жива — всем этим я обязана Марку. Я никогда, никогда не брошу его, если он сам не отречется от меня. А! Вы удивлены? «При чем тут я?» — думаете вы? Но разве наша душа, Гаральд, так бедна и ничтожна, что ей довольно для счастья благодарности и памяти о былом? Разве нет у нее граней, в которых отражаются иные небеса! Вы сами разве не увлекались красивым лицом? И, любя меня, как вы говорите, разве равнодушны к женщине, которая была с вами в ложе?

— Итак, вы мне предлагаете...

— Тише! Тише! Не надо иронии. Всмотритесь в мои глаза, Гаральд. Я гибну. И шутке не может быть места там, где жизнь поставлена на карту. Станьте выше самолюбия и выслушайте меня до конца! О, вы наверное правы, думая, что это не любовь. Это болезнь, это безумие, мания. Но разве маньяк не кончает с собой? Долго ли продлится это безумие? Не знаю. Быть может, утолив эту жажду, я завтра же очнусь здоровой и сильной. Но лгать я не хочу даже в эту страшную для меня минуту. Гаральд, я все хочу взять от вас и ничем не пожертвую вам.

— Вы и прежде так же любили, Marion?

— Нет. О, нет! Моя любовь к Марку была гимном жизни. Моя любовь к... другому была молитвой. И там, и тут оба раза я уничтожала себя в этом чувстве, и это самозабвение я благословляла. Два раза я любила беззаветно, плача от нежности, с улыбкой принимая обиды. Любя, жаждала подвига и жертвы. Я любила даже без желания, Гаральд. Но... то время миновало. Я уже не девочка и научилась ценить себя. Ни одного шага из завоеванного мною я не уступлю любви! Я хочу только радости от вас. Только вдохновения ищу в этом чувстве. Я знаю, что оно исчезнет, когда я добьюсь взаимности. И когда оно исчезнет, я опять стану сама собой. Вот! Я сказала все. Вы можете оскорбиться и уйти.

— Оскорбиться? — Он пожимает плечами. — За что, Marion? Мы с вами одинаково глядим на роль любви в нашей жизни. Это только краски ее, но не цель. Я так вас понял?

— Да, да. Я знала, что вы меня поймете. Именно вы.

— Но есть кое-что, в чем мы далеки друг от друга, как два полюса. И я, Marion, ценю себя высоко. И я не признаю ни жертв, ни обязательств, ни насилия над собой. И я всего выше в мире ценю свободу моей души. Наконец, я вижу в любви источник творчества и высших переживаний на земле. Элемент созидающий, а не разрушающий жизнь, как страсть. Что же мешает нам протянуть друг другу руки? Почему мы оба — и я должен в этом сознаться — чувствуем эту глухую вражду друг к другу? Она глубока и стихийна. Marion! Не закрывайте лица! Имейте и вы теперь мужество глядеть мне в глаза — вы, гордая, сильная женщина! Вы разве не чувствуете, что и я должен вас ненавидеть, хотя держу на цепи это чувство? Вы разве не понимаете, что вся вы — с вашим темпераментом, талантом, мирозерцанием, со всей вашей стихийностью — враждебны мне. Но что еще важнее: вы враждебны тому, что для меня выше всего в мире, — моему творчеству.

Он весь подается вперед, глядя в ее бледное лицо с опущенными

веками.

— Правда за правду. Я слишком уважаю вас, чтоб допустить обман или игру словами. Я вас боюсь, Marion. Боюсь больше, чем вы меня. Вы стихийны. Я — нет. Вы будите во мне все то темное и жуткое, от чего сейчас страдаете сами так мучительно и бесплодно, от вторжения чего я ревниво оберегал мою душу до этого дня. Потому что эта душа отдана искусству. Вы это знаете. Но чистые источники опасно замутишь, Marion. С первой нашей встречи я почувствовал опасность. Я сказал себе: «Эта женщина будет твоей гибелью».

Она встает. Ее глаза кажутся пламенными на бледном лице.

— Потому-то вы избегали меня? Да? Он молча наклоняет голову.

Она опирается одной рукой на столик, а другой прикрывает глаза, словно ослепленная. Как сквозь сон она слышит:

— Вы хорошо сказали сейчас о вашем первом чувстве, на заре ваших дней. Это была молитва душа Вы знали истинную любовь, Marion. Благословите жизнь за то, что вы ее узнали!

Маня поднимает голову и смотрит вперед. Почему так изменилось ее лицо? Вся боль, вся злоба ушли из темных глаз, и смягчились горькие линии у рта. Губы дрогнули. И вздох приподнял ее грудь.

— Вы прекрасны сейчас, Marion! Вы похожи на девушку из моей «Сказки». Видите сами, как велика была ваша любовь к другому, если даже одно воспоминание о ней озарило отблеском неба ваши черты. Он умер, этот человек?

Не глядя на него, Маня тихо качает головой.

— Он жив? Я смолкаю. Я ни о чем не смею спрашивать. Теперь опустите ваши глаза, Marion. Оторвитесь от неба и взгляните на меня. Барон Штейнбах и я, мы — только земля для вас. Земля с ее призрачными радостями. Как жалки они перед мечтой и молитвой! Теперь вы меня поняли? Я кончил.

Он встает и берет с кресла цилиндр. Она снова проснулась.

— Вы опять исчезнете? — враждебно срывается у нее.

— Наверно, — отвечает он твердо и спокойно. — Сейчас у меня много работы. Я начал поэму и посвящу ее вам, потому что, когда я писал ее, я думал о вас.

— Повторите еще раз, что любите меня! — бессознательно, стихийно срывается у нее.

Проникновенно глядя ей в зрачки глубоко запавшими глазами, он тихо говорит:

— Я люблю в вас свое вдохновение. Люблю вас, далекую и

неуловимую, с печальной улыбкой, какой вы были мгновение назад, какой вы бываете только на сцене. И когда притаившись где-нибудь в театре, затерявшись в толпе, я вижу ваши глаза, полные тоски о невозможном, сердце мое плачет от нежности. Я знаю эту прекрасную тоску о том, что бессильна дать земля и что бессильно осуществить наше тело. Как пастух в моей «Сказке», глядя на вас издали, я слышу таинственные слова странных и далеких песен. Только во сне слышат их люди. И забывают о них, проснувшись. Но я — поэт. Своей властью я вновь вызываю из небытия эти голоса в моей тесной комнате, за моим письменным столом. И там царит ваш образ, Marion. Неужели вам мало этой власти? Не вы меня, а я должен молить вас не разрушайте этот мир! Он создан вами. Не повторяйте в жизни печальный конец моей «Сказки». Моя любовь-мечта обратится в ненависть с того момента, когда вы, покорная темной власти инстинкта, нарушите равновесие в моей душе. Я добился его годами неустанной работы над собой. Я не хочу лгать, Marion. Я не откажусь от вас. Нет. И я безволен перед стихийным влечением к вам. Но помните: сближение убьет любовь. И я уйду. Все ваше очарование будет бессильно удержать меня...

Он берет ее руку и почтительно, почти нежно целует ее сухими, твердыми губами.

Она молчит, в тяжелом раздумье поникнув головой.

Еще долго после того, как дверь закрылась за Гаральдом, она сидит, не двигаясь, вся застывшая.

У себя в комнате, Маня, не раздеваясь, ложится на кушетку и закрывает глаза.

Какая отрадная тишина! Наконец одна! Наконец.

Полина входит на цыпочках и подает телеграмму.

«ТРИ ДНЯ НЕ ГОВОРИШЬ ПО ТЕЛЕФОНУ. ЧТО С ТОБОЙ? НИНА ЗДОРОВА. НЕ БЕСПОКОЙСЯ САМА НИ О ЧЕМ. БУДЬ ТОЛЬКО СЧАСТЛИВА! МАРК».

Бумага беззвучно скользит на пол. Тоска сжала сердце. Он весь сказался в этом крике души. «Будь только счастлива!» Благородный Марк!

Полина подала чай, все приготовила на ночь и предлагает Мане раздеться. Маня отсылает ее.

Она все лежит с закрытыми глазами. Странная тишина настала вдруг в замученной душе. Какая-то жуткая пауза. Устала она? Или решилась?

Нынче, пока она играла на сцене, какие-то загадочные, неуловимые

процессы созревали в тайниках Бессознательного. И вот сейчас точно что-то отболело и отпало.

Она перестала думать, колебаться, взвешивать. Перестала страдать. Как хорошо! Точно затих больной зуб, от которого хотелось головой колотиться об стену.

Часы бьют. Она открывает глаза. Она все еще слушает эту странную тишину в душе, но уже боясь чего-то, чего-то ожидая...

Точно затишье перед грозой.

И вдруг она садится на кушетке, с огромными, полными ужаса глазами.

В тишине души ее вдруг зазвучал голос, забытый, темный. Голос властелина, которого нельзя слушаться.

Она покорно встает. Медленно подходит к зеркалу, надевает шляпу, берет перчатки. Идет к двери. Нога наступает на бумажку. Все также бессознательно поднимает она ее и читает, сама не зная, зачем:

«Будь только счастлива! Марк».

Лицо ее дрогнуло. Она садится в кресло у двери и сжимает виски. Физическая боль кольнула в сердце. Раскаяние? Страх? Жалость?

«Что я делаю, безумная?»

Но почему раскаяние? Это не обман. Она не скроет. Обязательства перед ним? А перед гобой? Кто смеет насиловать ее душу? Ее свободную душу? Разве можно поступиться для кого бы то ни было своей свободой?

И ее вдруг охватывает гнев, разом стряхивающий оцепенение. Это невольная злоба беглеца на решетку, внезапно заградившую дорогу. Долой ее! Сокрушить, уничтожить.

Она гневно комкает бумажку, швыряет ее на пол и топчет ногами.

«„Будь только счастлива!“ Ах, он нарочно крикнул ей эти кроткие, всепрощающие слова! Зачем? Чтоб удержать ее? Чтоб убить ее порыв?»

Он все чувствует. Он издали читает в ее душе.

Но разве можно удержать камень, летящий в пропасть? Что помешает ему достигнуть дна?

«Так нет же! Нет! Не хочу изменить себе. Я выше раскаяния. Выше жалости. Я свободна!»

Она почти кричит эти слова.

Стиснув губы, сдвинув брови, она подходит к туалетному столу, берет кошелек, накидывает манто. Идет к двери.

В коридоре часы бьют полночь. Она бессильно опускается на стул, у

двери.

«Это безумие», — слабо шепчет кто-то. «Нет! — упорно отвечает другой. — Почему безумие? Наши переговоры еще не кончены. Победа? Поражение? Все равно! Но неизвестности я дольше не вынесу...»

Еще несколько минут сидит она, напряженная, выпрямившаяся, словно ожидающая чего-то извне. Какого-то толчка. Глаза ее, широко открытые и немигающие, глядят внутрь себя, в темный колодец, откуда звучит зовущий голос.

В третий раз, как лунатик, она, проходит по комнате, гасит электричество и выводит.

В коридоре тихо, во внизу еще жизнь. Ресторан полон. Бледная, она спускается по лестнице, не замечая любопытных и плотоядных взглядов.

Вот она у подъезда. Холодный ветер с моря распахивает ее манто. Она делает знак лихачу и садится, безмолвная.

Никогда потом она не могла припомнить этой поездки.

Что думала она? И думала ли что-нибудь вообще? Наверяд ли. То же ощущение пустоты и легкости, давно забытое ощущение было у нее тогда. Мозг молчал. И сердце билось ровно. Кто-то велел пойти. Кто-то сильный и темный, с кем спорить бесполезно. И она пошла.

Она очнулась только у подъезда.

— Заперто, барыня, — говорит лихач, осклабясь. — Здесь, должно, в двенадцать запирают.

Она молчит, словно просыпаясь, что-то стараясь уяснить.

«Надо вернуться», — тихонько говорит кто-то слабый, жалкий, молящий. «Нет! Нет! Ни за что», — злобно и уверенно отвечает другой.

И опять все смолкает. Покорно склоняет она голову. Кто-то решил за нее. Своей воли нет. И есть ли она вообще?

Она выходит из экипажа и, заплатив деньги, идет по замерзшей обледенелой панели. Куда? Все равно. Тот, кто послал ее, укажет ей дорогу.

Вот она во дворе. Подобрал шлейф капота и меховое манто, она идет к подъезду. Вспоминается, как во сне, мрачный коридор черного хода, эти сени, где пахнет кошкой, скользкая лестница, таинственные переходы, стеклянные двери, грязные половики. В темноте она идет, нащупывая ступеньки. Лишь бы дверь наверху не была заперта.

Нет. Со скрипом подается она вовнутрь. Маня идет почти беззвучно, и только свист шелка выдает ее присутствие.

Она сворачивает вправо. Потом влево. Еще стеклянная дверь.

Она ни разу не спросила себя: «Туда ли я иду?» Могучий инстинкт безошибочно ведет ее по этой дороге, которую она бессознательно прошла

один раз, которую она, казалось, никогда не нашла бы днем и при других условиях.

Вот он, этот поворот. Там стоял огромный ларь у зеркала. Это одно она запомнила почему-то. Коридор тускло освещен лампочкой. На ларе без подушки спит, свернувшись калачиком, босоногий малый в розовой рубашке. Пахнет потом и керосином. Слышен храп. У многих дверей смиренно стоят штиблеты.

Она поворачивает налево и видит в глубине окно.

Здесь, да, здесь стояла она три недели назад. Наконец.

Она останавливается, медленно снимает перчатку и стучит.

За дверью молчанье. Ни одна черта в лице ее не изменилась за этот бесконечный миг. Она ждет. Она знала, что будет так.

Кто-то за дверью двинул стулом. И замер, как бы удивленно прислушиваясь.

Маня стучит опять тихонько, но настойчиво, как власть имеющая. Как та, пред которой должны распахнуться все двери.

Твердые шаги звучат издали, от письменного стола.

Маня как бы видит сквозь стены этот рабочий стол, освещенный лампой, остывший стакан чаю, рукопись, испещренную мелким, твердым почерком. И даже ту разорванную последнюю букву, когда дрогнуло перо в его руке при ее стуке.

Так он работал? А, это ничего. Он не будет уже больше писать в эту ночь. Он прав. Из стен, куда входит Жизнь, улетает Мечта.

Ключ повернулся. Распахнулась дверь.

И дрогнуло лицо Мани.

Огромными глазами, полными бессознательной угрозы, глядит она в зрачки Гаральда.

И видит, явственно видит в его запавших глазах ту же темную, стихийную враждебность. Ту же ненависть и жажду победы.

Бенефис, несмотря на повышенные цены, собрал полный зал. Подношениям нет конца. Нильс поставил балет Самойлова, в котором дебютировал, потом несколько номеров с Marion, а под конец — с нею же — испанские и цыганские танцы.

Она приезжает только к десяти и по дороге встречает за кулисами Лихачева.

— Манечка, ну, как настроение? — тревожно спрашивает он.

Из-под воротника ротонды и синелевой бахромы капора на него падает горячий взгляд.

— О, Нильс... Я безумно счастлива. Бегу одеваться.

Ух, каким зноем повеяло от нее! Он даже вздрогнул. Этот голос, взгляд. Точно обожгла его эта женщина сейчас.

Marion танцует свои номера с таким подъемом и огнем, что самые равнодушные в театре не могут скрыть восторга. Все в ней ликует. Ее душа звучит. Ее тело поет. И так вдохновенно ее лицо и ее пламенные глаза, что публика устраивает ей овации не менее восторженные, чем бенефицианту, и истступленно требует повторения.

Подходит Гаральд и подает ей букет темно-красных роз. Маня, как потерянная, заметно бледная даже под гримом, не дав Гаральду закончить фразы, берет его за руку. Она идет с ним в уборную, пряча лицо в цветы.

Когда дверь уборной запирается, Маня, все такая же бледная и потерянная, подходит к столу, кладет на него букет, садится на кушетку и указывает Гаральду на кресло.

— Вы пришли, Гаральд. Я счастлива... Я не звала вас. Но... я все-таки ждала. Я говорила себе, что если теперь вы не захотите меня видеть на сцене...

Он молча берет ее руку и целует розовую ладонь. Лицо ее расцветает внезапно.

— О, Гаральд! Когда мне сказали, что вы здесь... И эти цветы, — она берет букет и целует его, — ...Весь мир стал другим в моих глазах. Ты... вы, — быстро поправляется она, робея, как девочка, под его печальным взглядом, — ...вы видели, как я плясала нынче? Это сделали вы. Я точно умирала и воскресла. Не думай... те, — опять поправляется она, — что я плясала для толпы. Нет! Для себя, для себя одной. А потом для вас. Мне надо было разрядить в пляске радость, нахлынувшую на меня. О, эта забытая радость! Я ждала ее так долго. Я так страдала без нее эти годы. Без нее нет жизни, Гаральд.

Ее взгляд зовет его. Он садится рядом и обнимает ее.

С легким криком она прячет голову на его груди.

Потом, схватив его за плечи и отстранившись, глядит ему в глаза с восторгом и ужасом.

— Гаральд, Гаральд! Скажи мне правду! Ты охладел ко мне? Ты разочаровался?

Он медленно качает головой. На губах его странная улыбка.

Но она поняла и вновь в порыве радости прижимается лицом к его груди.

Они молчат долго, даже забыв, где они; забыв, что сюда ежеминутно могут войти.

Она шепчет, очнувшись:

— О, как я боялась этой первой встречи, первого взгляда твоего, первых слов. Я была счастлива и несчастна. Как легко дышится сейчас. Дай воды! Боюсь разрыдаться. Ничего, это пройдет. Через неделю пойдет новый балет Самойлова. Еще два дня назад я думала на репетициях с ужасом о новой роли. Что буду я изображать? Жалкая марионетка с выжженной душой! Теперь я ничего не боюсь. О, как я буду играть! Точно ключи живой воды забили опять в моей душе. Улыбнись же мне. Отчего ты так печален? Ведь это ты вернул мне мою силу. «А ты убила мою», — грустно думает он.

Все эти дни душа Марка дремала, убаюканная юной любовью, упоенная целомудренной лаской смуглой девочки. Душа смирялась. Душа спала. И сны ее были безгрешны.

Под звуки скрипки Лии бледнела горечь и мрак отступал. И пряталась глубоко-глубоко на самом дне сердца ядовитая змея ревности. Это кроткий Давид играл на арфе. И плача слушал его мрачный Саул. [\[35\]](#)

Каждое утро, просыпаясь, он чувствовал смутно бледную радость. И открывая глаза, говорил себе: «Я любим. Еще не все позади. Я любим».

Каждый день, когда стрелка показывала два, он говорил себе: «Мы скоро встретимся. И я увижу ее глаза. Увижу в них ее грезу, которую я воплотил на земле».

И когда било три часа, кончалась действительность. И начиналась сказка. Он оставлял за собой прошлое. И без дум, без колебаний шел навстречу новому. Он выходил из дому, полный сил и радости. Бледной радости, да. Но разве он знал иную?

И вот глаза его встречались с таинственными темными глазами, и ожесточенное сердце смягчалось. Они шли в старый дом на Остоженке. Никто не мешал их встречам. Никто не нарушал их уединения. И глубокая тайна по-прежнему окутывала его жизнь.

Иногда в лунные ночи они гуляла Днем встречались обыкновенно на выставке или в пустынных залах Румянцевского музея, или в Третьяковской галерее. А чаще сидели вдвоем у огня, он в кресле, она у ног его, не замечая молчания, каждый со своим миром в душе.

Ложась спать, Штейнбах говорил себе: «Завтра мы встретимся опять». Этих часов он ждал как отдыха.

Андрей входит в столовую.

— Марк Александрович, пожалуйста к телефону. С вами говорит

барыня из Петербурга.

Штейнбах срывает салфетку и порывисто встает. Тревожно следят за ним темные глаза дяди.

— Вы ей скажете о Ниночке? — вслед ему кричит фрау Кеслер.

— Зачем? Ведь она поправилась теперь. К чему ее тревожить напрасно.

— Пора бы ей вернуться! — сердито говорит Агата.

— Скоро Рождество. И она вернется. Нарушать контракт она не должна. И я не понимаю причины вашей настойчивости.

«Слишком хорошо понимаешь», — думает фрау Кеслер, враждебно глядя ему вслед.

Своими глазами на днях она видела, как Штейнбах под руку с какой-то «девчонкой» выходил из Исторического музея. А сама фрау Кеслер ехала в трамвае мимо. Положим, тут ничего преступного нет. В музее выставка. Но одного мига было довольно, чтобы понять все. Девчонка прижималась к нему, такая маленькая, худенькая. И глядела на него, как глядят на звезды. А он шел, так нежно, внимательно склоняясь над нею. А главное... Почему они с Маней врозь? Разве когда-нибудь они расставались? Штейнбах у телефона.

— ...Марк это ты? — несется издалека.

— Здравствуй, Маня.

Его брови ломаются в болезненном изгибе. Веки горько прикрыты. Какой голос, тон! Так говорят только счастливые.

— Как живешь, Марк?

— Ты каждый день получаешь телеграммы.

— Но почему ты не говоришь по телефону?

— Ты тоже не говоришь. Миг молчанья.

— Я вернусь к Рождеству, если только меня не задержит чей-нибудь бенефис... Ты не рассердишься?

Он пожимает плечами, и рот его кривится.

— Как можешь ты так думать? Если тебе весело, тем лучше!

Он как бы видит ее перед собой в этот миг, обдумывающую верный ход.

— А ты разве не собираешься в Петербург?

«Вот, вот он, этот ход».

— Зачем?

Звуки далекого смеха отдаются в ушах Штейнбаха.

— Странный вопрос. Ты не находишь, что он странный?

— Не надо щадить меня, Маня, — холодно отвечает он. — Я все знаю.

Но я все тот же. Я вернусь, когда ты позовешь меня. Не раньше.

Она молчит долго, очевидно, удивленная чем-то. Потом спрашивает уже другим голосом, не тем гибким и богатым, чужим и лживым, каким говорила сейчас, а глубоким голосом прежней Мани:

— Вернешься, Марк?

— Вернусь.

Он ждет одно мгновение.

— До свиданья! — доносятся печальные, нежные звуки. — До свиданья, Марк. Я люблю тебя по-прежнему.

— И я тоже, — с горечью и вызывающе говорит он. И, услышав далекий разъединяющий звук, кладет трубку.

Он подходит к окну и смотрит на качающиеся ветви сада.

Ветер, резкий и влажный, нанес пуховые тучи, и снег идет с утра. Лия ждет его. Он обещал ей поэтичную прогулку в санках в Петровский парк.

А! Этот голос! Она выдала свою тайну. Такие звуки никогда еще не дрожали в ее голосе. Это радость. Это сознание силы. Это опьянение жизнью, развернувшей все возможности.

Что делать теперь? Куда бежать? Он мечется по комнате, как пойманный зверь.

Отчего эта горечь? Кому эти проклятия? Он сам, сам добровольно уступил дорогу. Он не хотел ни борьбы, ни насилия. Не обещал он разве пожертвовать собой для ее счастья? Ах, если бы он был пьяницей, ему было бы легче!

Он входит через четверть часа в столовую такой бледный, что фрау Кеслер вскрикивает:

— Что случилось?

— Решительно ничего.

— Андрей, — говорит он, тотчас после завтрака входя в кабинет. — Тут должны прийти двое по делу. Скажите, что я прошу прощения. Нет, обедать тоже не ждите. Вернусь поздно.

Портьера шевелится. Кто-то тихонько стоит за дверью.

— Дядя, ты? Войди.

Старик входит. В лице его ужас. Голова его трясется.

— Боюсь, боюсь, говори правду...

— Дядя, Бога ради, успокойся! Она здорова и счастлива. Не едет, потому что счастлива.

Старик упорно и печально качает головой.

— Нет, нет, нет. Я жду несчастья. Я чувствую... Скажи ей, пусть едет назад! Так надо, Марк. Так надо.

Он вдруг закрывает лицо руками и плачет.

Сердце Штейнбаха больно сжимается. Даже дух захватило. Как он любит ее, этот одинокий, несчастный старик!

Забыв о собственном страдании, он садится рядом, обнимает плечи дяди, гладит седые волосы и говорит, говорит...

Все ли доходит до этого сознания? Голос ли один? Или и слова? Но слезы старика стихают.

— Пойдем к Ниночке, в залу, — говорит Штейнбах, прибегая к последнему средству утешить старика.

Сумерки уже опускаются, когда Штейнбах идет по бульвару навстречу Лии.

О, как нужна ему сейчас эта девочка и ее прекрасная страсть, теперь, когда он потерял другую! Если б ее забыть... Если б разлюбить ее! Он отдал бы все состояние свое, чтоб быть свободным в эту минуту, чтоб свергнуть иго страсти.

Но разве это возможно? Никто не заменит Маню. Никто не заслонит ее образ. Слова любви, сказанные Лии, будут обманом. Все это уже было.

Вдали, на повороте бульвара, мелькнула знакомая фигурка. Вот она идет со своим футляром, в своей черной жакетке. Она еще не видит его. Но скоро засияют ему навстречу ее таинственные глаза. Быть любимым, быть желанным, зажигать душу женщины... Чувствовать свою власть...

Она идет ему навстречу. Прекрасная, доверчивая юность. Любовь с белыми крыльями, не знающими грязи. Вот прячут уже за ними свои уродливые лица кошмары его ночей...

Шире разверните белые крылья! Скройте от него серые призраки, витающие вдали. Безмолвные призраки печали и одиночества, ожидающие каждого из нас на закате.

Сегодня ему страшно. Вся нежность Лии бессильна заглушить его боль. Ему нужен угар. Ему нужно опьянение.

Он обнимает доверчиво прильнувшую к нему девушку с такой отчаянной силой, что ей становится страшно, хотя она наивна и неопытна. Что-то хищное в его взглядах, в его поцелуе, в движении его цепких холеных рук.

— Марк, что с вами?

— Я страдаю, Лия. Если бы найти забвение...

Он смолкает, стиснув зубы.

Она медленно бледнеет, опустив ресницы. Потом кладет руки ему на

плечи и с померкшими глазами говорит:

— Что я должна делать? Скажите. Я сделаю все.

Он крепко прижимается головой к ее худенькой груди, и Лия чувствует трепет его тела.

— Тише, Лия. Это пройдет. Я возьму себя в руки.

— Я ничего не боюсь, Марк.

— Но я боюсь, Лия. Я боюсь себя.

После долгого молчания его объятия слабеют.

— Отойдите, Лия, — говорит он, не глядя на нее. — Сыграйте мне что-нибудь. Мне будет легче.

Она играет. Звуки нежные, тихие. В них настойчиво звучит вопрос, жалобный, робкий. И всякий раз Лия делает паузу. Штейнбах слышит это «Что? Что? Что?» Облокотившись на колени и подперев голову, он сидит в кресле. Согбенный, словно сломанный, разбитый борьбой.

Вдруг трагический, зловещий диссонанс омрачает нежную мелодию. А! Он знает этот голос. Голос темного инстинкта, не считающегося ни с чем. Но он не уступит ему. Он не хочет страдания этого ребенка. Ему противна ложь.

Бьет девять Он встает. Она порывисто обнимает его.

— Вам не легче? Нет? Марк, что-то случилось. Ах, если б я была красавицей! — вдруг с тоской срывается у нее.

— Что это значит, Лия?

— Вы не ушли бы от меня, если б я была прекрасна. Ни любовь моя, ни молодость, ни талант не могут дать вам хотя б минутку счастья. Я это знаю. Я это чувствую.

— Лия! Не говорите так. Я люблю вас. Вы сами это знаете.

Она горько смеется, глядя ему в глаза.

— Если б вы любили меня, вы остались бы. Разве я не сказала вам, что сделаю все, все, что бы вы ни потребовали?

— Я не смею требовать.

— Почему? — страстно вскрикивает она. — Почему? Вот я здесь, перед вами, с моей беззаветной любовью. Я ждала вас долгие годы. И вы пришли.

— Я связан с другою.

— Нет! — иступленно кричит Лия. Он не узнает ее голоса, ее преобразившегося лица. — Нет! Молчите о другой. Я не знаю о ней ничего. Я ничего у нее не отнимаю. Я ничего от вас не требую. И в этот великий, в этот священный миг нас только двое здесь. Двое во всем мире. Я вижу только ваше лицо. Ваши глаза зовут меня. И я иду. Куда? На гибель, на

счастье — все равно. Ведите меня! Я иду.

Потрясенный, он смотрит в эти сверкающие глаза женщины, которая вдруг в ней проснулась и не хочет уступать своего счастья.

— Вы пожалеете, Лия... потом, — говорит он чуть слышно.

— Я? — Она кидается к корзине цветов, срывает розу, вдыхает, закрыв глаза, ее запах. Потом рвет на клочки цветок, и белые лепестки падают к его ногам.

— Вот мой ответ.

Штейнбах бледнеет.

Она подходит к двери, ведущей в переднюю, и, широко раскинув руки, как распятая рабыня, загораживает ему путь.

С шапкой в руках он замер недвижно.

Она через комнату смотрит на него горящими глазами, высоко подняв голову, полная решимости.

Он проводит рукой по лицу. Стало душно... душно...

— Лия... — срывается у него стон.

— Вы не уйдете отсюда к другой, — отчетливо и твердо говорит она.

Он бросает шапку, шатаясь подходит к креслу и падает в него. Лицо спрятано в спинке. Судорожно вцепились пальцы в подлокотники. Плечи вздрагивают конвульсивно от истерических рыданий, тяжелых рыданий без слез.

Она смотрит издали, оцепенев от страха и неожиданности. Что это за звуки? Станные! Страшные. Он плачет? Он, который...

В одно мгновение она у ног его и целует эти бледные, страстно любимые руки. Боже мой! Как страшно. Что она сделала? Безумная, дерзкая...

— Простите, — срывается у нее отчаянная мольба.

Он оглядывается. Он обхватил ее руками, прижал к груди ее головку. И целует ее лоб, ресницы, волосы.

— Простите, Марк.

— Лия... Лия... Это ты должна простить меня. Такой прекрасный дар. И я не могу его принять. Ты встретишь другого потом, молодого и любящего. Отдай ему сокровища, которые теперь ты кидаешь мне под ноги так безрассудно. О, благодарю тебя за твой порыв, за эту дивную готовность! И этого мига, Лия, я не забуду никогда. Мы связаны с тобой этой минутой моего отчаяния и твоего сострадания.

— Это не сострадание, Марк. Это счастье, о котором я вас молю.

— Нет, Лия. Нет. Я никогда не был обольстителем. И верь мне, моя маленькая девочка. — Он берет ее за подбородок и поднимает ее головку.

Загадочно глядят на него темные, бездонные зрачки ее. — Если б я не любил тебя нежно и благодарно, я ни минуты не поколебался бы. Но потом я все равно ушел бы, Лия. Разве не говорил я тебе, что я жалкий раб моей страсти и только жду зова, чтоб уйти? Что получила бы ты взамен этой жертвы? Ты прокляла бы меня, бедная девочка. Нет, не качай головкой. Ты не знаешь еще ужаса того, что люди зовут счастьем, того ада ревности, что идет на смену беззаветной жажде самопожертвования. Пусть минет тебя эта чаша! Во всяком случае, не я поднесу ее тебе, которая мне помогла пережить отчаяние. Знаешь ли ты, Лия, что я одну минуту готов был... Не бойся! Это у нас в крови. Но я умею бороться с голосами мертвых. Пока я еще кому-нибудь нужен, я буду жить. А теперь обними меня, дитя мое. И будем молчать. Пусть твои ручки гладят мое лицо. Вот так... мои глаза. О, благодарю. Лия, какое счастье, что ты со мною, что я не один сейчас!

— Вы очень страдаете, Марк? — еле шелестит ее голос.

— Да, Лия, да. Но боюсь, что я еще не достиг предела страданий.

Фрау Кеслер к Мане

Безумная женщина, если ты не хочешь потерять своего Марка, возвращайся немедленно. Я сама видела его с какой-то девчонкой. Он ежедневно встречается с нею на бульваре и исчезает на целый вечер. Неужели искусство для тебя так дорого, что ты своими руками разбиваешь свое будущее? Тороплюсь отослать. Он вернулся. Не выдавай меня. Нина была больна. Теперь поправилась. Он не хотел, чтоб тебе писали.

Агата.

Получив это письмо, Маня смотрит перед собою долгим, неподвижным взглядом.

Бедный Марк! Если он утешился хотя бы немного, тем лучше! Соперница ей не страшна. И напрасно Агата бьет тревогу. Разве его любви к ней могут угрожать эти маленькие развлечения, которые он ищет, чтоб заглушить тоску?

Конечно, я никогда не дерзну намекнуть ему на эту девушку.

Но одеваясь, чтоб ехать в театр, Маня впервые при мысли о Штейнбахе чувствует легкость на душе.

Всю дорогу она улыбается. Теперь жить стало легче.

Гаральд сидит у стола, стараясь сосредоточиться. В мысли нет привычной гибкости. Из-под пера выходят только бледные и банальные слова. Нет главного: аналогий и символов. Так писать может только ремесленник. Он не унижится до этого.

Он бросает перо и откидывается в кресле. Лицо его осунулось. Глаза запали глубже.

Одна неделя. Одна неделя праздности и угара. И он уже выбит из колеи и не может найти себя.

Разве он не предвидел этого, избегая Marion? В его жизнь она ворвалась, как буря. И как буря смяла цветы, взлелеенные им. И тщетно, как пастух в его «Сказке», ищет он теперь облетевшие лепестки. Не собрать. Все погибло.

Но так длиться не может. Он должен восторжествовать в этом поединке, в который ринулся так отважно, чтобы чувственностью убить свою страсть. Это верный путь. Он это знает. И недаром мужская, смелая душа Marion инстинктивно пошла по той же дороге. Чтобы освободить душу, надо утолить жажду тела. Через это надо перешагнуть, если хочешь творить спокойно. С лихорадкой в крови нельзя работать.

И он уже видит, как редет чаща заколдованного леса. Скорей бы на простор! Вздохнуть полной грудью. Опять узнать радость одиночества. Радость тишины за этим столом, в четырех стенах молчаливой комнаты.

Он придвигается к столу и берет перо.

Взгляд его падает на часы. Вздох срывается у него.

Она ждет завтракать. Она вырвала у него это обещание вчера, не считаясь с тем, что ему надо закончить рассказ. «Разве считается она с чем-нибудь?» — горько думает он. Она хочет видеть его не только в театре, но и на репетициях. Она постоянно ждет его то к завтраку, то к обеду. После театра она везет его к себе, как триумфатор добычу, не оставляя ему ни одной свободной минуты, распоряжаясь им, как вещью. Обольстительная, вечно новая, жизнерадостная Далила. ^[36]

И в ее комнате, под ее смех или страстный шепот, под лаской ее дивных рук, среди запаха ее опьяняющих духов, он чувствует, как растворяется его личность, как тонет его Я под гипнозом чужой воли.

Любовь ли это — то темное и стихийное влечение, полное жестокости, так похожее на ненависть, что сливает их тела в судорожном объятии? Только тела. Не души. Рознь эта, так пугавшая Гаральда, так привлекавшая Marion, не исчезает никогда. И глядит из их глаз с тайной угрозой в самые интимные, в самые священные минуты.

Да, эта женщина умеет опьянять. Она похожа на стихию, внушающую трепет, таящую гибель. А быть может, возрождение? Она не знает ни одного банального слова, ни одного пошлого жеста. Лицо ее в эти минуты полно мистической тайны, как лицо древней жрицы. И она прекрасна тогда! О, как она прекрасна! Когда-нибудь потом, когда все уляжется в душе, он знает, что это лицо подарит ему таким подъемом творчества, таким богатством образов, каких он не знал доньше. Если только он победит и уйдет. Если только он вырвется на простор.

Лишь вдали от нее он может протестовать, возмущаться. Он может ненавидеть ее за это постоянное насилие над ним, за это бесцеремонное вторжение в его жизнь. Что это? Презрение к его личности или же бессознательная стихийность ее души?

«Разорвать... и скорее!» — властно говорит голос рассудка. И он замирает, прислушиваясь к нему.

Никогда уже жизнь не подарит ему такой красоты. Как пошлы и бледны пред нею все женщины!

И все-таки, все-таки он ее покинет.

Сзади зашелестел шелк, и, прежде чем он успел оглянуться, душистая ручка, еще пахнувшая кожей перчатки, закрывает ему глаза. За спиной слышится нежный смех.

— Чем ты так занят? Я два раза стучала. Здравствуй!

Он берет ее руку и целует в ладонь. С ней в комнату вошла струя свежего воздуха. Запах знакомых духов напоминает о том времени, которое надо забыть — если хочешь идти вперед.

Он откидывается в кресле, держа ее за руки, и смотрит на нее снизу вверх. Глаза ее искрятся, щеки алеют, сверкают зубы. Левая бровь поднялась. Лукаво улыбаются свежие губы. Это жизнь. Сама жизнь ворвалась к нему. Торжествующая, беспощадная, самодовлеющая.

Но ей не место здесь, в комнате поэта, стоящего выше жизни.

— Что ты так глядишь, Гаральд? Что ты хочешь сказать? Едем, едем скорее завтракать. Меня задержали на репетиции. И как хорошо, что я догадалась заехать!

— Мне некогда, Маня. Я должен писать.

Она звонко смеется и разбрасывает рукописи по столу.

— Какой вздор! Разве это не успеется?

— Это работа к сроку, — кратко и печально отвечает он. — Это хлеб мой.

Ее взгляд падает на конверт: «*Боруху Исааковичу Менделю*».

Удивленно приподняв брови, она смотрит то на лоб его, то на конверт.

— Как твое имя, Гаральд? — упавшим голосом спрашивает она.

Он с усмешкой подвигает ей конверт. Ее левая бровь напряженно застыла в капризном изломе.

— Тебя зовут Борис? — настойчиво спрашивает она.

— Нет, не Борис, а Борух.

— Борис Александрович? — капризно повышает она голос.

Он смеется. Это так неожиданно, что она роняет муфту.

— Меня зовут Борух Исаакович Мендель, — говорит он отчетливо.

И вдруг перестает смеяться.

— Первое разочарование? — спрашивает он после паузы, глядя в ее застывшее лицо.

И, как это ни странно, ухо ее только сейчас впервые явственно слышит его акцент, от которого морщился Штейнбах, над которым смеялся Нилье.

Она смотрит на него большими и прозрачными глазами.

— Но я никогда и не выдавал себя за русского, — говорит он холодно, играя костяным ножом. — Я выбрал себе псевдоним, потому что он звучит красиво и отгораживает меня от толпы и ее любопытства. Но в частной жизни я не хочу быть самозванцем. Почему Борух хуже Бориса? А если и хуже, это все-таки мое имя. С этим придется мириться и вам.

Она слушает уже не слова его, не голос, а его акцент. Холодными, пытливыми глазами она окидывает эту комнату, эти памятные ей стены. Почему они точно сдвинулись сегодня? И эта волшебная комната стала тесной?

— Мы едем, Гаральд? — спрашивает она, надевая перчатку. И в голосе ее звучит холодок.

Но он понял ее, услышав этот голос. Так она еще никогда не говорила с ним. И слишком выразительно ее лицо.

С чувством невольного отчуждения и горечи под маской светской любезности он идет за нею, захватив со стола перчатки и цилиндр, бледный, стиснув твердые губы, упрямо и враждебно глядя на шлейф ее платья.

На вернисаже выставки модернистов Маня ходит под руку с Гаральдом.

Публика перестала глядеть на картины и следит за каждым движением знаменитой босоножки. Мужчины смотрят на ее лицо. Женщины разглядывают ее туалет.

Вдруг Гаральд видит Дору в десяти шагах от себя, рядом с Зиной Липенко.

— Pardon! — говорит он Мане, отходя.

Гневно сверкнули ее глаза. И он это заметил.

Злая обида поднимается в душе Гаральда.

— А! — насмешливо приветствует его Дора. — Куда вы пропали, Гаральд? Мы не виделись целую вечность. Впрочем, вы как раб прикованы к триумфальной колеснице Marion. Ступайте, ступайте. Вон как гневно глядит она на меня! С видом оскорбленной королевы.

— Я скоро уезжаю, Дэзи, — спокойно перебивает он.

— За нею едете? В ее свите?

— Не говорите пошлостей, Дэзи. Это вам не идет. Я уезжаю домой. Умер дядя и оставил мне маленькое наследство.

— Какие прекрасные люди эти дядюшки еще со времен Онегина! — смеется Зина. — Жаль, что у меня одни тетки. И надолго едете? Вы очень изменились, Гаральд. И счастливым не выглядите.

— Мне необходимо закончить рассказ, принятый в журнал. А работа не спорится. Быть может, в провинции я найду лучшие условия. Я буду у вас послезавтра, в пять часов, как всегда.

— Кто эта дама с вами? — спрашивает Зина, щуря близорукие глаза. — Неужели Marion?

Дора смеется, качая головой.

— Вот кстати. А я к ней собиралась. Представьте меня!

Втроем они подходят к Мане.

Та смотрит на картину и не видит ее. Совсем не видит. В сердце почти физическая боль. Прощай, радость! Она была недолгой. «Хоть час да мой!» — говорила она себе. Безумная! Разве страсть не всегда одинакова? Она готова убить эту проклятую Дези. Если б сейчас дать себе волю, она схватила бы Гаральда за руку, и, как собачку на цепочке, потащила бы его за собой. Боже, Боже! Какой ужас!

Затуманенными глазами глядит она на пейзаж.

Голос Гаральда заставляет ее обернуться. Лицо у нее неестественное, жалкое от усилия скрыть свои чувства.

Дора улыбается с холодным презрением.

Маня это видит. Она пробует улыбнуться Зине. Ничего не выходит. Одна гримаса. Не стоит притворяться! Это унижительно.

Не дослушав того, что говорит ей Зина, она вдруг оборачивается к Доре и спрашивает, дерзко улыбаясь:

— Вы Дэзи? Я вас читаю иногда.

— Вы ведь не любите ни сатиры, ни юмористики, Marion? — быстро перебивает Гаральд, чуя недоброе в ее тоне. — Они чужды вашей

романтической душе.

Его поспешность, его тон еще больше разжигают гнев Мани.

— Вы ошибаетесь, Гаральд. Я люблю и Диккенса, и Щедрина. Но вы, современные юмористы, вы слишком упростили свою задачу, — продолжает Маня, любуясь эффектом слов, от которых меняется надменное лицо Доры. — Чтобы смеяться, надо иметь в душе то, что выше смеха. А вы? Во имя чего вы смеетесь? Кто вы? Во что верите? Кому молитесь?

— Вы хотите сказать... — говорит Дора, побледнев.

— Я хочу сказать, — стремительно перебивает Маня, — что за вашим смехом я не вижу вашего лица. А для писателя, если только вы себя причисляете к ним, это убийственно.

— Это интересно, — подхватывает Зина. — Мне нравится то, что вы говорите. Вы, значит, думаете...

— Я думаю, что наша юмористика так же далека от литературы, как оперетка от оперы или фарс от драмы. Юморист без мирозерцания — ничто. Он меньше клоуна в цирке. Потому что клоуны бывают талантливы и умны. Простите мое мнение. Я, конечно, только публика. Но ведь вы пишете для нас.

И Маня любезно оборачивается к Зине. Она уже совсем овладела собой:

— О чем хотели вы меня просить?

Дора отступает, бледная и растерянная. Насильственно улыбаясь, она невпопад отвечает что-то Гаральду.

Зина передает Мане просьбу. Надо устроить вечер на ее имя, на имя Marion, с танцами, конечно, и с участием Нильса.

— А цель?

Зина колеблется минуту.

— Позвольте прийти к вам послезавтра, в пять. Можно?

«У меня обедает Гаральд. Как это скучно! — думает Маня с жестокостью влюбленной женщины. — Но делать нечего...»

— Я буду вас ждать, — любезно улыбается она. С Дорой она прощается издали, коротким кивком головы, и глаза ее все так же искрятся и смеются. Гаральд в передней особенно тщательно застегивает ее манто, но она чувствует его раздражение.

— Вы будете у меня вечером? — сухо спрашивает она, когда дверца автомобиля захлопывается за ними.

— Нет, — бесстрастно отвечает он, избегая встречаться с ее напряженным взглядом. — У меня спешная работа. Будьте любезны остановиться на Моховой. Меня ждут в редакции.

Ноздри ее вздрагивают, и глаза темнеют.

— Вы мне мстите за вашу Дору? — вскрикивает она.

Он оборачивается. Его лицо печально.

— Вы были жестоки. И мне больно. Не за нее. За вас.

— Я ненавижу ее, Гаральд! Я страдаю, я с ума схожу. Почему я одна виновата? Ведь она тоже меня ненавидит!

— Я никогда не слыхал от нее ни одного намека на это.

Она отодвигается, пораженная. Ее нисколько не трогает это великодушные соперницы.

— Значит ты еще ходишь к ней? Ты продолжаешь с ней свои отношения?

— У меня нет причины порывать со старыми друзьями.

Она молчит с глазами, полными ужаса. Потом берет руку Гаральда и прижимается лицом к его плечу.

— Гаральд, подари мне этот день! Если ты любишь меня хоть немного, если ты способен заглянуть в мою душу. Боже мой! Точно яма раскрылась под ногами у меня. Черная, бездонная яма, и я сейчас упаду в нее. Удержи меня. Побудь со мной, Гаральд...

— Простите, Marion, я очень занят, — мягко говорит он. И звонит шоферу. Автомобиль останавливается.

— Я сойду здесь, Marion. Редакция недалеко. У меня деловое свидание.

— Не лгите! — перебивает она, и глаза ее точно дрожат от охватившего ее бешенства. — Ни одному слову не верю. Нет ни редакции, ни работы. Ступайте к вашей возлюбленной...

Гаральд захлопывает дверцу.

Автомобиль уносит Маню. Жалкое лицо ее искажается рыданиями.

«Что я сделала, безумная! Что я сделала! Своими руками я рою могилу моему счастью. Ах! Но где же оно, это счастье? Где? Он не простит мне этого оскорбления. Никогда не простит. Мне остается только умереть...»

Маня лихорадочно мечется по комнате.

Вот уже сутки, как его нет. Не был вчера в театре. Не приехал к завтраку, хотя обещал.

Оскорблен? Быть может, работает? Разве он забыл, что через две недели ее уже не будет здесь, а работа останется с ним всегда? Неужели он не может ей простить эту Дору?

Она бежит к столу. Лицо ее горит от негодования. Она пишет:

«ГАРАЛЬД, Я ЖДУ ВАС. М».

Она звонит и велит Полине отвезти эту записку по адресу.

— Возьмите мой автомобиль.

Она садится у камина вся дрожа, как в ознобе, чувствуя себя вдруг обессиленной, разбитой физически и нравственно. Что может быть хуже ожидания?

«Он не любит меня, — с горечью говорит она вслух. — А если и любил когда-то, я сама убила это нежное чувство. Потому что свергнуть иго страсти мне было важнее, чем сохранить его любовь. Но чего же я добилась? Освободила ли я мою душу? Не впала ли я в новое рабство? Да и люблю ли я его сама?»

Она вспоминает его глаза, его губы. Потом лицо Марка.

«Нет. Я не люблю Гаральда. Моя страсть умрет. Я уже вижу впереди тот день, когда она умрет. И мы расстанемся спокойно. Но сейчас? Зачем эти страдания? Эта ненависть? Эти слезы? Такие ядовитые слезы? Они старят душу, как и лицо...»

Она смахивает их. И, подперев рукою голову, закрывает глаза.

И вдруг она видит себя идущей ночью по коридору. Она слышит стук в дверь, легкий, но твердый и настойчивый.

Неужели это была она? Она пришла сама, без зова? Да, пришла. Была невменяема. Кто-то велел идти. Ослушаться не могла... Ах, эти шаги за дверью, от звука которых останавливалось ее сердце! Дверь распахнулась.

Что прочла она тогда в его глазах? Ненависть. О, это она помнит! Она никогда не забудет этого взгляда. Он говорил ей:

«Ты, чужая мне и враждебная, вторглась в мою жизнь. И я буду бороться с тобой, как с врагом...»

И все-таки, все-таки... Страсть победила. Она сорвала все преграды, как срывает плотину наводнение...

Но вода схлынет. И страсть уйдет.

«Тем лучше, тем лучше, — думает Маня. — Скорее бы только стряхнуть с себя эти цепи! Скорей!»

Она лежит с закрытыми глазами. Почему-то вспомнилась ей одна сцена из далекого детства. Темный, дикий, глухой лес. А вдали, за деревьями, розовая полоска зари.

Ей было всего пять лет, когда мать, уезжая гостить в имение одного из своих поклонников, взяла с собой Маню.

В первый раз тогда девочка увидела лес, поля, васильки, рожь, речку. В первый раз почувствовала красоту вечерней зари и священную тишину

темнеющих полей. И безумная любовь к природе впервые вспыхнула в ее душе. Никто не следил за Маней. Она была предоставлена самой себе.

И вот однажды, убежав в лес, она заблудилась.

Целый час она топталась среди хмурых великанов, ища дорогу. Забралась в какую-то чащу. И бессильно плакала, вся исцарапанная, в разорванном платье. Взрослому человеку ничего не стоило бы выбраться на простор. Но она была такая маленькая.

Вдруг между деревьев блеснула полоска зари. Девочка радостно вскрикнула. Недалеко была опушка. Надо опять идти.

И когда, вся истерзанная и запыхавшаяся, она выбежала из леса и увидела мирное поле и алеющее небо, слезы освобождения и счастья хлынули из ее глаз.

«Чаща редеет, — подумала Маня, отдаваясь сладкому оцепенению усталости. — Скоро увижу поле и зарю...»

Полина входит неожиданно. В руке у нее записка.

Маня, как разбуженная, смотрит, не понимая. Губы ее бледнеют.

«Я не приду, Marion, ни нынче, ни завтра. Простите, что забыл предупредить. Меня захватила работа. И я дорожу своим настроением. Ваш Гаральд...»

С разлившимися зрачками смотрит она на эти строки. Потом бешено рвет записку и топчет ее ногами.

Но злоба гаснет. И Маня падает в кресло, истерически рыдая.

Какой маленькой, какой жалкой чувствует она себя под тяжелой рукой, опустившейся на ее голову! Он освободился. Он вырвался из лап хищника. И раны его заживут. А она еще бьется в когтях зверя, истекая кровью. И когда же конец? Чем убить эту жгучую тоску? Это влечение, ядовитое, болезненное, как укусы? Неутолимое, как жажда умирающего?

«Боже, Боже! Дай мне силы не унизиться, не выдать своих мук, не молить о ласке. Дай мне силы пережить эти минуты!»

Дышать нечем!

Она кидается к форточке, распахивает ее настежь. И, закрыв глаза, стоит под морозной струей, охватывающей ее тело ледяным поясом.

Только два часа дня. Декабрьское солнце, побродив где-то за домами и бросив бледно-алый отблеск на верхушки зданий, уже снова спускается к горизонту. Мороз. И петербуржцы, обрадованные погожим днем, наводнили Невский.

«Какой чудный день!» — думает Гаральд, подходя к окну. Взглянув на зеленоватое небо, он опускает шторы и зажигает лампу. Писать, писать, пока не иссяк этот дивный ключ, вдруг забивший в его душе.

Это начиналось два дня назад.

Точно кто-то толкнул его к столу, и он писал всю ночь.

Давно, давно он не чувствовал такого прилива творческих сил. За эти две недели праздности и чувственного угара в его мозгу зрел бессознательный процесс творчества, как ручей в недрах земли, незримо пробивая себе путь. И когда вчера он проснулся — а спал он всего три часа — и когда сел за стол, его рука не поспежала за теснившимися образами, за строфами, звучавшими в его ушах еще во сне под утро, готовыми и законченными, как будто он работал над ними резцом. Он забыл, что его ждет Маня. Он забыл, что обещал Доре зайти к ней. Даже голода не чувствовал он весь день. И очнулся только в одиннадцать вечера.

Тогда он вышел на улицу, поужинал у Палкина и пошел бродить по набережной, где он часто обдумывал свои замыслы.

Он любит эту набережную и на закате, и ночью; ее пустынность, дремлющие громады дворцов, черную, зловещую воду Канавки с ее мостом, напоминающим Венецию. Любит цепь огоньков по другую сторону Невы и вдали грозный, таинственный силуэт Петропавловской крепости; и Зимний дворец, весь овеянный легендами прошлого, мрачный и много знающий, с его неподражаемой окраской.

Он ни разу вчера не вспомнил о Мане. Как будто ее не было. Он думал только о своей новой новелле. Там были *он* и *она*. С теми же глазами, с той же улыбкой. Но он любил не Маню, которая его ждет и ревнует, а женщину его рассказа. Только ею, этой грезой, полон он теперь. Чувственные ласки, поцелуи... О, как все это далеко сейчас! Как не нужно.

Стук в дверь. Гаральд поднимает голову. «Неужели *она*?» С глухой враждебностью он стискивает губы. Встает и идет навстречу.

Как она бледна! В лице ее он видит только одни огромные глаза «раненой лани». И ему вспоминается девушка «Сказки», идущая на смерть.

Она откидывает вуаль. Он целует ее руку.

— Ты пишешь? — кротко спрашивает она и садится, точно ослабев.

Лицо у нее болезненное, осунувшееся. Губы пересохли. Под глазами синие тени.

— Да. Я рад, что могу закончить свой труд до отъезда.

— Разве ты уезжаешь?

— Завтра вечером. У меня умер дядя. Мать зовет меня.

— Боже мой! — срывается у нее. Но, стиснув руки, она спрашивает

почти спокойно: — А потом?

— Потом я думаю проехать в Египет. Я давно мечтаю о Востоке. Да и доктор советует ехать. Я надорвался немного. И легкие ослабели.

— Легкие? — переспрашивает она в ужасе. — Разве ты когда-нибудь болел?

— У меня два раза уже было воспаление. Я прожил одну зиму в Давосе. Мне запрещено работать через силу, волноваться, любить. — Грустная улыбка пробегает в его глазах и гаснет: — Я хрупкий сосуд, Marion. Моя внешность обманчива.

Она протягивает горячую руку и нежно жмет его пальцы.

— Не говори так. Я чувствую себя преступницей.

Она прижимает его руку к своей щеке. Таким милым детским жестом. Потом целует ее.

Он вздрагивает, точно от ожога. Вся кровь прилила к сердцу. Вдруг он чувствует, что незнакомая сладость нежности могучей волной поднимается в его сердце. И оно бьется, огромное, тревожное, счастливое.

— Что ты делаешь, Marion? Милая Marion..

— Оставь! Мне хорошо так. Сядь со мной рядом! Обними. Вот так... И помолчим немножко. О, как отраднo быть вдвоем! Гаральд, отчего мы раньше не знали таких минут?

— Ты больна, бедная Marion? — после долгой и странно сладкой паузы спрашивает он, поглаживая ее щеку и руку, бессильно упавшую на его колени.

Ее губы дрожат.

— А... счастливый, Гаральд!

Он слышит слезы в этом голосе. Это так ново, так... И вся она такая тихая и печальная. Ему жаль ее. Какое страшное, обессиляющее чувство! О, только не поддайся ему! Тогда все пропало.

— Почему ты несчастна, Marion?

Она кладет ему руки на плечи и долго изучает его лицо.

«Точно прощается», — думает он.

— Продолжай. Что же ты замолчал, Гаральд? Скажи так: «Ведь ты сама этого хотела, я тебя предупреждал. Я любил тебя, как грезу. Ты сама разбила счастье». Знаю, Гаральд, знаю. Но разве я могла поступить иначе? Волна захлестнула меня с головою и понесла. Я не сопротивлялась. Я знала, что она вынесет меня на берег. Но ты доплыл туда раньше меня. Ты уже освободился, Гаральд. Вот ты сидишь за письменным столом, счастливый и гордый. А я еще борюсь с волнами.

— Доплывешь и ты, Marion. Такие, как ты, не гибнут.

— Спасибо тебе за эти слова! Я все-таки враг, достойный уважения. И ты не должен с презрением думать обо мне, когда мы разойдемся. И если, повинувшись этой темной силе, я еще раз дойду до унижения, ты все-таки сумеешь разобраться в этом, Гаральд? Даешь слово?

Не отвечая, он берет в обе руки ее голову и целует ее глаза. Ее он никогда не целовал так. Только Дору. Но что для него Дора теперь, перед этой женщиной, прекрасной и сильной, как сама Жизнь? Никогда душа его не звучала, как теперь.

Она подходит к столу и пробегает глазами строки поэмы.

Он вдумчиво следит за нею запавшими глазами. Еще яснее, чем тогда, перед портретом, он сознает стихийную силу этой женщины, умеющей одной слезой, одной лаской гасить его враждебность и подчинять себе его мятежный дух. Вдруг он слышит ее глубокий трепетный голос:

— Вот где твоя сила, Гаральд. Вот что выделяет тебя из толпы. И с чем я, безумная, хотела бороться.

Ее голос срывается. Она вынимает платок.

— Ты плачешь, Marion? — вскрикивает он.

Она смахнула слезы и опять улыбается нежно и печально, чарующей улыбкой, которой он не знал.

— Нет, это светлые слезы. Они облегчают. Я с благоговением гляжу на эти строки. И мне стыдно. Мне больно, что я мешала тебе работать.

— Не говори так, Marion! Два дня работы вознаградили меня за все. Кто знает? Быть может, эта пауза, этот угар были необходимы мне, были ценны.

Она сияющими глазами глядит на него.

— Ты можешь еще сомневаться в этом? Ах, Гаральд, я знаю, что моя страсть обогатила тебя! Помнишь мое письмо из Тироля? Помнишь, чем ты был для моего творчества? Теперь я расплатилась с тобой. И это мирит меня со всеми страданиями последних дней. Страдания забудутся. А твои стихи будут жить.

Она берет со стола бумагу и целует ее.

— Marion. Что это значит? — взволнованно спрашивает он.

— Здесь все-таки я! — гордо говорит она, ударяя рукой по рукописи. — И ты меня не забудешь.

Она опускает вуалетку и идет к двери.

«В своей печали ты еще прекраснее, чем в своей страсти, — думает он. — И если меня опять потянет к тебе, я погиб...»

Но — совсем неожиданно для себя — он спрашивает ее:

— Ты будешь нынче вечером дома? Она молча наклоняет голову.

— Но ты меня не зовешь, Marion? — тревожно срывается у него.

— Нет, Гаральд, не зову. Ты придешь сам теперь. Но я готова ко всему после той ночи, что я пережила тогда. Даже твой скорый отъезд не удивляет меня. Я и это знала. И я ничего не чувствую. Умерло что-то в моей душе.

— Это победа, Marion.

— Победа Пирра, — говорит она с горькой улыбкой.

Он провожает ее до лестницы. «Это будет последнее свидание. Это будет последняя слабость», — думает он.

Он возвращается в номер. И тоже вдруг чувствует стены, которых не замечал раньше. В них душно, тесно.

Он садится к столу. Холодно белеет бумага. Не тянет писать. Мысль бежит вслед за женщиной, оставившей здесь запах своих духов и частицу своей души. Они соприкоснулись сейчас, их души, не видевшие друг друга за слепым и душным покровом страсти. Они открыли наконец печальные лица. И сердце Гаральда замерло, когда он почувствовал внезапно красоту этой сложной и мятежной души.

«Не думать, не думать об этом! — говорит он себе, берясь за перо. — Это ловушка врага, который не дремлет. О, как нужно быть осторожным, чтобы враг не напал врасплох!»

Он пишет. Но вдруг бросает перо и встает.

Все кончено. Настроение нарушено. Цепь порвалась. Нанизываются вялые слова. А час назад он низал жемчуг. Голова пуста. Вся кровь прилила к сердцу, впервые пожалевшему ту, кого он боялся.

«Она — красота! — говорит кто-то отчетливо и сурово. — Она — красота и жизнь. А ты отрекаешься от нее...»

«А я отрекаюсь, — думает Гаральд. — Во имя высшей цели я отрекаюсь от счастья...»

Но впервые эта жертва кажется ему огромной.

Бьет четыре. Он решительно прячет рукопись в стол, берет цилиндр и выходит.

Она свободна до семи. Когда он войдет, она улыбнется. Ах, эта улыбка! Как часто он видел ее во сне с этой печальной, кроткой улыбкой! Но никогда в действительности, до этого дня.

«А я еще думал, что исчерпал ее всю...»

Сердце его бьется, когда он идет по коридору гостиницы, где живет Маня. «Если это любовь, я погиб», — говорит он себе.

Он бледнеет, отворяя дверь. Он даже забыл постучаться, так сильно и ново волнение, охватившее его.

Она стоит у камина, печальная, одинокая.

— Гаральд! — кричит она, кидаясь ему навстречу.

Как долго потом он слышал этот крик.

И он говорит ей дрожащим голосом, каким ни с кем не говорил в жизни; говорит те слова, которых так долго и тщетно ждала Маня; вкладывая в них значение, которого не знал до этого дня:

— Я люблю тебя, Marion.

Проводив Маню в этот вечер из театра домой, Гаральд остается у нее.

В четвертом часу утра, крадучись по слабо озаренному коридору, мимо молчаливых комнат, Маня провожает Гаральда. На ней мантия и капор.

На лестнице они останавливаются. С робкой непривычной нежностью берет он в свои руки ее лицо, глядит в него мгновение. Маня невольно закрывает глаза.

«Запомни, запомни этот миг! — говорит она себе. — Этот взгляд его, это новое выражение. Только ты его видела. И не увидит больше ни одна женщина...»

То, что они пережили в эту ночь, было так прекрасно, полно и высоко, что слова кажутся ничтожными, ненужными. Впервые слились не только тела их, но и души. И этот миг был грозен и священен, как молния, пронесшаяся над землей. Миг, когда люди становятся богами. Он исчез. Но отблеск вечности еще остался в их зрачках.

«Он не повторится, — думает Маня. — Все потом будет ниже и бледнее».

Он страстно целует ее ресницы.

— Уедем, Marion? — шепчет он.

Она молча наклоняет голову.

— Ты подождешь меня? Через десять дней я вернусь.

— Да, Гаральд. Да.

Они выходят вместе. Весь длинный переезд они держат друг друга за руки. И оба молчат, не замечая молчания.

У грязного памятного ей двора он сходит и, сняв ее перчатку до половины, целует розовую горячую ладонь.

— До скорого свидания, Marion!

Она смотрит ему вслед, пока он идет по двору.

Вот остановился под навесом. Снял цилиндр. И красивым жестом, которому не выучишься, взмахнул им в знак прощания. Скрылся.

Словно просыпаясь, Маня проводит рукой по лицу.

Она едет обратно по грязному пустынному переулку.

— Послушайте, извозчик, где ночной телеграф? Далеко? Все равно. Везите меня туда.

Телеграмма Мани к Штейнбаху.

«МАРК, ВЕРНИСЬ!»

Получив эту телеграмму в десять утра, Штейнбах долго лежит с закрытыми глазами, дожидаясь, когда стихнут мучительные перебои в сердце.

Она зовет. Что-то случилось. Он ей нужен? Или это...

Несколько раз он хватается за телеграмму и смотрит на эти два слова, заключающие в себе целый мир для него. Или же готовящие ему, быть может, жестокий удар? «Марк, вернись!» — говорит он вслух, стараясь представить себе ее лицо.

Вдруг он видит служебную пометку: «Принята в три часа ночи». Он садится на постели, судорожно смяв бумагу. Ему чудится крик отчаяния.

Скорей! Скорей! Она зовет его. Она страдает.

Он лихорадочно поспешно одевается, отдает наскоро приказания камердинеру. На сколько он едет? Неизвестно. Что сказать господам, которые придут завтра? Сказать, что выехал внезапно. Пусть подождут! Приема нынче не будет.

— Ни души, Андрей, никого!

— А с письмами как, Марк Александрович?

— Все посылайте по петербургскому адресу. Еду курьерским. Сейчас отправляйтесь за билетом. Вы останетесь дома, с дядей. Телеграфируйте мне каждый день.

«Лия»... — вдруг вспоминает он. И сердце как будто останавливается на миг. Он ни разу не вспомнил о ней до часу дня, пока разбирал и жег письма, накопившиеся за эти дни; пока совещался с фрау Кеслер о хозяйстве, о Ниночке, о дяде; пока завтракал и говорил по телефону с десятками лиц.

Скоро два. Он обещал встретить ее в три на бульваре. Ах, он забыл о той, кто любит его, для той, кто вычеркнул его из своей жизни за эти три недели! Один только призрак страдания на лице Мани заслонил перед ним Лию и ее любовь.

Небывалая бодрость овладевает им вновь. Маня зовет его. Маня нуждается в нем. Еще не все утрачено. Есть для чего жить. Надо опять

быть сильным, находчивым, терпеливым.

Он едет в цветочный магазин, выбирает роскошную корзину одних только белых цветов и велит немедленно отослать по адресу Лии. Потом едет в банк.

В четвертом часу на бульваре он видит Лию, сидящую на скамье.

Мороз усилился. Выпал снег. Беззвучно скользят сани. Опять все деревья в инее, как в первый день их встречи. Алые отблески зари словно заблудились на земле, горят в куполах церквей и как тени падают на заиндевевшие деревья, на стены домов и лица прохожих. Чудный день! Невольно радость крадется в душу. Смутная, но живучая надежда на что-то впереди. Это логика страсти, которая не рассуждает, которой факты не страшны.

Но когда он подходит к скамейке и видит съезжившуюся, озябшую, всю поникшую фигурку, сердце его сжимается опять. Он вдруг с раскаянием вспоминает, что вчера еще обещал Лии прокатиться с нею нынче до заката в Петровский парк.

— Дорогая. Простите... Вы давно ждете меня?

— Это ничего! — говорит она.

Но он видит, что она вся дрожит.

— Поедемте скорее кататься, — просит она. — Вот только жалко, что солнце село.

Ах, жалобный голосок! Как больно его слушать! Ей нужно было так мало. А Маня потребовала всю его жизнь...

— Простите, — говорит он, прижимая к себе ее руку и идя с нею вперед. — Меня задержали важные дела. Я уезжаю.

Она останавливается.

— Но я скоро вернусь. Очень скоро. Завтра я вам телеграфирую. Вы будете в точности знать о дне приезда.

— Вы едете к ней? — перебивает она холодно и покорно.

— Да, она зовет меня. Быть может, больна? Шаги ее все замедляются.

— Вы вернетесь вместе?

— По всей вероятности, к Рождеству или раньше. Да, конечно, раньше. Я вернусь к вашему концерту. Оставьте мне почетный билет. Я покупаю весь первый ряд.

Штейнбах берет ее портмоне и кладет в него деньги.

— Куда вы его кладете! В муфту? Спрячьте в карман.

Она смотрит пристально в его лицо. И опускает ресницы.

— Боже мой, как вы грустны!

Забыв о прохожих, презрев осторожность, он целует ее ручку и

прижимает ее к груди. Он готов плакать от жалости.

— Лия, тебе больно?

— Нет, нет. Вы счастливы. Я никогда не видала вас таким счастливым. Это хорошо. Пойдемте скорей, скорей.

— Но ты дрожишь. Ты озябла. Пойдем лучше к тебе!

— А кататься? — жалобно срывается у нее.

— В другой раз. Жизнь перед нами. Она тихо и странно качает головой.

— Да, Лия, да. Будут еще такие же прекрасные дни. И такие же закаты. И тот же иней на ветвях, когда я вернусь. Не надо жалеть, Лия. Ведь я не изменюсь. Это главное. А теперь надо согреться. Вот ты опять кашляешь. Посидим у камина.

— В последний раз, — подсказывает она.

Он делает вид, что не слышит.

Когда они садятся в санки, Штейнбах обнимает ее талию. Ее глаза закрываются. Странно усталое и худое у нее личико. Она словно похудела за эти полчаса. Или это ему кажется?

В передней она останавливается с глухим восклицанием. Цветы призрачно белеют и словно плывут на нее из темноты.

— Марк! — слабо и благодарно говорит она, пожимая его руку.

Но, когда она зажигает лампу и подходит к корзине, Штейнбах поражен ее выражением.

— Дитя мое, тебе не нравятся эти цветы?

— Белые... Все белые... Ни одного живого тона.

— Это стильно и красиво.

— Это цветы смерти, Марк.

— Замолчи! Мне больно слушать. И не поддавайся сама такому настроению! Поди сюда. Сядь рядом! Я согрею твои ручки.

Они молча сидят, обнявшись, у огня. Он чувствует, как озноб пробегает по ее телу.

Вдруг странный свет падает на ее лицо, и она открывает глаза. Точно кто-то позвал ее. Она оглядывается.

— Луна, — говорит она. — Луна и снег. Поедемте, поедемте скорей!

— Ты простудишься, милая девочка.

— Ах, все равно! Если нельзя кататься на закате, покажите мне лес при луне. Вы уедете, а я буду этим жить.

Через четверть часа они мчатся к заставе.

Когда они въезжают в парк, почти полная луна уже высоко поднялась на небе и все заворожила вокруг. Заколоченные дачи кажутся городом

мертвых. И лента шоссе ведет куда-то, в Бесконечность. К новой жизни. К неведомому счастью.

Поле таинственно серебрится вдали. Молчаливо раздвигаются перед ними аллеи. Вон мелькнула, вся белая, дача, словно мраморная вилла.

Если ты проходил здесь когда-нибудь, не ищи знакомой дороги. Все изменилось. В загадочном трепете светотени затерялись знакомые тропинки. В волшебном синем сиянии утонуло обычное. Гляди на серебряный иней берез, на черные силуэты мохнатых елей, согбленных под снегом. Смерть прошла здесь. И лес заснул. Она смежила очи всему, что жило недавно и радовалось, потушила огни, задушила голоса и послала миру серебряные сны. Сны холодные и чистые, без грез и надежд. Ты слышишь эту тишину, звенящую серебром?

«Ах, заснуть бы! Заснуть и мне! — думает Лия. — В синем сказочном царстве, как этот лес. И Ты недалеко... Я слышу Твои шаги, хотя Ты идешь беззвучно. Возьми и меня с собой, Ты, несущая забвение!»

— Пора домой, Лия, — говорит Штейнбах. — Холодно! Ты простудишься.

Он нежно прижимает ее к себе. Она кладет голову ему на грудь, закрывает глаза и покорно отдает ему обе руки.

У подъезда она спрашивает:

— Вы не зайдете больше?

— Нет, милая, нет. Я должен скоро ехать.

Все-таки он поднимается на лестницу. Они входят в переднюю. Он крепко прижимает Лию к груди.

— До свидания! Жди меня. Я никогда не забуду, чем была ты для меня, дорогая Лия, весь этот ужасный месяц. Если я пережил его, то только благодаря твоей любви. Мы будем встречаться по-прежнему. Да, да. Почему ты мне не веришь? Я буду вести двойную жизнь, полную обмана. Но я иду на это, я сам этого хочу. Ты вошла в мою душу, ты стала участницей моей собственной жизни. Ах, Лия! Не терзай меня недоверием! Я не заслужил его. Я не могу отказаться от тебя и твоего чувства. Я знаю, что это дар судьбы.

Он целует ее глаза, ее руки.

Она стоит недвижно в передней. Дверь затворяется за ним.

Ушел. Опять одна.

Из комнаты, где во мраке белеют высокие лилии, плывут волны аромата. Тяжелые, белые волны. Это цветы смерти зовут ее.

Боже, как страшно! Почему так страшно стало вдруг? Почему так жутко войти? Кто ждет ее там, притаившись, во мраке?

Кто вошел в этот дом вместе с нею? Вошел беззвучными шагами. И ждет ее там, Безликий, неумолимый.

Письмо Мани к Гаральду

Ты сказал мне нынче, что любишь меня. И душа моя задрожала от ужаса. Но понял ли ты вчера, видя мои слезы, что и в мое сердце, побеждая желание, попирая чувственность, вошла Любовь? И перед этой светлой силой побледнело все, что искажало до этого дня лицо моей души.

Ты зовешь меня? Ты хочешь новой встречи? Если б я была прежней Маней, с каким восторгом кинулась бы я к тебе! Каким раем казалась бы мне эта поездка в Египет, о котором я грезила с детства! Но я отказываюсь от рая, Гаральд. Потому что я люблю мою любовь к тебе и хочу сохранить твою. Знаю, что жизнь быстро стерла бы грани дивного алмаза и чувство потускнело бы. Мы расстались бы пресыщенные, уставшие, отравленные горечью. Разве не этим кончается земная любовь? Хочу, чтоб в твоей памяти вечно жили не омраченные ничем эти последние прекрасные часы нашего счастья. Все дальнейшее будет ниже их. Я это знаю.

Гаральд, это великая жертва. И ты поймешь меня. Не говори теперь, что мне не дороги ценности, созданные и отвоенные мною. Не говори, что я игнорирую твою душу, твой труд, твои великие цели. Мы оба художники. Наш бог — творчество. Выше краткого счастья с тобой ставлю я его. Выше радости взаимности, от которой отрекаюсь. Искусство даст мне силу взглянуть в лицо моему одиночеству. Оно не обманет, не изменит, не унизит моей души.

Гаральд, не странно ли, не дико ли, что за эти две недели мы только обнимались в страстной жажде разрушения, но ни разу не спросили себя, что чувствуют наши молчаливые души, полураздавленные в этом бешеном поединке, в этой злобной борьбе полов, которая, по какому-то недоразумению, зовется любовью? Только сейчас ночью, расставшись с тобой, я поняла, что мы никогда не знали друг друга. Как можем мы идти дальше, рука об руку, мы — случайно встретившиеся на перепутье? У меня один спутник — Марк. С ним встречала я

солнце в горах. И я не из тех, которые покидают товарищей «в ущелье жизни».

Ты считал меня только чувственной, Гаральд. Но чувственность лишь тень моей души. А света ты еще не видел. Вся жизнь моя с детства была страстным стремлением ввысь. Не раз падала я, изнемогая на крутых путях. Не раз в отчаянии говорила себе: «не дойти». Старые чувства, с которыми так трудно бороться, как вериги, тянули меня назад. Надо было освободиться от них, чтоб легкой и бездумной идти к цели. О, Гаральд! Только женщина поймет, как трудно нам не подчиняться голосу сердца! Ты — трагедия моей жизни. В тот момент, когда я поднялась наверх и передо мной развернулась, играя всеми красками, многогранная жизнь, которую женщины видят только из узкой щели маленького счастья, — ты стал на моей дороге. И горизонт сомкнулся снова.

Твое лицо скрыло от меня развернувшиеся дали. Сойди с моей дороги, Гаральд!

Знаю теперь: ты победитель. Ключи счастья в твоих руках. Ты наполнил жизнь борьбой и стремлением к вечному. Тебе не страшна измена. Тебе незнакома ревность. Не все ль тебе равно, кого обнимешь ты, полный желаний? Твоя цель — творчество. А мы с нашей любовью лишь средство. Когда костер горит, кто думает о сучьях, поддерживающих пламя? Пусть пылает ярче! А мы сгорим в нем, непонятые, отвергнутые или исчерпанные до дна. Мы все утоляем твою жажду новизны и тайны. По душе нашей, топчя ее лучшие цветы, ты идешь к своему алтарю. И в любви ты полон собою. И в любви ты носишь в себе самом целый мир. В один прекрасный день ты просыпаешься, забыв о той, кого ласкал вчера, и только душа твоя трепещет от творчества. В наших ласках искал ты его, этот таинственный путь ввысь. Всегда ввысь. Любовь для тебя была только красками мира, а не миром, как для нас.

Видишь? Я поняла тебя. Пусть мне больно! Боль пройдет. Ты дал мне понять впервые то, что я смутно угадывала в словах другого, которые я заучила наизусть. Но мертво звучат эти слова для тех, кто — как я — боятся любви и видят в ней роковую силу, побеждающую женщину. Умом я постигаю сущность слов. Душа моя кричит: «Жажду вечности!» Но этой вечности ты мне не дашь.

Прощай, Гаральд. Благословляю тебя за все, что ты дал мне: за слезы и страдания, за бессонные ночи, за эту борьбу с собой, за этот долгий путь во тьме. Я вышла на свет. Я вижу свою дорогу впереди. Иди один. Наши пути не встретятся. Но ты меня не забудешь. Я обогатила твой мир. Я нежданно подарила тебе сокровище, которое ты тщетно просил у других женщин. Из моего чувства ты сделаешь звучный сонет, быть может поэму. И я прочту ее когда-нибудь, с печальной улыбкой, вдали от тебя. Прощай. Ты поймешь, почему я хочу расстаться с тобой именно сейчас, не охладев, а полюбив тебя. И я не забуду тебя, Гаральд! В минуты отчаяния и усталости (их много будет впереди, и это знаю) я буду вспоминать твой упорный профиль, твою суровую душу, твою великую любовь к тому, что вечно и недоступно, как гори. Пусть поддержит память о тебе, если снова, побежденная жизнью и этой проклятой любовью, я буду лежать, как сейчас, на земле, жалкая и раздавленная!

Прощай!

Из груди моей невольно рвется крик:

Ave Caesar! Morituri te salutet!^[37]

Когда автомобиль останавливается у ворот, Штейнбах не может сразу выйти. У него потемнело в глазах, голова кружится. Дыхание перехватило... Он должен тут же раскрыть свой саквояж, выпить капли и отдышаться.

Весь разбитый, поднимается он в лифте. По коридору идет, замедляя шаги, тяжелой, не своей, походкой. И, остановившись у дверей Мани, медлит одно мгновенье. Потом стучит.

— Войдите, — слышит он чужой, монотонный голос.

Но он помнит его хорошо. Слишком хорошо.

Он глядит с порога.

Маня у камина сидит вполуоборот, почти спиной к двери. Она даже не оглянулась. Ее согнувшиеся плечи, упавшие на колени руки, ее поникшая голова — все говорит о катастрофе, о борьбе и поражении.

— Маня, — тихо зовет он.

Она медленно встала. Но не кинулась навстречу, не бросилась ему на грудь (он так именно по дороге сюда рисовал себе эту встречу). Она глядит на него через комнату, держась за спинку кресла. И в этом бледном лице холод и усталость.

— Здравствуй, Марк! Спасибо, что приехал.

— Ты позвала меня. Как я мог не приехать?

Он берет в обе руки ее голову, долго-долго глядит в ее мрачные глаза. Потом целует ее лоб и ресницы. Она бесстрастно принимает эту ласку.

— Разве ты все тот же, Марк? — спрашивает она.

— Да, Маня. Я все тот же.

Она думает о чем-то... Кладет ему руки на плечи.

— Несмотря ни на что?

— Несмотря ни на что. Есть только одно страдание, которого я не вынесу. Это разлука с тобой. Остальное уже отболело.

Она жмет его руки и, отвернувшись, глядит в окно.

— Ты угадал и на этот раз. Я хотела вернуть тебе свободу.

— Мне свободу? Зачем?

— Если ты, — она переводит на него свой взгляд, такой пустой и далекий взгляд, — увлекся в свою очередь кем-нибудь.

— Я?

— Ну да, разве это так невозможно?

Она ждет мгновение, глядя в окно. Он молчит, пронизывая ее острым взором. «Она знает что-то», — мелькает догадка.

Маня чувствует, как холодеют его пальцы в ее руках.

— Я все тот же, Маня, — тихо говорит он наконец. — Ничто, даже страсть твоя к другому, даже то, что принято называть изменой, не поколебало ни на одно мгновение, понимаешь? Ни на одно мгновение моего чувства. Я остался тебе верен. И об одном молю тебя; все предай забвению. Пусть это будет сон.

Пока он это говорит, она смотрит напряженно в его зрачки. Словно силится разглядеть истинное лицо его души. Вольная улыбка растягивает ее напряженные черты.

— Разденься, Марк! Потом приди сюда. Нам надо говорить серьезно.

Когда он возвращается через двадцать минут, она сидит на кушетке, обхватив руками колени, вся склонившись вперед, задумчиво глядя перед собой. На ней плюшевый капот цвета мха, с воротником из венецианских кружев. Волосы собраны в греческий узел на затылке. Видна полная небрежность в туалете и прическе. Ему кажется даже, что она подурнела, что она состарилась.

Его трясет. Он подходит к печке и прислоняется к кафелю, заложив одну руку за борт пиджака, чтобы Маня не могла заметить его дрожи.

— Разве ты свободна нынче, Маня? Нет репетиций?

— Я послала вчера записку в дирекцию, что больна. Все спектакли с моими ролями отменены на время. Здесь были все. И Нильс... Я никого не

приняла.

Голос ее пугает Штейнбаха еще больше, чем лицо. Так мало в нем жизни. Вспоминается невольно разрыв ее с Нелидовым. Такая же маска. Те же деревянные звуки.

— Марк, это ты был в маскараде... тогда?

— Странно, что ты узнала меня! Мне казалось, что ты была вне времени и пространства.

— А как ты догадался, что мы встретимся?

— Очень просто: твою телеграмму к Гаральду я перехватил в швейцарской, куда ее отнесла Полина. И сам отправил ее.

Маня поднимает голову.

— Зачем ты это сделал?

Он пожимает плечами.

— Разве у меня был выбор? Но я должен был видеть вас вместе. Цель оправдывает средства.

— Я разве виню тебя? Я только удивляюсь. Он бледно улыбается.

— Почему я рисовал себе иначе нашу встречу? Я ждал, что ты кинешься мне на грудь, словно прося защиты и забвенья всего, что разделяло нас. Сознаюсь, мне больно разочароваться.

— Прости, Марк. Я устала. Я точно вся парализована.

— Так, — говорит он после паузы. — Но почему твоя телеграмма показалась мне криком отчаяния? И это тоже было ошибкой?

— Нет. Ты не ошибся. Мне было страшно остаться одной.

— А где же Гаральд?

— Уехал. Мы никогда больше не увидимся. И это решила я.

Последняя фраза поражает Штейнбаха. Несколько раз он пытается заговорить. Губы его дрожат.

Не замечая его волнения, далекая и беззвучная, она по-прежнему сидит, обхватив руками колени, и смотрит на ковер.

— Я знал, что будет так, и что в своем увлечении ты дойдешь до конца.

— Зачем же ты ушел, если знал? — бесстрастно спрашивает она.

— А разве ты не была благодарна за это? Загляни в свое сердце и ответь. Сможешь ли ты за это упрекнуть меня? Не надо ответа! Я и так знаю все. Но Гаральда я не боялся, Маня. Хочешь, скажу правду? Я его не боялся. Я знал, что ты вернешься ко мне, измученная и неудовлетворенная. Да. Тебе — такой, как ты сейчас, — господина не надо. Тебе нужен раб.

Она поднимает голову. Горечь его тона достигает ее сознания. Но он тотчас овладевает собой.

— У тебя не женская душа, Маня. Ты не создана для ярма, как тысячи средних женщин. Тебе нужна власть, свобода. Ты требуешь обожания, подчинения. Ты к нему привыкла. Последние годы твоя жизнь была борьбой за признание, за свое место в мире. Все это плохие условия для развития женственного начала твоей души. И этот враг твой, самый страшный враг талантливой личности — *женственность* — еще дремлет. Ей не пришло время проснуться и сломать твою жизнь.

Теперь Маня внимательно смотрит на Штейнбаха. То, что он говорит и как он это говорит, невольно гонит ее душевное оцепенение.

— Так ты предполагаешь, что *она* все-таки проснется?

— Нет! Боже оборони! Я этого не думаю. Я ничего не предрешаю. Иногда у меня срываются слова. Не обращай внимания! Мои нервы немного расстроены.

Она ждет чего-то, вся насторожившись.

— Мне вспоминается твой роман с Нелидовым.

«Я знала, что ты заговоришь об этом», — думает Маня, опуская глаза.

— Твоя страсть к нему не была случайностью. Нет. Она фатальна. Надо глубоко заглянуть, чтоб понять тайну твоего влечения к нему, твою жажду рабства перед ним.

— Я поняла, — тихо срывается у Мани.

Он зорко смотрит на нее издали.

— Знаешь, я много думал о прошлом весь этот месяц.

Он смолкает внезапно.

— Ты боишься, Марк, что если мы встретимся когда-нибудь...

Она хочет улыбнуться. Выходит гримаса. С мгновенно исказившимся от боли лицом он перебивает:

— Напротив, я глубоко верю, что, найдя себя в творчестве и постоянно работая над собою в этом направлении, ты наконец восторжествуешь как личность. Женщина в тебе незаметно умрет, та женщина, которой нужен господин, которая жаждет жертвы и подчинения. Для такой любви у тебя есть Нина. И вся эта история с Гаральдом только подтверждает мои слова. Он был... как бы это сказать? Он был скалой, о которую разбилась волна твоего чувства, твоей страсти. Ты инстинктом поняла, что будешь для него не целью, как для меня, а средством, что он извлечет из тебя все, что нужно ему. И, пресытившись, пойдет дальше, не оставив тебе ни одного уголка в своей душе. Душе гордой и холодной. Словом, он поступил бы с тобой так, как ты поступаешь со всеми, кто тебя любит. Разве это неправда? Разве я не сразу оценил и взвесил все, чем мне грозит твое увлечение? Моя борьба за тебя была только в покорности, в терпении и в выдержке. Ты не должна

была знать о моих страданиях и ревности. Таких, как ты, это только ожесточает. Я знал, что делаю, устранившись с твоей дороги. Уходя, я выигрывал. Оставаясь здесь, я терял все.

— Я никогда не переставала любить тебя, Марк, — говорит она, и матовый звук ее голоса словно согревается.

— Я очень тронут, — с усмешкой отвечает он. И опять кладет зябнущую руку за борт пиджака.

— И могу я задавать вопросы, Маня? — после короткой паузы спрашивает он.

Она молча наклоняет голову.

— Почему ты несчастна?

В долгой напряженной тишине слышен треск распадающихся углей. У Штейнбаха вдруг слабеют ноги. Он садится в кресло, у камина.

— Разве ты не достигла всего, к чему стремилась? Твой счастливый голос, твой смех, когда ты говорила по телефону, не обманули меня. Я верил, что, удовлетворив свой каприз, ты, как все художники, почерпнешь в этой страсти новые силы и блеск, что твоему таланту и темпераменту нужно, как огню, вечно питаться этими прямыми ощущениями. Я все это передумал. И понял. Ты не одна такая. Все артисты, если они не мещане по натуре, нуждаются в нервном возбуждении. Что же случилось? Почему ты больна и измучена? И опять охладела к искусству? Или ты еще увлечена Гаральдом? Тогда зачем ты решила расстаться? Маня, отвечай, ради Бога! Я тоже весь измучен. И неизвестность хуже всего. Она поднимает голову, не меняя позы.

— Это не было капризом или увлечением. Это была любовь.

Его тело, все напрягшееся в ожидании ответа, бессильно опускается в кресле. Наступает тишина. Но Маня не хочет ее прервать. Все замерло в ее душе. И даже жалости нет к тому, кто там, у камина, сжался в раздавленный комок.

— Ты удивлен, Марк? Я это чувствую. Для меня самой это было ударом. В ту минуту, когда я, казалось, излечилась уже от моей страсти, пришло то, чего я боялась всего больше в мире: нежность, жалость, потребность жертвы — словом, любовь. И я позвала тебя, Марк. Ты верно понял. Это был крик утопающего. Потому что для таких, как я, любовь и гибель — одно.

— Слушаю, и все кажется, что это сон. Страшный, но прекрасный сон. И это говорит та самая Маня, которая когда-то, страдая от любви, только в смерти видела исход? Чувствуешь ли ты сама, как ты выросла за эти годы? Понимаешь ли ты значение этой победы? Это была последняя ступень

башни. Теперь ты наверху. Мир перед тобой.

Она горько качает головой.

— Жалки такие победители.

— Все вернется, Маня. Будь мужественна! Теперь, скажу откровенно, теперь я уже не боюсь за тебя.

Штейнбах встает и ходит по комнате.

— Здесь есть все-таки что-то, чего я не понял. Ты полюбила. А он?

— Да, это странно. И у него из ненависти родилась любовь, которой он так боялся. И, заметь, он полюбил меня такую, как я есть, без иллюзий, со всеми моими слабостями, возмущавшими его раньше. Меня, меня, а не свою фантазию. Это было прекрасно и страшно. Страшно потому, что я еще хочу жить. Хочу бороться, работать, а не исчезнуть в Гаральде, не раствориться в моем чувстве. Должно быть, инстинкт самосохранения заговорил во мне. И я решила разорвать.

— Но как мог он отказаться от тебя?!

— Он уехал, ничего не зная о моем решении. Когда вернется, я буду уже далеко. О, я отлично понимаю, что и Гаральду нужна раба, нужна весталка, обязанная день и ночь поддерживать священный огонь. Эта роль, Марк, не по мне. У меня есть свое призвание. Он зовет меня к новой жизни. Но мое прошлое богаче и полнее того, что он мне обещает. Что в этой новой жизни может сравниться с красотой моей борьбы и достижений? Скажи, что? Любовь? О, да! Это счастье. Но долго ли оно продлится? И я ее уже знала. Испытать вновь ревность? Вновь терять иллюзии? Вновь пройти весь этот скорбный путь? Нет! Не могу больше! Не могу...

— Ты его никогда не любила! — убежденно срывается у Штейнбаха. — Не возражай! Не спорь. Это головное чувство. Настоящая любовь, назовем ее, пожалуй, «органической», — не рассуждает, не взвешивает, не боится жертв. Она их просто не замечает. Ты по-настоящему любила только Нелидова.

Слабая усмешка дрожит в ее лице.

— Не помню кто сказал, что головные страсти самые сильные.

Штейнбах словно замирает на другом конце комнаты.

— Но, видишь ли, Марк? Я уже не верю в любовь. «Все или ничего!» — вот был мой девиз когда-то. Я и теперь жажду того же. Но это крик сердца. А разум говорит другое. Я уже не девочка, Марк. Я состарилась душой. Я созрела. Любя, как сейчас, я уже вижу впереди конец. Точно степь ночью, и в ней костер. Он так красив и так ярко греет стынущую душу. Но ведь я знаю, что погаснет костер. И опять ночь жадно обнимет

меня и задушит. Вот эта ночь, Марк. Я до сих пор не забыла ее немого лица. Помнишь тогда, когда я одиноко уходила в Вечность...

— Молчи! Ради Бога, молчи!

В одно мгновение он рядом и держит ее холодные руки.

— А теперь, после моего признания, как будем мы с тобой дальше, Марк? — печально улыбаясь, спрашивает она.

Он отодвигается невольно.

— Не понимаю твоего вопроса.

— Каковы твои решения?

— Ты смеешься надо мною! Какие могут быть решения у меня? Разве не отказался я давно от своей воли? Я хочу одного: остаться рядом с тобой, все равно, в качестве кого. Другом, братом, любовником, — хочет он сказать, но смолкает. Импресарио твоим, наконец, или мажордомом...

— К чему горечь, Марк?

Он встает, схватившись за голову.

— Какая тут горечь! Я вижу совершенно ясно: без тебя и Нины нет жизни, нет цели. Быть может, ты презираешь меня за это? Я и сам презираю себя. Ты думаешь, что я не мечтал сорвать с себя эти цепи? Не пробовал забыть тебя?

Она ниже склоняет голову, чтоб он не мог видеть ее лица.

— Напрасный труд! Что бы ты ни делала, как бы ты ни унижала меня, если бы даже ты каждый день отдавалась другому, все равно! Вне тебя нет смысла жизни. Я околдован...

Она поднимает лицо. Все оцепенение исчезло.

— И ты ни разу не стремился сам начать новую жизнь?

Она видит, что он вздрогнул.

— Никогда, — через мгновение отвечает он твердо. — Без тебя? Никогда. Лучше горе, но с тобой, чем радость без тебя!

О, как легко ей от этих слов, от этого голоса! Душа ее, измученная одиночеством, ожесточившаяся в борьбе, вдруг смягчается. И торжествующая радость словно распахивает настежь дверь и окна в мрачном, наглухо заколоченном доме, навстречу теплу и свету. Наконец! Наконец! Он не разлюбил ее. Не разлюбит никогда. Все останется по-старому.

Но это длится один миг. Лицо ее гаснет. Усталость растягивает напряженные мышцы. С вздохом облегчения она ложится на кушетке, обняв подушку, прижавшись к ней щекой.

Обессиливующее безразличие обнимает вновь ее душу, обволакивает сознание. Но это отрадно. Заснуть бы теперь! У нее нет иных желаний.

Только чтоб голос Марка баюкал ее. Этот вкрадчивый, сдержанно-страстный, богатый голос, всегда волновавший ее, всегда подчинявший.

Штейнбах подходит тихонько и садится рядом. Не открывая таз, она протягивает руки и обнимает его голову.

Он прикивает к ней, как ребенок, измученный наказанием, когда жестокая, но любимая рука вдруг погладила его по голове. Сердце Мани бьется. Он это слышит. Для кого бьется оно сейчас?

— Маня, я скажу тебе еще...

— Говори, Марк! Говори.

— Когда ты разлюбила меня...

— Я никогда не переставала любить тебя, Марк.

— Все равно, когда я уехал, оставив тебя с Гаральдом, — говорит он, невольно почему-то понижая голос до шепота, — я старался понять, что связывает нас? Зачем ты говоришь со мной по телефону, любя другого? Почему, тоскуя о нем, ты вспоминаешь обо мне? И я понял, Маня, когда ты позвала меня, как господин, а я вернулся, как раб... Хочешь, я скажу тебе?

Она кивает головой, не открывая глаз.

— В нашей любви ты — мужчина. Я — женщина. — Ты приказываешь, я покоряюсь. И если я не могу жить без тебя, Маня, то и ты...

Она на мгновение открывает глаза и нежно, слабо улыбается.

Как хорошо, что он говорит так убежденно, с такой силой! Пусть думает за двоих! Пусть борется за двоих. Пусть решает. Она устала. Она изнемогла. Она рада подчиниться. Какой-нибудь выход должен быть. Он его найдет. Пока Марк с нею, все хорошо. Его рука крепка, и его сердце верно.

— Ты хочешь заснуть? — тихонько спрашивает он.

— Да, но не уходи. Сиди рядом. Обними меня. Мне холодно, Марк.

Ее зубы стучат. Он закрывает Маню пледом. Она лежит с закрытыми глазами, и тень от ресниц падает на похудевшие щеки.

Не совладав с порывом печали и нежности, он прижимается лицом к ее груди.

Опять, опять вдвоем, обнявшись тесно, как тогда, перед лицом Смерти. Он это знал. Он знал, что она снова позовет его, когда таинственные шаги зазвучат опять поблизости и ужас одиночества охватит ее.

Он думает, закрыв глаза: «Благодарю тебя, жизнь, за то, что ты приберегла на мою долю хотя бы эти минуты».

И, точно угадав его мысли, она вдруг открывает глаза, полные мрака и

тревоги. И спрашивает:

— Ты не покинешь меня, Марк? Никогда? Ни для кого?

— Никогда. Ни для кого.

Они долго молчат, обнявшись еще теснее и горестнее.

«Заснула», — думает он.

Вдруг она говорит, как в бреду, полушепотом:

— Все это сон, Марк?

Мгновенно встает перед ним картина прошлого. Украинская ночь. Беседка. Звезды вверху. Жаркие объятия. И страстный шепот.

— Сон, — чуть внятно отвечает он. И сердце его стучит. Он ждет дальнейших слов, как заклинания.

И слышит опять печальный шепот:

— Нас разлучит только смерть?

— Смерть, — отвечает он, как эхо, весь во власти прошлого.

Зина Липенко уже с четверть часа сидит у Мани, добиваясь ее согласия устроить благотворительный концерт до отъезда труппы из Петербурга.

Маня отказывается. У нее нет энергии. Она еще совсем больна.

— Вы давно видели Дору?

— Вчера.

— Скажите откровенно, как она? Все это... помните, тогда, на выставке? Говорила она вам что-нибудь?

— Вы были жестоки с нею. Сначала я вас поддерживала. Но потом, когда мы вышли с нею... Я никогда не видела ее в таком отчаянии. Она насилу доехала до дому.

Маня закрывает лицо руками.

— Вы правы. Я была жестока.

«Я была безумна, — думает она. — Ревность и страсть — это безумие, наплывающее на нас из мрака. Лицо нашей души искажается. И просыпается зверь...»

— Дора — девушка или замужняя?

— Разведена. Она была очень несчастна в прошлом. И сейчас еще не может оправиться и забыть детей. У нее их трое. Но она и перед этой жертвой не остановилась, чтоб стать личностью. Я высоко ценю ее. О, она застрахована от увлечений! Она так настрадалась, что уж никому не пожертвует своей свободой. Она презирает мужчин и все их уловки. Она не сдается.

«А я не знала, что мы с Дорой сестры, — грустно думает Маня. — Все мы бродим впотьмах. И, сталкиваясь, клянем друг друга в своей слепоте и

озлоблении. И не чувствуем, что должны идти рука об руку вперед. Боже мой! Когда же мы, женщины, выберемся из этого тесного ущелья? Когда поднимемся на гору и увидим солнце?»

Вернувшись из театра, Штейнбах долго не может заснуть. Тщетно читает он скучный рассказ. Тщетно, погасив электричество, лежит с закрытыми глазами. Сердце бьется.

Надо положить компресс и принять капли.

Гостиница замирает постепенно. Бьет два часа. Гудки автомобилей раздаются реже. Внизу запирают ресторан. И посетители разъезжаются.

Почему он не может уснуть?

В коридоре тихо. Дверь в комнату Мани закрыта. И он слышит каждый звук, легкий скрип ее кровати. Она спит.

Штейнбах сбрасывает согревшийся компресс, тушит огонь и закрывает глаза.

Вдруг толчок в сердце. Он садится мгновенно.

Лия... Как мог он забыть о ней? Он старается припомнить. Четыре дня уже прошло с тех пор, как они расстались. Он обещал дать телеграмму. Но в катастрофе, обрушившейся на его голову, в крушении своего личного счастья, он не заметил маленькой раздавленной жизни. Он забыл о робком чувстве, не требовавшем ничего.

«Какая низость! — говорит он вслух. — Она ждала. Завтра встать раньше. Телеграфировать скорее. Ах, если бы заснуть!»

Он засыпает наконец.

...И снится ему, что он идет по какому-то городу. Странно знакомы, и в то же время чужды ему эти улицы, эти дома и церкви. Он ищет Лию. Он должен ее найти. Но нет нигде его маленькой Лии.

...Он бредет усталый, измученный. Туман плотной пеленой поднялся над городом. День еще не умер, а сумерки ползут. И все выше поднимается плотная пелена тумана, вливая в душу безнадежность. Прохожих не видно. Загадочно и одиноко звучат где-то рядом шаги. Выплывают внезапно бледные лица, какие-то женские фигуры. «Это ты?» — хочет спросить Штейнбах. Но, печально глянув ему в глаза, они скрываются навеки в тумане. И он опять один.

...Нет сил молчать! Нет сил идти дальше в тумане, в этой жуткой тишине, с этим гнетом в груди! Бежать скорее! Бежать, разорвать сомкнувшееся кольцо безнадежности. Лия где-то там. Она ждет. Только громко позвать. И лицо ее выглянет из тумана. И он бежит, протянув руки.

...Туман расступается и смыкается вновь. Что-то задело по лицу. А!

Голая ветка. Он оглядывается. Наконец! Знакомый бульвар. Его лента утонула в молочной пелене. Но теперь он найдет дорогу.

...Вот липы, под которыми они гуляли. Вороны зловеще каркают вверху. «Где Лия?» — спрашивает он. Они смеются в ответ. Какие-то седые призраки встают вдали. Не надо бояться. Она прогонит их. Она развернет белые крылья.

— Лия! Сюда! — кричит он в смертельной тоске.

И просыпается.

Сердце бьется медленно, почти замирая.

Он ходит по комнате. Откидывает штору, смотрит в окно. Который час?

Уже четыре. Он спускает шторы. Свет электричества внизу озаряет комнату. Так лучше. Неприятен мрак, когда такие перебои.

Он ложится опять, закрывает глаза.

Коридор безмолвен. Вся жизнь в гостинице остановилась. И тишина так глубока, что он слышит через дверь и стену мерное дыхание соседа.

...Вдруг воздух шевельнулся, словно отворилась дверь и кто-то вошел.

«Пустяки. Дверь заперта», — думает он в дремоте.

Кто-то вздохнул близко. Так горестно вздохнул.

«Кто здесь?» — тихонько спрашивает он. И открывает глаза.

...В ногах сидит женщина. Но он знает, что это не Маня. Свет электричества с улицы призрачными бликами падает на маленькое синевато-бледное личико с таинственными глазами.

Лия! Милая... В белом платье, с невинным вырезом около шеи. С белыми цветами в руках.

— Как ты нарядна! Здравствуй. Ах, знаю! Вспомнил. Ты была в концерте? В твоём концерте, для которого я обещал вернуться. Прости! Я забыл о нём. Я все забыл, моя маленькая Лия. Но ты простишь меня?

Она молчит, загадочно глядя на него. И синие блики дрожат в её таинственных зрачках.

— Почему ты молчишь? И зачем глядишь с таким укором? Я скоро вернусь к тебе и вес исполню, что обещал.

Она молчит. И не мигают её темные глаза.

— Ты не веришь, Лия? Ах, чем убедить тебя в моем раскаянии? Я сделал низость. Но ты прости. Все вернется: алые закаты, лунные ночи, серебряный лес. Опять зазвонят струны твоей дивной скрипки и будут баюкать меня. И начнется моя двойная жизнь, которую я обещал тебе.

Она все молчит, с безжизненными, поблескивающими глазами.

И вдруг холод наполнил комнату. Точно дверь открыли в погреб. И

сердце Штейнбаха начинает немать от тоски.

«Не гляди так!» — хочет он крикнуть в невыразимом ужасе.

Но она встает. Склоняется над ним. Ее рука ложится на его сердце. Ее рука, холодная как льдинка.

И сердце его останавливается.

И в ту же секунду он слышит далекий скрип затворяющейся двери.

И от этого звука он просыпается, с остановившимся дыханием.

Он вскакивает, озираясь. Он ждет. Сердце остановилось.

Проходит миг, другой. И вот оно стукнуло слабо и робко. И стало биться, трепыхая и замирая, как полураздавленная бабочка на дорожке сада.

«Кошмар, — думает он. — Я слишком устал страдать...»

Дрожащей рукой он зажигает электричество у постели. Подходит к двери в коридор.

Конечно, заперто.

Он пьет воду, и чувствует, что лоб его покрыт холодным потом.

***.

Утром в девять часов Штейнбах посылает телеграмму:

«Я ВЕРНУСЬ ЧЕРЕЗ НЕДЕЛЮ, В СРЕДУ, ДОРОГАЯ ЛИЯ. БУДУ ЖДАТЬ ВАС НА БУЛЬВАРЕ В ТРИ ЧАСА. Я ВСЕ ТОТ ЖЕ. ПРОСТИТЕ МНЕ МОЕ МОЛЧАНИЕ. ВСЕ ОБЪЯСНЮ ПОТОМ. ВЕДЬ ВЫ ПРОСТИТЕ МЕНЯ? ВАШ МАРК».

Штейнбах, греется у огня, глубоко сидя в кресле с пледом на ногах.

Маня уехала на репетицию одна. Он встал поздно, ссылаясь на головную боль. Эта ночь действительно разбила его.

Он словно поменялся ролями с Маней. Все эти дни, пока ее душа под влиянием разных встреч освобождалась постепенно от оцепенения, вызванного разрывом с Гаральдом, нервное возбуждение Штейнбаха угасало — как будто вдруг ослабла в нем какая-то стальная пружина, долго напряженно державшаяся.

Сколько надо сил и любви, чтоб отстоять в третий раз душу Мани от надвигающегося призрака безумия, когда он сам, в слепоте отчаяния, перестает видеть впереди свою дорогу, свою цель!

Но разве он сам не терял силы? Все эти годы, в сущности, были одной сплошной борьбой, незаметной для постороннего глаза, но упорной и

тяжкой, как труд рудокопа в недрах земли. Любовь? Не ли и она иногда слишком тяжелым бременем для уставшего сердца?

«Я старюсь», — говорит он себе. И все чаще, все неотступнее в эти минуты душевной прострации встает перед ним маленькая Лия, с ее таинственными глазами, с ее робкой любовью, не требующей ничего. Он видит пустынный переулок, фасад старого дома, резные перила деревянной лестницы. Он видит сумерки в холодной стильной комнате, огонь камина. Лия сидит на скамеечке, у его ног. И так тихо, так скорбно и сладко быть рядом с нею! Миром веет на него от этой картины. Скорее бы увидеть ее! Вновь прижать к себе ее дорогую головку. Быть любимым. Быть желанным. Первым и единственным. Как мог он забыть о ней?

Иногда, закрыв глаза, он почти доходит до галлюцинаций. Слышится шелест. Точно шепот ее. Он открывает глаза. И горько вздыхает.

Написать ей, чем-нибудь выразить нежность?

Потом, потом. Нет сил встать. Нет сил сесть за стол, говорить о своем чувстве. Все равно, слова будут бледны. Все равно она ждет. Она знает, что никогда не сможет он отказаться от нее теперь. Он поведет двойную жизнь, полную обмана и лжи. И что бы ни вышло потом из этих отношений, он не откажется от нее.

Маня вернулась с репетиции и ложится на кушетку, истощенная физически и нравственно.

Какая пустыня этот Петербург! Как тяжело ехать по улицам, где она каталась с Гаральдом, видеть те же здания, подниматься по той же лестнице. Все осталось по-старому. И жизнь бежит мимо, не считаясь с ее тоской и отчаянием. Кто выведет ее из этого тупика, где она бьется, замученная воспоминаниями?

Стучат.

— Войдите, — с отвращением бросает она, не поднимаясь. Даже глаз открыть не хочется.

Кто-то кашляет. Так осторожно.

Она поднимает веки. И мгновенно садится на кушетке, вся выпрямившись, полуоткрыв губы, вытянув шею. Словно смутное ускользающее видение далекого детства встало перед нею.

— Позвольте вам представиться. Петров, старый знакомый Штейнбаха, — говорит вошедший глубоким, мягким баритоном.

— Садитесь, пожалуйста, — еле слышно бросает она, указывая на кресло.

И все смотрит, смотрит, полная тревоги. «Как он глядит на меня! Он меня знает?» Ему на вид лет тридцать пять. Широкоплечий, среднего роста.

Целая шапка русских, вьющихся волос. Усы не скрывают крупного чувственного рта. Лоб у него низкий и упорный, с сильно развитыми надбровными дугами. Выдающееся лицо крупного артиста или человека сильных, разрушительных страстей. Глаза серые, горячие и острые.

«Страшные глаза. Вот такой на всякое преступление пойдет», — мелькает мысль у Мани.

И вдруг она вспоминает, что эта самая мысль пришла ей и тогда, много лет назад. Она вспоминает разом все: террасу в Лысогорах, именины Веры Филипповны, гостей Горленко, роскошную пальму, подарок Штейнбаха, привезенную рабочим из Москвы. И запыленную фигуру этого рабочего на корточках, развязывавшего рогожи.

Потом мгновенно встает другая картина.

...Флигелек Лики в Липовке. Темная ночь и освещенное окно. Лица и Анна Васильевна замерли у стола. Маня и Соня стоят под окном и смотрят. Он берет звучные аккорды на мандолине. Поднимает голову. Дерзкие, «страшные», сейчас смягчившиеся, глаза вдохновенно глядят в темную ночь. Что они видят там? Это против законов физики, но Мане чудится почему-то, что он глядит в ее глаза, что он поет для нее.

Могучий баритон, мягкий и звучный, как виолончель, льется в сумрак ночи, что-то будя, колдуя.

«Ах!» — испуганно срывается у Мани. Она вспомнила.

— Вы ко мне или к Штейнбаху? — тихо спрашивает она, проводя по глазам, словно сияясь проснуться.

— К вам.

И он вдруг улыбается. Робко и нежно. И что-то говорит.

И опять она словно застывает, вся во власти воспоминаний.

Странная картина встала перед ней.

Она еще девочка. Ей только пятнадцать лет. Соне шестнадцать. Она видит большую залу в доме Роберта Яковлевича, брата фрау Кеслер.

В полночь девочки босиком пробираются в залу.

Декабрьская ночь темна и зловеща. Ни один фонарь не освещает улицы. Дрожа от стужи, девочки прильнули к окнам. И слушают слепую ночь.

Все тихо, как на кладбище. Вдруг вдали раздаются шаги. О, как четко, как громко звучат они в этой тьме, в этой тишине, напряженной, как струна! Кто это идет? Как смеет идти в эту ночь, когда даже стены — ненадежная защита для людей? Девочки невольно хватаются за руки. Быстрые шаги все ближе. Кто-то молодой и смелый идет упругой походкой. Кто-то полный сил.

И вдруг ночь дрогнула...

И будешь ты царицей мы-ира..

— внезапно под окнами раздается могучий баритон.

Тра-та... та... та... защелкало из тьмы. Наискосок блеснули и погасли искры. Со звоном разлетается крайнее окно. И пуля ударяется в стену залы.

Девочки падают на пол.

Ночь молчит, слепая и предательская, тая измену и смерть.

А он что-то говорит своим глубоким, низким голосом.

Маня опять проводит рукой по лицу, словно снимая паутину.

— Простите. Я ничего не слышала. Но это не важно. Главное то, что я вас знаю давно.

— Я тоже помню вас. На какую высоту подняла вас жизнь! Никогда я не думал, что вы вспомните меня. Память какая! Мы виделись всего одну минуту.

— Нет-нет. Вы не знаете. Я много, я страстно думала о вас еще раньше. Вы снились мне, ваш голос, ваш чудный голос. Вы удивлены? Мы с Соней так часто говорили о вас. И я плакала.

Он поражен, но доверчиво придвигается к ней.

— Вы плакали обо мне? Но что же вы знали?

— Ах, это было так страшно! Помните одну декабрьскую ночь в девятьсот пятом году?

Он смотрит упорно, потемневшими зрачками. Он ждет.

— Вы шли по Тверской. Наискосок была засада. Вы запели...

— Что за чудеса? Где же были вы тогда?

— Над вами, во втором этаже. Мы с Соней слышали ваше пение и выстрелы. Вы смолкли. Мы были уверены, что вы убиты.

На этот раз он проводит рукой по глазам.

— Вот что... Да, — после паузы говорит он дрогнувшим голосом. — Как странно судьба сплетает нити жизней!

— Мы с Соней так благоговейно любили вас! — срывается у Мани.

И Петров видит прекрасное лицо и сияющие глаза.

Его руки невольно протягиваются к Мане.

— Славная минута! — мягко шепчет он, пожимая ее руки. — За многое она меня вознаграждает. Вот вы теперь передо мной открылись вся, до самой глубины сердца. И что мне за дело, что вы знаменитость, а я

лишенный всех прав, с чужим паспортом в кармане?

Он встает и начинает ходить неровными шагами, то останавливаясь, то вновь кружась по комнате:

— Я чувствую, что вы нам не чужая, вы нам ближе многих, дававших Ганнибалову клятву и позорно изменивших, когда мы очутились внизу. Перед тем, как прийти к вам с моим делом, во сколько дверей толкнулся я! Все это были прежние «товарищи». Теперь разжиревшие адвокаты, доктора, расширившие практику, получившие хлебные места инженеры. Они смотрели на меня, кто со страхом, как на выходца с того света, кто — с ненавистью, как на врага, угрожавшего их благополучию. Если б я нуждался в куске хлеба, они бросили бы мне подачку, знаю. Но они не дали бы мне крова хотя бы на одну ночь. Я для них — кошмар. Все забыто. В глубокую яму столкнули они все лозунги, за которые мы боролись. И забросали яму грязью. Ах, что говорить!

Он проводит рукой по шапке волос. И Маня видит гневное, суровое лицо.

Вдруг он взглядывает на нее, и опять ласково смеются его глаза.

— Славный народ женщины! Они изменились меньше. Огонек в них еще не потух. Они стойко держатся, и на них рассчитывать можно. Послушайте, мы будем встречаться?

— О, конечно! Я так рада... Вы для меня — дивный сон.

Петров молчит несколько мгновений, удивленный этими словами и интонацией, угадывая за ними что-то сложное и большое. Но время не терпит. Его ждут.

Он подходит и садится опять.

— Мария Сергеевна. Могу я вас звать так?

— Да, да, конечно.

— А ведь я к вам с самой прозаической просьбой. Вас предупреждала Зина Липенко?

Ее глаза словно вспыхивают.

— Так это вы, «вернувшийся из Парижа»?

— Я самый.

— О, конечно, я сделаю все! Мы это устроим так. Я попрошу Штейнбаха и дирекцию дать мне бенефис на днях, перед отъездом в Москву. Я отказалась от него. Но теперь передумала. Весь сбор, а он будет огромный, я передам вам в руки. Хорошо?

Он радостно смеется, ероша густую шапку своих волос.

— Ну вот. Я так и знал. Я говорил Липенко и всем им, что вы не могли измениться. Мне Анна Васильевна говорили еще тогда, что вы были

прелестным ребенком. И самые высокие порывы были вам доступны.

— Нет. И она не знала меня. Меня знает только Соня. И вы правы. Я когда-то мечтала пойти по вашей дороге. Жизнь решила иначе. А может быть, у меня не было вашего огня в душе, вашей веры. Во всяком случае, страха я не знаю. И о какой бы услуге вы ни попросили меня, помните: я не откажу вам никогда, ни при каких условиях!

Он взволнованно смотрит ей в глаза и потом молча целует ее руку.

И у нее такое чувство, словно в душной, тесной, мрачной клетке, куда втиснула ее страсть к Гаральду, вдруг распахнули окно. И она увидела небо, солнце, далекую ширь.

В сырое и печальное утро Штейнбах и Маня выходят на дебаркадер.

Трудно поверить, что через два дня Рождество. Внезапно наступившая оттепель и южный ветер. Сеет снег. Улицы грязны, дома унылы. Темные стены точно плачут от сырости. Но Маня с трепетом смотрит на знакомые картины из окна автомобиля, мчащего их на Пречистенку.

Вот и дом. Маня бежит вверх. С криком радости кидается в объятия Агаты.

— Нина? Нина?

— Только что проснулась. Тише! Ты ее испугаешь. Куда ты, безумная женщина?

Но Маня вырывается и бежит в детскую в мантию и шляпе.

— Му-у! — удивленно-радостно говорит Ниночка, вся розовая и заспанная, сидя на коленях бонны, которая натягивает чулочек на крохотную ножку, словно перевязанную ниточкой у ступни. С криком Маня падает на колени и прижимает девочку к груди. Бонна растерянно отодвигается. Маня обхватывает голые колени ребенка, припадает к ним лицом и безумно рыдает.

Нина оттопырила нижнюю губку и не знает, что ей делать, смеяться или плакать самой.

Вбегает фрау Кеслер и останавливается, пораженная.

О чем плачет эта женщина, которой судьба дала все?

Город по-прежнему окутан больным туманом, когда Штейнбах в назначенный час спешит на свидание с Лией.

Из труб уныло каплет. День еще не умер, но сумерки уже ползут. И все выше поднимается плотная пелена тумана, вливая в душу безнадежность.

Вот и бульвар. Протяжно и зловеще каркают вороны, кружась над липами. «Все это уж было когда-то, — думает Штейнбах. — И этот туман,

и эта тоска. Но где? Когда?»

Кто-то идет рядом и позади. Лиц не видно. Загадочно и одиноко звучат шаги. Выплывают внезапно смутные фигуры. И тонут опять в сомкнувшемся тумане. И Штейнбаху все время кажется, что он один на бульваре.

Под деревьями вверху дрожат пятна зажженных фонарей. Они не светят, а только печально мигают, словно заплаканные глаза. «Какой унылый день!» — думает Штейнбах, и сердце его сжимается.

Он идет до конца бульвара медленно и нерешительно. Внимательно озирается. Осторожно вглядывается в лица. Все скамьи отсырели. Отчего ее нет?

Он бродит около получаса. Доходит до консерватории. Берет извозчика, слезает у Никитских ворот, и опять с болезненно бьющимся сердцем проходит оба бульвара. Почти задыхаясь, подходит он к заветной скамье.

Никого.

А может быть, она сейчас тут сидела? Может быть, они сейчас были рядом и потеряли друг друга в тумане? Он смотрит на оголенную липу, склонившую серые черные ветки над одинокой скамьей. И опять что-то вспомнилось, что-то пережитое недавно, что-то жуткое.

Он хочет идти дальше. Но останавливается с внезапным отчаянием.

Разошлись. Это так легко в сумерках и в тумане.

Он подходит к фонарю, вынимает часы. Скоро пять. В консерватории занятия кончаются в четыре.

Больна?

Вороны зловеще каркают вверху...

И вдруг ему вспоминается сон. Это карканье. «Скажите мне, где Лия?» Этот туман, эти призрачные фигуры, эта тоска.

Больна. Сомнение мгновенно перерастает в уверенность. Он вспоминает, как долго ждала она его в тот морозный день, сидя на скамье. На этой самой скамье. Он вспоминает ее кашель, ее застывшие ручки, озноб. И эту прогулку в серебряном лесу.

Он уже понял. Он все понял теперь. И он бежит назад к площади. Как не догадался он еще час назад, когда сердце его сжалось от предчувствия? Она не могла его предупредить. Она не знает его имени, его адреса. Честная и гордая, она не нарушила договора.

Когда он подъезжает к знакомому домику и смотрит вверх, он видит темные окна. Или это спущены шторы? Или она ушла и не вернулась? Сердце его бьется, и в ушах звенит от его биенья, когда он поднимается по

лестнице.

Прежде чем позвонить, он стоит один миг как оглушенный, закрыв глаза. Что затопило его душу? Какая жгучая, темная волна? Любовь ли это? Или жалость?

Он звонит и ждет.

Никого. Она ушла. Она его ищет. Они разошлись.

Он хочет уже уйти. Но рука его опять машинально дергает звонок. И он сам его слышит. Нервный, просящий, пронзительный звонок.

И дверь отворяется неожиданно.

Штейнбах видит перед собой чужое старое лицо и темные глаза, полные женского любопытства. Эта старушка совсем не страшна. Она даже красива. Но почему-то ужас — гнетущий, непонятный, сковывающий ужас, какой бывает только в кошмаре, внезапно стискивает ледяными пальцами сердце Штейнбаха и лишает его речи.

Одно мгновенье, оба вытянув шеи и почти не дыша, они вглядываются друг в друга.

— Войдите, — говорит она тихонько.

Он снимает шапку и переступает порог. И уже из передней он видит на мольберте свое лицо, преображенное любящей рукой, прекрасное и юное, каким оно никогда не было в жизни. А перед мольбертом его корзина с белыми цветами, уже увядающими, наполовину мертвыми.

— Войдите, — повторяет старушка, делая бессознательно красивые жесты светской женщины.

Он сбрасывает пальто и входит. Машинально садится он на указанный ему стул и смотрит на старушку.

Она стройна. У нее еще совсем юная фигура. Ее черное шелковое платье совершенно смято, как будто она спала в нем, не раздеваясь. Кружевной подштопанный воротник слегка разорван и съехал набок. Седые локоны развились, и заколки нет. Глаза глядят на гостя с ожиданием. Совсем еще молодые темные глаза.

— Так это вы... Марк? — спрашивает она тихо-тихо, как во сне. — Да, это вы. Вы похожи на портрет. Я вас ждала нынче. Вот лежит ваша телеграмма.

Штейнбах встает внезапно.

— Где Лия?

— Ах, вы разве не знаете? Она умерла. Да, умерла. Мы схоронили ее. Она лежит теперь на Ваганьковском кладбище, рядом с отцом. Она так любила это кладбище. Всегда весной мы там гуляли.

Штейнбах садится и закрывает лицо.

— Когда умерла она? — еле слышно спрашивает он после долгого молчания.

— Постойте, у меня все спуталось в голове. Помню, она кашляла всю ночь и не пошла в консерваторию. А на днях должен был состояться ее концерт. Кто-то пришел за билетом, а она в жару и двинуться не может. Послали за доктором. Он сказал: «Быстротечная чахотка». Она была давно больна и не береглась. Доктор сказал: «Нет спасения».

— Она умерла в памяти? — снова после долгой паузы спрашивает Штейнбах.

— Да, в полном сознании. Ваш портрет стоял в ногах, а рядом цветы. И она все смотрела на вас. И как она ждала эту телеграмму!

— В котором часу она умерла? — перебивает Штейнбах.

— Ночью. Не помню хорошенько.

— Ее похоронили в белом платье?

— Да-да. Откуда вы знаете? Она заказала его для концерта и не надевала ни разу.

— И в руках белые цветы?

— Да-да. Ландыши. Это ей принесли подруги. Она была так хороша в гробу! И какие это были удивительные похороны. На счет консерватории. Белый гроб, венки. И цветы, цветы. Весь хор отпевал ее и шел за гробом. Профессора, директор, подруги. Это было так прекрасно. Она очень любила вас, monsieur Marc. Это была строгая девушка. Она вся с головой ушла в свое искусство. И большая будущность открывалась перед нею. Как жаль, что вы никогда не слышали ее в концерте! Она мечтала играть перед вами. И платье заказала, думая только о вас. Взгляните! Я ничего не изменила в этой комнате. Умирая, она твердила мне: «Жди его. Он придет». И камин я топила каждый день к четверем часам. Она так велела. Ах, он погас! Сейчас я позову Дашу.

— Не надо, — говорит он, открывая лицо. Старушка покорно садится.

— Сколько раз я говорила ей: «Напиши ему. Напиши. И он вернется». Она не хотела.

У Штейнбаха вырывается стон. Он озирается... Все осталось по-прежнему. Но Лии нет. И не будет.

А рядом сидит одинокая старушка, не осознавшая еще всей огромности своей утраты. «Надо подумать о ней...»

— Что вы будете делать дальше? — спрашивает он. И голос его хрипл и суров.

Она растерянно разводит холеными руками.

— Ах, monsieur Marc! Я ничего не знаю. В столе я нашла двести

рублей. Это целое богатство для меня сейчас. Должно быть, она успела продать билеты. Мы всегда жили на эти деньги от концерта. И она получила стипендию. Мать оставила ей *une petite somme* [38]. Но мы прожили все за эти пять лет. Я возила Лию в Давос. Мы обе были непрактичны. Но ведь мы так верили. Мы говорили себе: «Недолго терпеть».

Слезы вдруг наполняют ее глаза, бегут по дряблым щекам и капают на кружевной воротник. Кажется, будто только в эту минуту одинокая женщина заглянула в лицо будущего.

— Monsieur Marc, — говорит она, вынимая платок, — у меня к вам большая просьба: найдите мне жильца. Я так привыкла к этому дому. Мы здесь живем уже семь лет, с тех пор как Люба осиротела и мы покинули ее родину. Конечно, я знаю, сейчас перед праздником... Но, может быть, потом, когда съедутся студенты...

— Нет, нет, — перебивает Штейнбах. — Оставьте комнату за мной. Все как было. И не трогайте здесь ни одной вещицы.

Она улыбается сквозь слезы и благодарно кивает головой.

— Ах, если б Люба это знала! Умирая, она все шептала: «Как будешь ты жить без меня? Возьми жильца». Она и в последнюю минуту думала обо мне. Да... вот еще, monsieur Marc. У вас наверно много знакомых артистов. Не найдете ли вы покупателя? У нее чудная скрипка. Очень дорогая. Я отдала бы ее за полцены теперь.

— Нет. Не трогайте ее! Оставьте ее там, на рояле. Я тоже беру ее. Вы мне скажете потом, сколько она стоила. Ни одной вещи не продавайте, прошу вас.

— О, monsieur Marc! Как мне благодарить вас? Вот и все устроилось. А когда вы переедете? — подхватывает она, вся оживляясь, видя, что Штейнбах встает и берет шапку.

— Я адвокат Берг. Эта комната нужна мне. Я не перееду. Я буду только ходить сюда, чтобы отдыхать от дел. Вот возьмите. Это за три месяца вперед. Не говорите никому, что я жилец ваш. Деньги за скрипку я принесу на днях.

Он оглядывается и видит на столе свою распечатанную телеграмму.

— Она ничего не оставила? Ни записок, ни дневника?

— Ах, Боже мой! Вот письмо для вас.

Она быстро, как девушка, бежит к письменному столу и выдвигает ящик.

— Она все твердила: «Не забудь отдать». А я вот и позабыла. Вот оно. А здесь ее дневник, письма... Она их очень любила. Я ничего не трону,

monsieur Marc... если это для вас интересно. Вот ключ от стола.

Он стоит, закрыв лицо рукой, держа в другой письмо. И она видит, как дрожат его руки.

— Оставьте меня, — через силу говорит он.

Письмо Лиу

Марк, я умираю. Сейчас ушел доктор. Я взглянула в жалкие глаза бабушки и все поняла. Надежды, нет. Я умру.

Где ты? Куда писать? Страшно... Ведь это письмо ты прочтешь, когда меня уже не будет! Что это значит? Не будет... Куда уйду я, Марк? Страшно... Не могу согреться. Ничего не могу понять. Какая коротенькая жизнь! Ведь еще ничего не...

Здесь письмо обрывалось. Между первой и второй его частью прошло несколько часов. Быть может, сутки.

...Я это знала. Помнишь ту ночь в лесу? Я поняла, что все кончено и что ты уходишь от меня. И я позвала Смерть. Я почувствовала ее близко где-то, в мертвом лесу. И она пошла за мной. И когда я вошла в комнату, я поняла, что она уже здесь...

Ослабевшим почерком и уже другими чернилами она писала дальше:

Прощай, Марк! Я видела тебя счастливым, и мне уже нет места в твоей жизни. Не вернутся больше закаты, лунные ночи, наши прогулки, поездка в лес. Я это знала. Я знала все. Одно только терзает меня: я умираю, не узнав любви. Я так мечтала рука об руку с тобой подняться на вершину жизни. В твоих объятиях я жаждала сгореть. Быть уничтоженной твоей лаской. Боли, слез, страданий от тебя ждала я. Ты не захотел.

Прощай! Ты не забудешь меня никогда. Знаю и это. Если бы я осталась жить, мое лицо стерлось бы из твоей памяти в той сутолоке жизни, куда ты ушел от меня. Но мертвую ты не забудешь. И в этом есть для меня горькая радость. Ах, если б еще раз, в последний раз прижаться к твоей груди, к твоим рукам. Люблю тебя. Люблю... Мои последние слезы, мои

последние порывы тебе... тебе...

Она кончала это письмо уже на другой день. И по почерку, бледному, словно гаснущие краски дня, можно было видеть, как силы покидали умиравшую.

*...Если есть жизнь за гробом и бессмертна моя душа — я приду к тебе, взгляну в твои глаза и унесу твой образ во мрак, который уже надвигается. И мне не будет так страшно...
Марк... Марк... Как мы одиноки...*

Меня похоронят на любимом кладбище. Я буду тихо лежать под березами и слушать, как падает снег. И я узнаю шаги твои. Ты горестно станешь на колени и склонишься головой к земле. И мне станет легко. О, я знаю. Теперь ты не забудешь меня!

Приходи ко мне весной на закате, когда сонно лепечут березы, засыпая. И слушай их лепет. Может быть, ты поймешь... Они расскажут тебе о том, что могло бы быть и чего не было...

Приди осенью, Марк! Я так любила осень. Сядь на скамейку за решеткой и гляди, как падают листья. Покорно, безмолвно падают они, тихонько кружась. Прежде чем лечь на землю и умереть, они вздыхают так глубоко. Счастливые листья. Они видели солнце...

Не могу больше... Сейчас лягу и засну. И твое лицо будет со мною... Приди же, Марк... Жду...

Он спускается по лестнице, согнувшись, как будто незримая тяжесть придавила его плечи.

Бессознательно выбирает он знакомую дорогу. Вот бульвар.

Штейнбах идет, и за ним смыкается туман. Пелена его стала еще плотнее, и даже свет фонарей бессилен ее пронизать. Вороны каркают над головой.

Она угадала. Если б она не умерла, образ ее стерся бы бесследно в его памяти, как дыхание на поверхности зеркала. Слишком много лиц глядело в его душу.

Но ее уже нет. Как греза, каким-то чудом вызванная из небытия его страстной тоской, она на мгновение предстала пред ним на последнем перепутье. И так же мгновенно развеялась. И ее нет.

Снежинки тают на его губах.

Он идет шаг за шагом по бульвару.

Вот эта скамья...

Он садится. Его голова опускается на грудь. Плечи сгорблены.

Не надо глядеть вдаль. Ждать уже нечего. Никто не выйдет навстречу с покорной, влюбленной улыбкой. Ничьи глаза не засияют ему теперь из тьмы надвигающегося вечера жизни. И не взмахнут больше на его дороге белые крылья Мечты.

Волнуясь, извиваясь, встают седые призраки. И ползут к нему, протягивая жадные руки.

Не надо глядеть вдаль. Она уже идет. Ты слышишь ее шаги? Она приближается. Печальная и одинокая, с серым увядшим лицом. Глаза ее померкли и губы бескровны.

Ты узнаешь ее — ту, которая отныне будет владеть твоей душой.

Имя ей — Старость.

КНИГА ШЕСТАЯ

— Маня, — говорит Штейнбах, — надеюсь, что ты не будешь жить отдельно, как в Париже. Мы пробудем здесь всего шесть недель. Я отдаю тебе и Нине весь верх. Мы с дядей остаемся внизу. Тебя это устраивает?

— Благодарю тебя, конечно, — отвечает она. Но в голосе ее все еще нет теплоты и жизни. И нет блеска в ее глазах.

Штейнбах чувствует, что она еще не забыла Гаральда. Не скоро закроется эта рана. Но у нее есть во что уйти от тоски воспоминаний. У нее осталось искусство. А где страна забвения, куда мог бы укрыться он сам от скорбного призрака Лии?

— Неужели болен? — огорченно спрашивает Маня, целуя Анну Сергеевну. — А я ложу привезла. Фрау Кеслер едет тоже. Как жаль! Ведь первое представление. Чем болен?

— Грипп. Но он уже поправился. Только выходить нельзя.

— Выйду, выйду! — кричит Петр Сергеевич из кабинета. — Красавица какая! — говорит он, целуя Маню. — Это что? Ложа? Спасибо! Для такого случая стоит рискнуть.

— Никакого риска. Я пришлю за вами автомобиль.

— Воображаю! Овации, цветы. Заранее волнуюсь, — смеется Петр Сергеевич, потирая руки. И сразу становится похожим на старичка. — Пока лежал больной, всю литературу о тебе перечел. Целый том. Все жених твой старается. Спасибо ему!

Маня делает большие глаза. Но молча снимает шляпу.

— Давно вернулась?

— Вчера. А как мама? — спрашивает Маня, и брови ее вздрагивают. — Когда можно навестить ее? Поедем, Петя, вместе!

И в голосе ее звучит страх, который она не может скрыть.

— А вот теперь вижу, что ты похудела. Больна была?

— Нет, Петя. Просто устала.

— Нелегкое, видно, ремесло?

Маня молчит, глядя рукав его пиджака. Анна Сергеевна всплескивает руками.

— Это ли трудно? До чего люди избаловались! Ты бы попробовала с утра до ночи бегать по урокам за тридцать рублей в месяц. Вот у тебя уже капитал есть, а много ли ты работала? А как жених? Поздравляю, сестричка! Что же ты молчала?

— Кто вам говорил, что у меня есть жених? Анна Сергеевна опять сердится.

— Ну, вот видите! Тайны от нас появились. Штейнбах был у нас. Когда это, Петя? Ну, недели три назад, и сказал, что ты дала ему слово. Скажешь, нет?

Маня равнодушно смотрит в окно.

— Я еще ничего не решила.

Удивленно переглядываются брат и сестра. И когда Маня уезжает, они долго и возбужденно спорят. Анна Сергеевна возмущается неблагодарностью Мани. Уж ей ли судьба не подарила всего, о чем может мечтать женщина! А она кажется несчастной. Петр Сергеевич печален. Он не возражает.

А Маня вернулась домой задумчивой и молчаливой. Опять с непобедимой силой, как тогда, в октябре, обступили ее воспоминания в тесной квартирке Ель-цовых. И настоящее, и недавнее отодвинулось и померкло. Бледным пятном смотрит на нее из этого тумана лицо Гаральда. И не болит сердце. Оно рванулось к прошлому. Образ Нелидова, его глаза, его голос преследуют ее. Она его видит во сне. И нет ни горечи, ни злобы в этих воспоминаниях. Их, впрочем, никогда не было. Одна только жгучая тоска о потерянном рае, каким рисовалась ей когда-то жизнь с Николенькой.

Она не хочет отдать себе отчета, почему тянет ее в эти стены. Но все свободные минуты она проводит у брата, в его кабинете, где когда-то, получив телеграмму Нелидова: *«Прошу вашей руки»*, — она пережила счастливейшую минуту своей жизни.

Но говорить о прошлом можно только с Соней. И Маня на другой же день едет по ее адресу.

Какое разочарование! Соня уехала на праздники в Лысогоры.

Нынче Маня в приподнятом настроении, чего давно уже не было с нею. Шла «Сказка» Гаральда, и в театре были Петр Сергеевич, Анна Сергеевна и Агата. Их наивный восторг так захватил Маню, что она напросилась к брату пить чай и позвала Нильса. Штейнбах не поехал, ссылаясь на головную боль. Одну из бесчисленных корзин цветов, поднесенных Мане, она привезла брату. Он так любит цветы!

— Вот где ты жила, волшебница моя, — говорит Нильс, когда они на минуту остаются вдвоем в столовой. — Как скромно все! Как просто! Манечка, жизнь моя...

— Тише! — испуганно останавливает Маня, отстраняясь. Но по лицу вошедшей сестры она догадывается, что та видела жест Нильса и слышала его страстный тон.

Анна Сергеевна думает, что поняла. С Нильсом она суха. Ее шокирует, что артисты говорят друг другу «ты».

После спектакля Маня подъезжает к дому Штейнбаха. Месяц уже поднялся высоко, и на снегу пустынного переулка четко отпечатались чужие тени.

Маня выходит из автомобиля, видит эту тень и внезапно останавливается. Не входя в ворота, куда уже въехал экипаж, не замечая дворника, удивленно переглядывающегося с ночным сторожем, она смотрит то на черную кружевную тень на снегу, то на узорчатую решетку и на облитый лунным светом дом там, вдали. Он похож на рыцарский замок, стильный и строгий. За его башнями темнеют оголенные деревья сада.

И Маня вдруг вспоминает тот вечер, когда она впервые вошла в этот дом. В ее жизни это был роковой час, сделавший неизбежным разрыв с Нелидовым. Вся жизнь ее с того момента пошла по другому пути. О, Боже, Боже! Как давно это было! И все-таки, все-таки — как могла она забыть хоть на мгновение, что в этом доме решила ее судьба?

С жутким чувством входит она на ступени крыльца и звонит. В обширной передней оглядывается, расширив глаза. Враждебностью веет на нее от этих темных стен, от роскошной лестницы, ведущей вверх. Она медленно идет, стараясь что-то вспомнить.

В этом доме почувствовала она тогда что-то важное. Было ли это предчувствие роковой развязки, ее попытки покончить с собой? Где источник этого мистического ужаса и холода, который по пятам шел за нею в тот вечер и не покинул ее даже в квартире брата? И разве не в ту ночь созрела ее решимость? И разве не на другое утро, воспользовавшись отсутствием брата, она выкрала у него яд?

Лакей зажигает электричество на лестнице. Но она не хочет подняться к себе. Что-то надо додумать, выяснить.

— Марк Александрович еще не вернулся?

— Никак нет.

— А Иосиф Львович?

— Они спят.

Беззвучно скользит Маня мимо комнаты дяди и входит в кабинет. У двери она быстро поворачивает выключатель. Все дрожит у нее внутри. Еще одно мгновение в темноте, и она не удержала бы крика ужаса. Так ясно ей кажется, что она здесь не одна.

Тем не менее, комната пуста. Марк перешел сюда, уступив ей свой кабинет наверху. И вся обстановка осталась там. Он взял себе только письменный стол, кресло и...

Маня глядит с порога на портрет, стоящий на мольберте. И через комнату, из тяжелой золоченой рамы, словно живое, смотрит на нее скорбное лицо женщины. Иссиня-черные волосы правильными бандо лежат вдоль матово-белых щек. В раскинутых тонких бровях, в сжатых, горьких линиях рта — красноречивый трагизм побежденных жизнью. Бездонные глаза, полные мрака, щурятся на Маню. Как будто угрожают.

— Мне? — невольно шепчет Маня, вытягивая шею и боясь приблизиться. — Ты грозишь мне? Чем? Что ты знаешь?

Из золоченой рамы с тайной угрозой щурятся на нее те же бездонные зрачки.

Маня отходит к окну и оглядывается на портрет. Глаза как живые следят за нею.

Виски Мани мгновенно делаются влажными. «Чего боюсь? Ведь это иллюзия». Она пробует смеяться. Нет! Она не может забыть своего первого тайного ужаса, уже испытанного ею когда-то перед этим портретом. Ровно неделю спустя после первого посещения этого дома Маня отравилась.

Она идет к двери. Глаза враждебно следят за нею.

Она не в силах потушить огонь и пройти темным коридором. Еще мгновение, и она уже бежит, точно кто гонится за нею. Она мчится на огонь к освещенной лестнице.

Вдруг отворяется дверь. Темный силуэт дяди.

Она кидается к старику и прячет лицо на его груди.

— Страшно! — жалобно срывается у нее.

— Вот. Я это почувствовал. Я всегда знаю, когда тебе грозит беда.

Она закидывает голову и смотрит в его глаза, такие же таинственные и бездонные, как там, на портрете.

— Ты знаешь, как она умерла? — шепчет Маня.

— Кто?

— Сестра твоя. Мать Марка. Скажи, скажи! Она покончила с собой? Да? Да? Молчишь? Почему? Ты же знаешь? А! Теперь я поняла. Теперь я все поняла!

Он закрывает ее глаза ладонью.

— Не надо об этом думать! Не надо!

Радость ушла из этого дома. Только смех Ниночки или капризный плач ее да энергичные распоряжения Агаты нарушают тишину огромных

комнат, где каждый про себя переживает свою драму.

Счастлив только старый дядя. Он видит Маню каждый день. Он тихонько крадется к ней наверх, когда, вернувшись с репетиции, она лежит в полутьме, отдыхая перед обедом. И его присутствие никогда не тяготит ее. Он не говорит банальных, ненужных слов, как Агата, не капризничает, как Нина, требуя напряженного внимания, не терзает ее душу, как Штейнбах, памятью прошлого. Перед ним не стыдно плакать потихоньку, уткнувшись лицом в подушку софы. Он не расскажет никому. И сам ни о чем не спросит. Но кто знает? Быть может, он лучше всех поймет ужас, охвативший ее. Это бессилие перед грозной жизнью. Кто скажет, какая мудрость таится в этой темной душе, которая ей ближе трезвой Агаты и жизнерадостного Нильса?

Кроткий и печальный, всегда беззвучный, он так гармонирует с этими сумерками, с задумчивой тишиной больших комнат, гаснущим камином, торопливой речью маятника, напоминающего, что жизнь идет. Идет и уходит, не разрешив загадки, не дав удовлетворения.

Она любит, приоткрыв усталые веки, видеть в углу полутемной комнаты, в кресле, его силуэт, шапку седых вьющихся волос над высоким лбом, резной профиль, глаза без дна и блеска. «Какой был красавец, должно быть!» Двойник Штейнбаха, словом, но двойник бесполой, не знающий ревности, не страдающий от измены, не терзающий ее душу бесплодной жалостью, не предъявляющий никаких прав. И в то же время любящий безмерно и мистически неуловимыми путями перенесший на нее нежность к умершим. Она для него — сон жизни. Он для нее — прекрасный символ любви, самоотверженной, бескорыстной и бесполой — единственной, какая нужна сейчас ее исстрадавшейся душе.

Для них обоих эти часы молчания — лучшие часы дня, когда душа, сосредоточившись в себе, вырывается из плена жизни и как бы заглядывает в глубины подсознания, в загадочный мир, где дремлют наши замыслы, наши страсти и инстинкты; где зреют наши будущие поступки; где скрыты тайны нашего Я!

— Не надо думать об этом! Не надо! — сказал он как-то раз и погрозил Мане бледным пальцем.

— О чем думать? — спросила она, взмахнув ресницами и вздрогнув от неожиданности.

— Не надо. Это все равно что с башни смотреть вниз.

Она молча закрыла глаза, подавленная, испуганная. Как мог он угадать ее скорбные мысли?

Кто, Таинственный, связал их души? Кто соединил их пути?

— Почему ты его так любишь? — спрашивает фрау Кеслер. — А я вот не могу привыкнуть.

— Не понимаю. Он уже совсем здоров. Чего его бояться, когда и больной, он всегда кроток? Вот Нина тоже любит его.

— Нина — дитя. Много ль ей надо? Маня странно улыбается.

— И мне, Агата, тоже надо немного. Хочешь я тебе расскажу маленький эпизод из моего детства?

— Ну-ну, — улыбается фрау Кеслер, садясь и разглаживая складки платья на коленях.

— Помню, меня за что-то больно побила мать. Кажется, за шоколадные конфеты, которые я у нее украла. Я убежала в сад, это было вечером, упала на землю и долго рыдала. А когда я подняла глаза, я увидела, что все небо горит звездами. И эти звезды говорят мне так ясно: «Стоит ли плакать, когда мы сияем в небе?» И знаешь, Агата? Я впервые тогда поняла моим детским умом, что есть Вечность. Помню, я обхватила руками колени и, сидя на земле, глядела в небо в каком-то экстазе. Меня нашли только через час, почти окоченевшую от сырости и тумана.

— И ты хочешь сказать...

— Когда я смотрю на него, все страдания мои, все волнения начинают казаться ничтожными. Жизнь кажется мне коротенькой станцией на долгом и тревожном пути. А Смерть распахивает двери в Неведомое. И я ничего не боюсь. Я тогда опять сильна, Агата...

Но и в загадочной жизни меланхолика есть свои особенности, к которым здоровые люди должны применяться.

В известные часы старик идет бродить. И никакая погода не может удержать его. Сколько раз Штейнбах сталкивался в сумерках на бульваре со стариком! Но тот проходил, не видя его. Шел равномерной походкой, опустив голову, словно ища на земле следы тех, кто ушел навеки туда, откуда нет возврата. А он, вечный странник, обреченный на одиночество, всем чужой, всем непонятный, все еще идет. И нет для него усталости. И нет ему покоя.

В Липовке и ее окрестностях не было дороги, которую не исходил бы этот больной старик. С особенной силой эта страсть к бродяжничеству охватывала его перед закатом солнца. Вторично уже ночью, перед сном. К его ярко, как чудовищный глаз, горевшему фонарику, внезапно выставшему из темноты, уже давно привыкли в Липовке. И это мышечное беспокойство, эта потребность двигаться, казалось, бесцельные

и неудержимые, как страсть, — была чертой, по утверждению Шарко ^[39] и целого ряда психиатров, присущей многим, страдающим меланхолией. По всем большим дорогам Европы, во все времена года в Средние века бродили эти озабоченные, тревожные, странные фигуры людей, искавших далекого счастья, покидавших реальное ради призрачного, никогда не знавших удовлетворения, с безмерной тоской в запавших глазах. И этот типичный образ послужил к возникновению легенды о Вечном Жиде. Штейнбах знал, что это явление болезненное. Но после жестокой, месяцами длившейся меланхолии — когда дядя прятался от людей, отказывался от пищи, дрожал и плакал или упорно безмолвствовал в угрюмой замкнутости — даже это бродяжничество казалось облегчением.

В Москве Штейнбах сначала боялся за дядю. Скоро, однако, он проследил его маршрут и успокоился. Старик неизменно спускался по Остоженке, шел мимо реки, потом подымался к храму Спасителя. И, обойдя линию бульваров, иногда до Страстного монастыря, смотря по погоде, — неизменно возвращался той же дорогой. Ночью, перед сном, он проделывал тот же путь, значительно, впрочем, сокращая его. Никакая погода его не останавливала. Раньше за ним крался в отдалении Андрей или дворник. Потом все успокоилось. Весь квартал знал эту высокую фигуру, с сутулыми плечами, в теплом пальто, эту длинную бороду, жуткие глаза. Когда шаги звучали в пустынном переулке и палка стучала по панели, дворники и городовые, ухмыляясь, шептали:

— Сумасшедший барин в обход пошел.

Маня в своей угрюмой тоске не могла все-таки не подметить перемены в самом Штейнбахе.

Он не живет. Он только существует.

Оказывая ей, дяде, Агате и Ниночке все знаки прежнего внимания, он уже не вносит в это души. Эта душа парализована чем-то. «Не мною, — понимает Маня с чуткостью, всегда отличающей ее. — У него своя рана. Своя тайна...»

Они видятся редко теперь. Он не провожает Маню на репетиции. Он только ездит на спектакли, и то не всегда. Все дни от трех до шести, до обеденного часа, он сидит у себя, запершись в кабинете.

Часы бьют четыре. Мелькает мысли: «Пора! Она ждет. Мороз сильный. Она простудится».

Он встает. И колдовство исчезает.

Некуда спешить. И нечего бояться. Она лежит в мерзлой земле, скованная нездешним холодом, печатью смерти отмеченная навеки. И не

страшны ей ни морозы, ни метели. Ни обманы, ни измены. Ни все печали земли.

Иногда он идет на Остоженку, в комнату Лии. У него свой ключ от квартиры. Бабушка Лии стучит в дверь и предлагает чаю. Он благодарит и отказывается. Она ходит на цыпочках и шикает на прислугу.

Если б Маня видела его лицо, когда он сидит так часами без огня, глядя в топящийся камин, она была бы поражена его сходством с дядей. И не только внешним сходством. В его глазах теперь появилось то же выражение неутолимой тоски, какое Маня видела в памятный вечер в Липовке, когда впервые безумный старик прошел мимо нее, глядя вдаль, на заходящее солнце, как бы ища исчезающие тени тех, кто радовал его здесь, на земле.

Месяц прошел, прежде чем Штейнбах решился наконец зажечь свечи и отомкнуть письменный стол Лии.

Со слабым звоном повернулся ключ. В лицо Штейнбаха пахнуло ароматом увядших роз. Весь ящик полон ими.

Синяя тетрадка. Дневник.

10-го ноября

Проявить свою личность в мире. Вот непреложный закон, данный нам свыше. И внутренний голос говорит мне: «Не в искусстве твой мир. В любви. Только там ты сильна и неуязвима. Нет смысла вне ее. Вне любви нет цели в мире...»

12-го ноября

Он только что ушел, но моя душа еще звучит. Боюсь шевельнуться, стукнуть стулом. Все слушаю эту песнь души.

Боже! Если тебе нужна моя жизнь для его счастья, возьми ее. Что еще могу я дать тебе за эти минуты?

Голова его опускается на синюю тетрадку.

В душу, страдающую и раздавленную тоской, внезапно вошла тишина. О, наконец! Без горечи он может думать о Лии.

Иронией ответила судьба на его мечту быть любимым. Он не сумел сбересть нечаянный дар. Но разве не все к лучшему?

Что изменилось бы, если б он вернулся раньше, а Лия осталась бы жива? Разве не сказал бы он ей через неделю, две, через месяц: «Прощай, Лия! Я должен уехать за границу с другой. И когда вернусь, не знаю».

Она ждала бы его, конечно. Но кто скажет, вернулся бы он? И если б вернулся, кто знает, показалась ли бы ему такой прекрасной, такой необходимой эта юная любовь. Не была бы она лишним бременем для его пресыщенной, усталой души? Смерть Лии сейчас была жестокой случайностью. Но охлаждение его и разрыв с ним она не захотела бы пережить. Любовь всегда трагедия для таких, как Лия.

«Она умерла, не проклиная меня. Так лучше! Так лучше...»

Погожий зимний день тихонько умирает. Алые блики зари еще реют на небе, еще дрожат в куполах, когда Штейнбах подходит к воротам кладбища.

Сторож ведет его мимо конторы и сворачивает с главной аллеи направо. Штейнбах невольно замедляет шаги. Страшно.

В руках у него венок живых цветов.

Мороз покрыл инеем деревья, как в день их первой встречи. Белое безмолвие города мертвых здесь, вдали от людей, от конторы, от церкви, начинает звучать, как натянутая струна, парализуя движения, чувства, мысль. Звук человеческих шагов по скрипящему снегу кажется оскорбительным.

— Тише! — невольно говорит Штейнбах, когда сторож, указывая на могилу, громко говорит: «Вот тут!»

Он отпускает его движением руки.

Здесь.

Маленький холмик, покрытый снегом. Снег всюду. На крестах и памятниках. На сучьях берез. Между могилами он лежит плотной пеленой, как символ забвения. И заботливо укрыл он простой деревянный крест, под которым спит Лия.

«Я здесь, Лия. Я пришел. Ты чувствуешь, что я здесь?..»

Он опускается на колени.

Страстные стремления и мечты о встрече. Грезы о двойной жизни, полной обмана. Что осталось от вас? Маленький холмик с простым деревянным крестом.

Где любовь Лии? Распылилась в мире эта дивная энергия. А где его любовь? Она уже гаснет.

Вороны каркают вверху, чуя оттепель. Алые лучи погасли. День умер. Сумерки плывут с востока. И голубым кажется мрамор снега.

Сколько времени прошло? Ни один звук внешнего мира не нарушает безмолвия кладбища. Но если прислушаться к звенящей тишине, покажется, что кто-то бродит беззвучно позади, мимо темнеющих памятников. Словно кто-то вздыхает.

«Лия. Ты? Прости меня, Лия. Из сердца уходит жар. Забываю твои слова, не стремлюсь к тебе.

Не тоскую, как прежде. Это жизнь, Лия. Страшная жизнь, которая смеется над всем высоким и светлым. Я скоро забуду тебя. И даже во сне ты не придешь ко мне в твоём белом платье, с твоим бледным лицом. С каждым днем все дальше будешь ты уходить от меня в туман. О, прости меня! Я бессилён бороться с жизнью. Я бессилён удержать мою тоску...

Красный глаз неугасимой лампы в чьём-то склепе вдруг выглянул из сумерек. Мистический ужас тихонько поднимается в душе.

Темнеет. Деревья сдвинулись. Точно шепчутся о чём-то. Город мертвых словно шевельнулся. Штейнбаху чудится, что памятники медленно поплыли к нему.

Что-то враждебное в этом молчании. Или в этом присутствии живого и страдающего человека есть что-то оскорбительное для тех, кто ушел из жизни?

Ледяное дыхание веет в лицо Штейнбаха. И сердце его сжимается, как в кошмаре. Но тоски уже нет. Той тоски, которой он боялся, избегая идти сюда.

Он кладет розы на снег, покрывающий маленький холмик.

Чьи-то шаги явственно звучат по хрустящему снегу.

„Сторож. Сейчас запрут ворота“, — с облегчением думает он.

„Лия, прощай! Я приду. Я скоро вернусь, моя Лия“.

Но, садясь в автомобиль, который повезет его домой, где живет Маня, а потом в театр, где он увидит ее рядом с Нильсом, — он чувствует, что и эти клятвы, шепотом над снежным холмиком, — ложь. Все ложь и самообман. И не скоро вернется он сюда, в безмолвное царство тех, кто ушел от ревности, от горести, от жгучих слез неудовлетворенной страсти.

Соня поднимается ей навстречу.

— Милая! Какая неожиданность! Когда вернулась?

— Только что с вокзала.

— Зато нынче увидишь меня в моих лучших номерах. Я интерпретирую „Орфея“. Пантомима. Очень трудно. Но это-то меня и захватило. Ах, Соня! Я только и живу, только и отдыхаю на сцене. И какая страшная, какая дивная музыка этого Глюка! Милая, приезжай нынче

непрерывно. У Марка своя ложа. Я буду играть для тебя. Для тебя, Агаты и для Пети. Знаешь, я его совсем околдовала. Да! Да! И горжусь, горжусь этой победой. А ты видела Марка, Соня?

— Где ж его увидеть? — вызывающе с порога перебивает фрау Кеслер. — Он совсем как дядя стал. Только тот вечером бродит, а этот днем.

— Что это значит? — тревожным полусшепотом спрашивает Соня, когда они остаются вдвоем.

Маня пожимает плечами.

— Он действительно изменился, хотя причин враждебности Агаты я совсем не вижу. Пусть бродит, если ему легче! У нас в доме слишком тяжело. И мы почти не видимся.

Она с тоской смотрит в потемневшее небо.

„Как изменилась! — думает Соня. — Марк страдает. Но и у нее нет счастья. Что разделило их? И неужели разрыв возможен?“

— Vite... vite! ^[40] — торопит Маня шофера, когда автомобиль сворачивает с шумных парижских бульваров в мирный квартал, где живет Иза.

Она бежит вверх по лестнице, исступленно звонит и ждет с замирающим сердцем. Вот послышались торопливые шаги негритянки. Дверь распахивается. Маня вскрикивает и в темной передней обхватывает шею ошеломленной Мими. Собачки с визгом кидаются Мане под ноги и разом стихают, когда она садится на корточки и целует их расчесанные головки.

— Милые вы мои. Милые, здравствуйте! Узнали меня... Трогательные зверушки! — смеясь и плача, лепечет она. Потом вдруг вскакивает, не слушая радостных причитаний Мими.

— Иза! Иза! — кричит она, мчась через желтый салон в спальню креолки.

За ней бегут Мими и собаки. Перепуганный попугай оглушительно орет что-то по-испански.

— Вот Содом! — говорит Нильс, останавливаясь на пороге и стягивая перчатки.

А Маня уже в объятиях Изы. Оторвется, взглянет на нее сияющими сквозь слезы глазами и опять обнимет. И целует мокрые ресницы креолки, ее глаза, жесткую гривку волос. И обе бессвязно что-то лепечут. И смеются, смеются».

Иза в блузе, нечесаная, босоногая, только успела умыться.

— Пустяки! Ты во всем прелесть! Пойдем к Нильсу скорее!

— Что ты? Такому красавцу показаться в неглиже? Мими, живее! Не копайся! — сердито кричит креолка горничной, которая натягивает ей на ногу шелковый чулок.

— Да не дергай ногой! Как же она тебя обует?

— Сеньора всегда так, — улыбается Мими.

— Не эти туфли. Другие давай! И блонду на голову.

— Персидский капот прежде, — напоминает Мима.

— Ты получила газеты из Вены?

— Ну, еще бы! Какой успех! — говорит креолка, качая головой, и серьги ее звенят. — Ах, Мими! Ну, что ты копаешься? Вот тут застегни. Да не так. Опять забыла про кнопку? Ах, черномазая дура!

Маня опять звонко хохочет. Иза переводит на нее гневные глаза. И сама начинает смеяться.

— Ты все та же, моя прелестная, моя дорогая Иза.

— С чего бы мне меняться? Нам, старухам, лишь бы все шло по-старому, день за днем, не нарушая привычек. Правда, Мими? — ласково спрашивает Иза, обнимая за шею служанку.

Мими скалит зубы и радостно кивает головой. Из салона доносится радостно-испуганный нервный лай и тревожный крик попугая.

— Что там такое? — шепчет Иза.

— Готово! — говорит Мими, торжественно отступая и любуясь своей сеньорой.

Когда они входят в салон, Нильс пробует играть в чехарду с собачками. Они немножко испуганы этими странными прыжками, но заинтересованы чрезвычайно. Какаду, шокированный поведением незнакомца, сердито трясет хохлом, перебирает лапками по бронзовым прутьям и выкрикивает все бранные слова, имеющиеся в его несложном лексиконе.

— Нильс, милый. Гордость моя. Радость! Здравствуй! — говорит Иза, глядя его голову, пока он по очереди целует все ее пальцы, унизанные кольцами. — Как я счастлива! Как я следила за вами обоими, сидя здесь, в своем углу, за вашим полетом следила. Я точно утка, которая вывела орлят. Сижу в болоте и смотрю в небо. Вы — дети мои. Вы оба — мои милые дети. Разве неправда? — спрашивает она, обнимая их обоих.

— Иза, я сейчас разревусь.

— И я за компанию, — дрогнувшим голосом подхватывает Нильс.

А Мими уже плачет, стоя в дверях.

— Дай платок, Мими! — сердито кричит креолка, тщетно пошарив в кармане. — Ах, дура! Никогда ничего не помнит.

Они сидят втроем в желтом салоне, перед круглым столом, на котором дымитесь шоколад в китайских драгоценных просвечивающих чашках.

Маня оглядывается со сладким и мучительным чувством. Вспоминается первый вечер, когда она вошла сюда с Марком и танцевала перед Изой. Та же пыль на венках, те же выцветшие ленты, те же портреты глядят на нее со стен. Ни один стул не сдвинут с места. Только в ее собственной душе прошел вихрь. Выросла она с того дня? Или стала беднее?

— Ах, когда увижу я вас в «Сказке»! Я и сейчас волнуюсь. А что дал вам импресарио? — говорит Иза.

Она всплескивает руками, узнав о цене.

— В мое время не платили таких денег, — задумчиво говорит она, прихлебывая остывший шоколад. — Теперь все увлеклись балетом. Это какое-то безумие. Ну, а когда же в Америку, Мань-я? «Фигаро» пишет, что вы оба приглашены в турне?

— Я еще не решила, — отвечает Маня, словно просыпаясь. — Мы проживем здесь до марта, потом поедem в Лондон, оттуда в Монте-Карло. Дальше не знаю. Я, видишь ли, ужасно устаю. Должно быть, это старость.

— Ха! Ха! Чудачка... А твой барон? Ты его еще не бросила?

Маня смотрит на Изу широко открытыми глазами. Нильс со злой усмешкой отвечает:

— Они, наверно, кого-нибудь вдвоем зарезали.

— Неужели замуж за него выйдешь? Ах, не делай этой глупости, Мань-я! Артистка должна быть всегда свободной.

Под шумок беседы Маня опять оглядывается, вся зачарованная настроением, охватившим ее в этих стенах. Вспоминаются вечера, которые она проводила здесь вдвоем с Изой, беседы об искусстве, мечты о будущем, эти беспредметные грезы над экзотическими открытками, изображавшими Восток и Египет; мечты о сфинксе, озаренном луной; о безмолвии пустыни; о перистых пальмах, столпившихся над Нилом. Тогда она была бедна и стремилась ко всем этим недоступным ей чудесам. Теперь весь мир открыт перед нею. И Гаральд там, на этом таинственном Востоке. Одинокий, больной. Быть может, угасающий Гаральд. Но душа ее уже не рвется ни к сфинксу, ни к пустыне, ни к пальмам. Не рвется даже к любимому когда-то человеку. Равнодушно думает она о том, кем недавно еще были полны ее сны и желанья. Все миновало. Она была богата, как Крез, когда ходила в рваных башмаках. Теперь у нее жемчуг на шее, а руки унизаны бриллиантами. Но душа ее пуста.

— Никаких перемен в школе? — рассеянно спрашивает она,

вставая. — Пойду, взгляну на классы.

Маня безмолвно обходит все классы. Здесь она работала, грезила, стремилась, боролась. И ей чудится, что только в этой борьбе и в этом достижении была вся прелесть жизни.

И опять день бежит за днем, торопливо и лихорадочно, среди репетиций, спектаклей, напряженной работы дома, перед зеркалом; у костюмера и парикмахера, среди фотографов и художников; среди льстивых журналистов, уже допускаемых теперь в уборную. Они бессильны повредить ее славе. Ей не надо унижаться до подкупов и заискивания перед ними.

И творить теперь легко. Образ Гаральда померк в душе Мани. И она вся отдается работе. Создает новые роли. Изучает Глюка, Вагнера. Выступает с громадным успехом в драматической пантомиме. Она читает все либретто, предлагаемые ей. Советуется с Нильсом и Марком. Предлагает авторам переделать то, чего она не «чувствует». И мечтает написать свое.

И странно! Эта лихорадочная работа и напряженное творчество точно убили в ней женщину. Спят ее желанья. Не дразнят сны.

С той ночи, когда она простилась с Гаральдом, ни разу губы ее не коснулись уст Марка. И они встречаются как товарищи. Они опять живут врозь, хотя видятся ежедневно. Маня осуществила свою мечту. В доме, который она сняла на три года, Агата с Ниной теперь живут внизу, и там же спальня Мани, ее будуар и столовая. А весь верх с огромными окнами разделен на ее приемную и мастерскую. Она учится ваянию, как мечтала об этом когда-то в Неаполитанском музее. Все свободные минуты она проводит в своей мастерской, Это ее святилище. И все здесь, как было в ее девичьих грезах: и камин с брошенной перед ним тигровой шкурой; и дорогие, мраморные статуи вдоль стен. И цветы, цветы, цветы. Здесь бывают только знаменитый скульптор Шапелен, занимающийся с Маней, Нильс, изредка, и Марк.

— Музыка! — кричит Ниночка, сходя с высокого стульчика и кидаясь к окнам столовой. За окном играет шарманка.

Фрау Кеслер спешит за Ниной, чтоб отнять у нее ложку, вымазанную шоколадом.

— Взгляни, Маня. Какой красавец!

Итальянец с бледным лицом и каштановыми кудрями до плеч играет, привлекая общее внимание. Его большие глаза поднимаются вверх на стук открываемых окон. Он снимает шляпу и ловит деньги. Как грациозны его

движения! Как ловки и рассчитаны его жесты! Он улыбается Ниночке.

— Я никогда не видала такого красавца, — говорит Агата. — Сейчас дам ему два франка. Как ему холодно, бедняжке, в его бархатной куртке!

Рука Мани конвульсивно сжимает плечо фрау Кеслер. Та удивленно оглядывается.

— Агата, позови его. Сейчас позови его сюда!

— Что за фантазия? Дай ему пять франков.

— Я так хочу! — кричит Маня, топая ногой. Она звонит и велит слуге привести шарманщика.

— Агата, слушай! Он сейчас придет. Покорми его, напои кофе. И скажи ему вот что... Ты слушаешь меня?

— Ну-ну, что ты там еще надумала, безумная женщина?

— Он должен мне позировать. Пусть бросит свое ремесло! Спроси его, что он выручает? Я дам ему в десять раз больше. Молчи! Молчи! Это тебя не касается. Он должен два часа в день позировать мне. Узнай его адрес, запиши. Не забудь! Я никогда не прощу тебе, если ты забудешь.

— Ну, еще бы! Выгони меня из-за шарманщика! Маня кидается ей на шею.

— Агата! Не сердись! Ведь он похож на Лоренцо.

— Какого Лоренцо?

— Ах, ты не помнишь! В Венеции, портрет, который я любила. Я сделаю из него статую.

— Вот дура! О чем же ты плачешь?

— Нет-нет! Я смеюсь. Видишь? Я смеюсь. Я счастлива.

Слышатся шаги за дверью. Входят Жюль и сконфуженный шарманщик. Маня убегает.

Фрау Кеслер сердится. Она услала Нину с бонной. Мало ли какую заразу в своих лохмотьях может принести этот нищий? Она угощает его. Он сперва конфузится, пораженный добротой синьоры, потом жадно ест. Фрау Кеслер жаль его. Такой здоровый, сильный парень слоняется без дела. Такой великолепный экземпляр человечества бродит по улицам, снискивая нищенское пропитание. Он один здесь, в Париже?

Нет. У него мать и две сестры, еще подростки. Они тоже ходят по городу. Одна играет на мандолине, другая поет.

Он жадно глядит на пирожное.

Фрау Кеслер подвигает ему вазу, наливает вина и кофе.

Он еще совсем молод. Его волосы вьются. Зубы сверкают в застенчивой улыбке. Глаза полны блеска, который исчезает с годами. Только двадцать? Агата дала бы ему больше, так мужественна его фигура.

Но лучше всего его профиль, подбородок и линия губ, изящных, утонченных и чувственных. Можно побожиться, что он незаконный сын какого-нибудь римского аристократа: так гордо его лицо, с высоким, чистым лбом; так малы его ноги. В его лице и манерах странно сочетаются женственная грация и мягкость с мужским темпераментом. Его тонкие ноздри дрожат и глаза искрятся, когда в рамке двери он видит Маню. Но, кивнув ему головой, она тотчас скрывается и манит фрау Кеслер.

— Условились? Он доволен платой?

— Еще бы! Но и жадные же эти итальянцы! В его глазах я поймала точно сожаление о том, что он мало запросил.

— Вели ему прийти завтра. Завтра я свободна.

— Почему же ты не выйдешь к нему?

— Нет-нет. Я не могу видеть его в этих лохмотьях!

И в лице Мани, и в игре ее в этот вечер отразилось новое смятение, охватившее ее душу, которая дремала так долго. Опять заискрился ее талант. Опять зазвучало ее тело в пламенном танце. Все газеты дали восторженные отзывы.

В эту ночь ей снится мрачный дворец в Венеции, куда она приехала больная, униженная жалостью окружающих, раздавленная презрением Нелидова. И жизнь без любви и рабства казалась ей бесконечной пустыней.

И вот она с роковым упорством женщины вновь пожелала этого рабства в любви к Марку. На развалинах этой любви она строила свое будущее. И в новом храме опять стоял старый кумир. Что видела она тогда в мире, кроме любви к Марку? Но мимо прошла женщина с рыжими волосами и белой кожей. И храм рухнул.

Она и сейчас помнит тут ночь, когда рыдала у пустой постели Штейнбаха. Какой жалкой, всем ненужной, какой лишней в мире чувствовала она себя тогда! И в этот страшный миг со стены старого дворца ей улыбнулся портрет графа Лоренцо. Он улыбнулся ей жестокой, чувственной улыбкой. Он загадочно поглядел в ее страдающие глаза холодным, твердым взглядом человека, знающего, куда он идет и чего он хочет. И перед нею вдруг открылся новый, неведомый ее современникам мир. Там люди не боялись жизни. Они брали ее с боя, как добычу. Они брали любовь, как свое право. Личность не растворялась в обществе, а расцветая, играла всеми красками, достигала всех целей, осуществляла все стремления, развертывала все возможности. Человек был самоцелью. Его переживания стояли в центре жизни. И на ее скорбный вопрос: «Кого любить? Кому отдать душу? Кому нести жертвы?» — он всем своим обликом ответил ей: «Себя люби. Потому что ты — целый мир. И нет

ничего вне этой краткой жизни, из которой нужно создать поэму или гимн».

На другой день шарманщик звонит в ранний час, назначенный синьорой. Фрау Кеслер велит Жюлю сделать ему ванну и переодеть в новое белье. Жюль не спрашивает, а только тонко улыбается, видя сконфуженное и сердитое лицо баварки.

«Ни с чем, решительно ни с чем не считается, сумасбродная женщина! — с сердцем думает она. — И в детстве была такой. Что подумают о ней? Конечно, гадости...»

В столовой она поит шарманщика кофе, кормит завтраком. И сердито смотрит на его ногти.

— Как вас звать?

— Энрико, синьора.

— Почему вы не вычистили ногтей?

Тот растерянно глядит на свои руки и краснеет.

— Идите за мной, вот сюда! Вот щетка, вот мыло, горячая вода в этом кране. Мойтесь! И уши тоже. Вымойте уши. Вы должны всегда быть чистым, когда приходите в этот дом. Синьора прогонит вас, если заметит грязь.

— Я постараюсь, синьора, — испуганно и покорно отвечает он.

Через час Агата привозит Энрико в автомобиле от парикмахера и костюмера. И Жюль не может подавить изумленного восклицания. Неужели этот красавец в белом атласном костюме XVI столетия, с длинными волосами, падающими на высокий воротник Валуа, в короткой красной бархатной мантии на плечах и со шпагой на боку, — грязный шарманщик?

Его ведут наверх, в мастерскую.

Маня увидела их из окна столовой.

— Ну, ступай! — говорит фрау Кеслер, входя. — Лепи свое сокровище. Господи! Вот чудачка! Побледнела даже.

— Агата, пойдем вместе! Скажи ему, чтобы он не смел говорить со мной! Понимаешь? Ни одного слова! Он убьет всю иллюзию, если раскроет рот.

— Да как же объяснить ему?

— Скажи, что я глухонемая, сумасшедшая... Все, что хочешь!

— Скажу. И не солгу на этот раз, — усмехается Агата.

Жюль приносит свежую глину и уходит. И только тогда Маня отворяет дверь мастерской. Она останавливается на пороге.

Боже, как он прекрасен! И этот жест, с каким он ей поклонился! Этому

не научишь. Только итальянцы могут быть так пластичны. И такое странное, загадочное сходство.

Она знаками показывает ему, чтобы он сел в кресло с высокой спинкой. Страх и любопытство поминутно меняют его черты. Она смотрит на него издали, серьезная, почти мрачная. Потом подходит вплотную, стройная и суровая, как весталка, в своем белом балахоне. Мягкими, но сильными руками поворачивает она его голову почти в профиль. Берет его напряженные руки и укладывает их на подлокотники кресла. Касается его пальцев. Они дрожат. Его пугают и радуют эти прикосновения. Синьора красива. От нее так сладко пахнет!

Маня работает целый час, совсем забыв, что перед нею живое и примитивное существо. Он таращит глаза, чтобы не заснуть. Руки его затекли и пальцы дергаются. Какая скука! На улице лучше. Конечно, здесь тепло и сидеть нетрудно. Но зато как свободно шагал он еще утром по бульварам! Как хорошо было зайти в кафе, переглянуться с Жаннетой.

Резкий стук. Он вздрагивает и открывает отяжелевшие веки. Синьора сердится. Она делает ему знак уйти и звонит. Потом выходит, не оглядываясь.

Внизу он тревожно спрашивает Жюля, где его плисовая куртка, старая шляпа и залатанная обувь? Жюль передает ему кафтан с новым костюмом и ведет в свою комнату.

— Вам легко даются деньги, — с завистью говорит он.

— Я боюсь проснуться, синьор, — отвечает Энрико.

Сеансы бывают раза три, четыре в неделю. И теперь Энрико уже сам ждет этих дней.

Вся его жизнь изменилась внезапно. Точно палочка волшебницы коснулась его плеча. Синьора Агата явилась в его мансарду и приказала удивленной безобразной старухе, матери Энрико, бросить все пожитки и переехать на новую квартиру. В ней салон, столовая, две спальни, ванна и кухня. Мать тотчас поселилась на кухне и отказалась взять прислугу.

С почтением и страхом прикасается она к красивым новым вещам, к мебели, к постелям, к буфету с посудой. Удивленно стоит перед гардеробом сына и качает головой. Она обходит ковры, боясь их запачкать, и никого не пускает в салон. Столовая тоже пустует. Они все едят на кухне, без столового белья и часто без посуды, из одного блюда, ложкой доставая свой скудный ризотто. Сын гордо занял постель в хорошенькой комнате, а сестры поместились в другой. Но они все еще ходят по улицам, зарабатывая на хлеб. Старуха суеверна. Счастье так капризно, и людям

нельзя доверять! Она по-своему поняла поведение синьоры. Совсем она не сумасшедшая. Просто у нее горячая кровь, и она любит красивых молодых людей.

— Это она? — спрашивает она сына, в первый раз проводив Агату и цинично усмехаясь.

— О, нет! Синьора молода и прекрасна. У нее такие мягкие руки. От нее так дивно пахнет.

И он мечтательно глядит перед собой.

— Не будь дураком! Бери деньги, пока дают. Бери больше! У этих женщин скоро проходят их капризы.

— Ну и паразит же этот твой Энрико! — смеется фрау Кеслер. — Пришлось дать ему еще денег.

— Бедное дитя! — шепчет Маня, радостно улыбаясь. — Я хочу, чтоб он был счастливым.

— Предвижу, что это «дитя» будет сосать тебя, как пиявка.

— Что такое деньги? Вздор! Я не хочу быть неблагодарной, Агата. Он дает мне так много одним поворотом головы, одним взмахом ресниц. А ты заметила его губы? Эти уголки, чуть приподнятые. Я иногда забудусь и гляжу на него.

— Воображаю, что этот дурак думает о тебе! Он еще не признался в любви?

— Агата! Ты с ума сошла? Да мы никогда не говорим. Мы объясняемся жестами.

Фрау Кеслер хохочет, запрокинув голову.

— Любовь не требует слов.

— Циник! — сердито говорит Маня. И щеки ее медленно загораются. — Впрочем, ты меня никогда не понимала. Я закричала бы от отвращения, если бы он дотронулся до меня.

Но фрау Кеслер мудра и знает жизнь. Она «не ходит над землей», как безумная Маня. Близость двух красивых, юных, полных жизни людей, интимность прикосновений, экстаз встречающихся взглядов, необычность обстановки, — может ли быть более благодарная почва для увлечения? И в горячей крови юноши скоро вспыхивает желание.

Статуя подвигается. Приходит скульптор и хвалит работу. Он исправляет ее, дает указания. Он с восторгом глядит на красавца-натурщика. Он предлагает ему позировать у него. Но Маня с загоревшимися глазами обрывает:

— Нет! Он мой! Этого я не позволю.

Скульптор смеется и пожимает плечами.

«Черт знает, что вообразил!» — думает Агата.

В этот день впервые Энрико слышит голос Мани. Богатый, страстный, горячий голос, согревший его сердце. Так это неправда, что она глухонемая? Почему же она никогда не говорит с ним?

Но он не забыл предложения скульптора. Завтракая, как всегда, в одиночестве, перед молчаливой Агатой, он на своем ломаном отвратительном жаргоне объясняет ей, что синьора Магiа лишила его заработка. А он бедный человек. И у него на руках семья.

Агата дорожит настроениями Мани. С тех пор как этот красавец появился в их отеле, Маня стала точь-в-точь такой, какой она знала ее в юности. Вернулись смех и жизнерадостность. Она поет и мечтает. Она едет в театр точно на праздник. Возвращается со счастливой, усталой улыбкой. И крепко спит всю ночь. А как ласкова со всеми! Слава Богу! Чем бы дитя ни тешилось. Очевидно, этой женщине грезы нужны, как воздух.

Лишь бы Марк Александрович не приревновал! Он так странно, так сурово поглядел на бедного Энрико, встретив его в столовой! И когда слушал объяснения Агаты, губы его кривились. Ах, противная у него улыбка! Впрочем, не вправе он разве дрожать за свое счастье?

Не торгуясь, она удваивает итальянцу цену за его сеанс. Маня не должна касаться этой стороны. И даже об этом новом проявлении алчности у Энрико она ей не говорит. К чему отравлять ей ее радость? Точно солнце вошло в их дом вместе с этим кудрявым красавцем.

Маня отошла от статуи, зорко оглядела ее, потом оглянулась на Энрико. И сердце ее сжалось.

Нет, никогда не передать ей того, что пленило ее в этом лице. Это он, он, кудрявый шарманщик в костюме шестнадцатого века. И все черты его она передала верно. Скульптор прав. Она сделала большие успехи. Но разве это нужно было ей? Улыбку Лоренцо хотела она запечатлеть. Эту улыбку гордости, веры в себя и презрения к смерти. На это у нее нет сил. И нет этого в лице Энрико. И откуда взяться у него такому выражению? Исчезнувшая индивидуальность не повторяется в мире.

Несколько дней она бродит разочарованная, грустная. Энрико удивлен. Синьора не работает на сеансах. Она только притворяется. Повернув его голову то в три четверти, то в профиль, она ходит около, дразня его шелестом платья и жгучими взглядами. О, как горячи и в *то же* время как печальны эти глаза! Право, можно подумать, что синьора влюблена. И голова кружится у Энрико. Он хочет заговорить. Но она гневно топает

ногой. Кладет палец на губы и садится поодаль.

Положив локти на спинку кресла, она смотрит, смотрит на него, не отрываясь. Потом, скорбно сдвинув брови, смотрит вверх.

Проходит десять минут, пятнадцать. О чем она думает? Точно застыла вся. Точно молится. Энрико нетерпеливо кашляет. Она вздрагивает и смотрит на него. Так странно, с отвращением, с гневом. «Удивительно! Как будто человек не смеет ни кашлянуть, ни чихнуть!» — думает он возмущенно. На этот раз его отпускают очень быстро.

Но Энрико недоволен. Почему сеансы стали так редки? Он меньше приносит домой денег. Мать ворчит и беспокоится. А главное, ему нужно видеть синьору. Вся жизнь уже теперь для него не в радость, когда нет сеанса. Так хорошо еще недавно было бродить под солнцем, заходить в кафе, спрашивать итальянские газеты, а вечерами просиживать в синема или в кафе.

Увы! Теперь по целым дням Энрико бродит под окнами отеля и стережет минуту, когда Маня поедет на репетицию. И если она кивнет ему, он счастлив. Теперь он знает, кто синьора Maria. Он даже побывал в театре. И плакал от блаженства. И охрип, вызывая ее. Целые дни дома он говорит о ней с матерью и сестрами. А те качают головами.

Он дивно сложен. «Лепите с него, — говорит скульптор Мане. — Таковую натуру не скоро сыщете».

Вздохнув, Маня соглашается. И вот сконфуженный Энрико стоит, весь обнаженный, опершись локтем на мраморную колонну. Хорошо, что он каждый день принимает ванну.

Через неделю мастерская полна этюдами. Он узнает свои руки, ногу... Странная эта синьора! Почему ей-то не стыдно? Она угрюмо, сосредоточенно работает. И почему она так старается? Должно быть, ей много заплатят за ее статуи.

Однажды, одевшись за перегородкой, он спускается по лестнице и сталкивается с высоким красивым брюнетом с слегка седеющими волосами. О, каким недобрый взглядом провожают его эти темные глаза!

— Твоя натура очень хороша! — говорит Штейнбах Мане.

— Да? Но ему далеко до оригинала. Штейнбах не понял. Но предпочитает не спрашивать.

— Покажи мне твои работы, — говорит он. Увидав обе начатые статуи, он меняется в лице.

— Он поразительно хорошо сложен.

— Как греческий бог, — спокойно отвечает Маня. — Шапелен хочет

лепить с него Фавна для весенней выставки.

— А тут он на кого-то похож.

— Правда? — так и дрогнул голос Мани.

— Что-то припоминаю. Очень красив и стилин.

— Марк, милый... Как я счастлива! А я-то мучаюсь, что не умею передать. О, поцелуй меня, Марк!

Марк целует, но очень холодно. Он догадывается, что эти поцелуи не для него.

И вот Энрико опять получает синюю пневмограмму [\[41\]](#).

Он мчится наверх, в мастерскую.

— Надевайте костюм, — ласково говорит ему Маня.

А он даже не знал, что она говорит по-итальянски. О, милая! Сердце его бьется. Она никогда раньше не глядела на него с такой нежностью.

Когда он садится в привычной позе в кресло, Маня подходит к нему и мягко поворачивает голову, беря в свои душистые ладони его лицо. У Энрико вдруг темнеет в глазах, и он целует ладонь синьоры. Потом, схватив ее за руку, смотрит на нее потемневшими глазами.

«Как он прекрасен! — думает Маня, не отнимая руки и спокойно глядя на него сверху вниз. — Даже желанье не безобразит и не старит эти дивные черты...»

Робко пробует он обнять ее талию. Его пылающие глаза спрашивают: «Можно?» Она гордо и печально качает головой и отстраняется. Как грустно! Образ жестокого и надменного Лоренцо отодвинулся еще дальше. Непохож на него этот молящий и жадный взгляд юноши.

Она работает очень рассеянно на этот раз. Энрико подавлен. Руки его бессильно упали. Но синьора не подходит, чтоб исправить позу. Она не хочет видеть первых слез любовной муки, повисших на его ресницах.

Развязка не заставляет себя ждать. В душе юноши, особенно такого непосредственного, как Энрико, любовь — всегда желание. И все настойчивее звучат советы матери быть посмелее, потому что женщины это любят.

На следующий день, когда Маня подходит к Энрико, чтоб поправить его кудри, упавшие на высокий воротник камзола, юноша с отчаянием обхватывает руками эту женщину, из-за которой он не спал всю ночь.

— Пусти! — говорит она с холодным гневом.

— Нет, нет, прежде поцелуй! — шепчет он, инстинктивно игнорируя все социальное неравенство, видя в ней в это мгновение только желанную женщину.

— Хорошо, я поцелую тебя, — спокойно говорит она. — Но ты должен

молчать и не двигаться. Даешь слово?

— Да! — криком срывается у него.

Она отходит и, отвернувшись, проводит рукой по лицу. Ей жаль его. Какой ужас — это желание, которому нет исхода! Она вспоминает свою страсть к Гаральду. Какое счастье, что она наконец свергла с себя это иго! Что никогда, никогда больше она не узнает этой тоски и слез.

— Ну, что же? Я жду! — вскрикивает он, топнув ногой. И что-то в этом детское и трогательное.

Она оборачивается и печально смотрит на него.

— Нет, *carino* [42], ступай домой! — говорит она с какой-то материнской лаской. И Энрико бледнеет.

— Когда же? — жалобно спрашивает он, опять робея.

— Когда-нибудь потом. Быть может, завтра.

— Ну, так я и знала! — говорит фрау Кеслер. — С первой минуты я это уже предвидела. Остается одно: отказать ему. Пригласи натурщицу, а он пусть идет к Шапелену.

— Ты точно боишься чего-то? — усмехается Маня. — По твоему, я способна в него влюбиться?

— Почему бы нет? На день? На два? Отдаться такому красавцу во всяком случае нетрудно. Я знала прославленных артисток, которые швыряли деньги на пьяных матросов или кельнеров. Знала аристократок, которые жили с лакеями. У вас, русских, есть хорошая поговорка: «Черт горами качает».

— Замолчи! Не люблю поговорок. Ох, Агата! Как мало ты меня понимаешь! Мне просто жаль себя и его.

— Вот-вот, я и боюсь, что ты его пожалеешь. Ну, что смотришь? Говорю, ничего тут нет мудреного. Он похож на твоего Лоренцо, а ты живешь, как монахиня. Только добром это не кончится, Маня. Конечно, ты артистка. У тебя свои фантазии. Ты вольна делать, что хочешь. Но помяни мое слово: вся семья его, как пиявка, присосется к тебе. Твой каприз пройдет скоро, а шантажировать тебя они будут годами.

— Моя мудрая Агата, успокойся! Я уже решила отказать ему. Теперь нарушена прелесть этих сеансов. Я уже не угадываю моего холодного Лоренцо в возбужденных чертах Энрико. А сам по себе он мне не нужен.

— *Gott sei dank!* [43]

— Но, знаешь, Агата? Мне действительно жаль этого мальчика! Конечно, его горе пройдет скоро. Но его порыв так прекрасен! Его непосредственность так трогательна! Он сразу заговорил со мной на «ты»,

как будто любовь дала ему на это право, как будто страсть разрушила все искусственные барьеры.

— Вот видишь, он последовательнее тебя.

— Ну, конечно, Агата! Ведь он же влюблен. А я равнодушна. Я с содроганием думаю, что он...

— Истеричка!

— Возможно, — покорно соглашается Маня. — Я никогда не понимала героини Генриха Манна, герцогини Ассийской, которая отдавалась потному, алчному, грязному пастуху. Она, быть может, стояла на верном пути, признавая одно наслаждение, без рабства души. Но я глупа, Агата. Меня это уже не манит сейчас. Не потому ли, что когда я сама этого добивалась, я не знала удовлетворения? Душа моя была вечно голодна...

— ...и жаждала жертвы? — насмешливо подхватывает Агата. — Нет уж, милая! Лучше глупи и греши! Поступай, как эта герцогиня! Только будь госпожой себе всегда и во всем! Больше всего на свете боюсь твоей любви, как ты ее понимаешь. Со слезами, с ревностью, с жертвами, самоубийством, в конце концов. Даже вспомнить страшно.

— Я уже не способна на этот прекрасный бред, — печально говорит Маня. — Это свойственно юности. А моя душа состарилась. Неужели ты этого не видишь, Агата?

Энрико опять не спал всю ночь. Он похудел. Под глазами его легли тени. Губы запеклись. Но зато в его лице появилась духовность, которой ему не доставало. И эта новая черта так усиливает его красоту, что Маня поражена. Теперь она не ищет сходства с Лоренцо. Не ищет в собственной душе отзвуков былого. Ей хотелось бы только запечатлеть эту красоту, вызывающую в ней такие эмоции. Она работает целый час.

— Синьора! — вдруг слышит она робкий голос. — Синьора!

Она нетерпеливо оборачивается и видит его умоляющий взгляд. Ах, обещание... Она бросает работу и вытирает руки.

Он ждет, замирая. Он даже закрыл глаза и побледнел. Вся кровь ушла с его лица. Как он прекрасен!

Она садится в десяти шагах от него и смотрит, вытянув шею, охватив колени руками, вся подавшись вперед, открыв губы. Ее собственное лицо бледнеет от всплеска знакомой волны, поднявшейся внезапно. Вдруг точно раздвинулись и ушли стены, Пахнуло сыростью. Волосы шевельнулись на висках. Поблекшее золото вышитой портьеры коснулось щеки. Взметнулось пламя свечи. Она спускается по лестнице дворца. Входит в темный зал, где дремлют портреты кардиналов и рыцарей. Высоко несет

она свечу в дрожащей руке. Вот он. Из мрака ей сияет навстречу бледное пятно его лица. Его улыбка. Она опускается на табурет и смотрит.

И тонет ее печаль. И гаснет ее горе. Губы ее шепчут:

«Люблю тебя, Лоренцо... Всей силой моего отчаяния, всей неутолимой жаждой души, несогласной смириться перед Жизнью, — люблю тебя, моя Мечта!»

О, коснуться еще раз этих губ с чуть приподнятыми уголками...

С гневным криком Маня пробует вырваться. О, отвращение! Это искажившееся лицо, это горячее дыхание, это животное и чуждое ей желанье в его глазах. Как он смел нарушить такой миг!

— Оставь меня! Слышишь?

— Нет! Нет! Ты меня любишь. Я видел твои глаза.

Она с последним усилием вырывается из его рук и ударяет его по лицу.

— Конец идиллии! — говорит Маня на другое утро, здороваясь с фрау Кеслер. — Нет, рассказывать не стоит. Я одна, конечно, во всем виновата. Только он не вернется больше.

— Как это грустно! — говорит Маня Штейнбаху. Она заехала к нему с репетиции и, не снимая шляпы и меха, с муфтой в руках, присела на тахту. — Приходится теперь забросить его статую и опять лепить мою «Нимфу».

— Я ждал другого конца, — усмехается он своей кривой, недоброй улыбкой, стоя на другом конце комнаты, у камина.

— А именно? — резко перебивает она, и щеки ее загораются.

— Он так красив!

Она ждет, строго глядя на него.

— Разве у женщин не бывает чувственных капризов?

— До сих пор, насколько мне это известно, это было привилегией мужчин.

— Но разве ты не поднялась над этими предрассудками? Ты, кажется, давно освободилась от тех уз, которые налагают на женщину наша мораль и гнет общественного мнения?

— К сожалению, нет, — отвечает она, облакачиваясь на вышитую подушку и нервно ударяя концом туфли по ковру. — Ты переоценил меня, Марк. Я очень жалею, что не оказалась достойной тебя ученицей.

— Меня?

— Тебя ли, других ли. Я говорю о мужчинах, которые пишут законы, которые дают нам пример добродетели и которые создали две правды: одну

для себя, другую для нас, женщин. Ведь когда вы вопите о нашей измене, то вас всегда пугает призрак разрушающейся семьи и незаконных детей, которых вам приносят неверные жены. Но мы — артистки — независимы. Мы стоим на своих ногах, и часто у нас нет законных мужей. А что же вы можете выставить еще против нашего права располагать собой?

— Я разве когда-нибудь осуждал? — перебивает Штейнбах.

Она машет рукой, и по лицу ее пробегает злая усмешка.

— Ты не осуждал, но... Оставим этот разговор! Я чувствую, что ты мне еще не простил Гаральда.

— Прощать? По какому праву?

— Не играй комедии, Марк! — вскрикивает она, ударяя рукой по подушке. И он слышит, что голос изменил ей. — Я буду откровеннее тебя. Я тебе тоже не простила моих разбитых иллюзий, хотя мне следовало бы благодарить тебя и... Нелидова, — с трудом выговаривает она, — за воспитание, которое вы мне дали. В любви и во всем моем мирозерцании, конечно, я ваша креатура.

— Ты меня сравниваешь с Нелидовым? — дрогнувшим голосом спрашивает он.

— Нет, не сравниваю. Ему не дорости до тебя. И своим великодушием ты нас обоих втоптал в грязь. Но это потом, потом... Я хочу только сказать... Нелидов хорошо научил меня, как можно довольствоваться малым в любви. И как легко утешиться, потеряв любимую женщину.

— Но, насколько тебе известно, я-то не женился на другой.

Она гневно отбрасывает муфту.

— Зачем тебе жениться? Когда тебя ждут любовницы во всех городах. Скажешь нет? — истерически срывается у нее.

Он зорко смотрит на нее, стараясь догадаться о затаенной причине этой вспышки. Он старается быть хладнокровным, но сердце его уже бьет тревогу. Он все-таки предпочитает выждать. Пусть она выскажется хоть на этот раз!

— Ты тоже знаешь, как ищут забвения, когда изменяет любимая женщина. И знаешь, что, любя одну, можно с наслаждением целовать другую. Ведь это любви не мешает. Ведь это совсем из другой области. Вот ваша двойная правда, которой вы отравляете наши души и в жизни, и в книгах. Я думала, что умру с горя, когда прочла Кнута Гамсуна, его «Пана». Целая волна грязи залила мою душу. Одну любить, обладать другою одновременно, и не любя, не любя эту другую! Если б была безумная страсть, безумное влечение, как у Бальзака в его «Лилии долины» — наряду с духовной любовью к другой, — это я еще поняла бы. Боже мой! Я

это сама пережила, любя вас обоих одновременно. Но делать это без любви, как вы, из одного чувственного каприза? Как просто вы, мужчины, решаете все любовные дилеммы!

— Я ничего не понимаю, — перебивает он, испуганный ее исступлением. — Что с тобой, Манечка? Можно сесть рядом?

— Садись! Садись! Но от этого мне не будет легче.

Он не может удержать улыбки. Голос прежней девочки Мани на мгновение как бы слышится ему в этом страстном крике. И это согревает его душу. Колеблется высокая стена, вот уж три месяца разделяющая их. Он обнимает ее.

— Манечка, за что ты сердисься?

Но она уже плачет и сердито толкает его в грудь рукой.

— Лучше б ты ударил меня, чем так оскорблять. Как смел ты думать, что я отдамся Энрико?

— Какое же в этом оскорбление, Маня? Красота делает людей избранниками. А страсть не справляется о родословной того, для кого забилось наше сердце?

— Это у вас! У вас! Мы этого не умеем. Мы до этого не доросли! Нам все-таки нужны иллюзии. Нам нужно любить, чтобы отдаться. И я тоже этого не умею. Я все еще не могу перешагнуть черту. Проклятая женственность мешает. Наш глупый идеализм.

Он кривит губы, улыбаясь.

— О, нет! Это тоже предрассудок. Женщины всегда материалистки, всегда расчетливы. Этот «идеализм» ваш есть не более, как атавизм.

Она слушает, вся затихнув на его груди.

— Мы — мужчины — по-царски даем нашу любовь. Мы не торгуемся с чувством. И если красота крестьянки зажгла нашу душу, мы эту женщину поднимаем до себя. Мы знаем, что можем это сделать, что этим признанием не уроним ни себя, ни любви. И потому общественное положение избранной нас не тревожит. Кафешантанная певица, цыганка, прачка, фабричная работница, не все ли равно, если она прекрасна? Пожелав ее, мы не пройдем мимо. Общественного мнения мы не испугаемся. И если каприз перейдет в страсть, мы дадим ей имя, а общество примет ее с распростертыми объятиями. Вы же неизбежно должны спуститься в такой связи и не получаете от нее никаких осязательных выгод. Надо быть королевой или влиятельной особой, чтобы заставить людей поклониться конюху. Так и делали женщины, сидевшие на троне. Им нечего было бояться. Но вам, простым смертным, эти связи невыгодны. В них вы всегда теряете, ничего не приобретая взамен. Вот тайна вашего идеализма,

который вы возводите в добродетель. И если б ты была последовательна...

— ...то отдалась бы этому Энрико — хочешь ты сказать? Нет! Нет! Нет! Не он нужен был мне, а настроение, которое он создавал. Но ты и этого не понимал никогда. Ты по себе судишь. Пусти меня! Мне жарко. И мне пора. Я не люблю тебя, Марк! Я приехала к тебе, как к другу, а ты...

Ее губы дрожат. Она вынимает платок.

— Маня, клянусь тебе! Я не хотел тебя обидеть. Я тебе высказал искренно мой взгляд. Для меня желание всегда священо и прекрасно. Это искра божественного огня, рассеянного в мире. Какие могут быть тут законы или преграды? Гаральд или Энрико? Не все ли равно, отчего вспыхнет священная искра? Что вызовет трепет в человеческой душе? Прекрасный ли профиль или звучный сонет? Жизнь сама по себе есть цель. И страсть не требует оправданий.

— А зачем же ты ревнуешь? — жалобно спрашивает она. И беспомощно плачет.

— С этим не надо считаться, Маня, — с горькой улыбкой отвечает он. — Это тоже один из презренных предрассудков, мешающих жизни. Нельзя сердиться на человека, который кричит, когда ему отпиливают раздробленную ногу.

— Но он мне не нужен, твой Энрико! — страстно говорит она, тщетно стараясь освободиться из его объятий. — Я никогда его не желала. Я никогда о нем не мечтала. Зачем ты мне его навязываешь? Какие у тебя цели?

Он вдруг смеется. Это так неожиданно для нее. Она растерянно смолкает. Закрыв глаза, она чувствует его губы, прижавшиеся к ее губам.

О, наконец! Наконец! Она обхватывает его голову и прижимается к нему в страстной жажде забвения всего, что истерзало их, что разделило их за эти долгое, долгие дни.

О, какая радость быть вместе опять! Слышать стук его сердца. Чувствовать ласку его рук. Все уйдет. Все минует. Но пусть этого счастья судьба не отнимает у нее!

От Мани Ельцовой к Соне Горленко

Лондон

Я опять в Англии, на родине Байрона и Джордж Элиот. Помнишь, как мы плакали, читая в пансионе «Мельницу на Флоссе»? Помнишь легкомысленную и трагически гибнущую

героиню «Адама Биды» ^[44]? Ты всегда говорила, что я похожа на нее.

Когда я была здесь в первый раз, стояло зеленое, свежее лето. Это было разгар сезона. Все съехались из колоний, чтобы насладиться жизнью, И каждый вечер, изо дня в день, в течение месяца я должна была исполнять одну и ту же программу. Это было ужасно! Я обратилась в ремесленницу. Я с отвращением ждала вечера. Но как хороши были дни! Мы с Марком в автомобиле делали далекие прогулки по окрестностям Лондона. Они полны поэзии, мира и тишины. Когда едешь мимо этих цветущих садов и коттеджей, увитых плющом, или мимо старинных замков с массивными угрюмыми стенами, где в глубоких рвах дремлет стоячая вода, не верится, что и в этой благодатной стране ежегодно умирают голодной смертью люди.

Сам Лондон тогда произвел на меня огромное впечатление. Я часами бродила по узким улочкам Сити, мимо старинных, угрюмых домов, где в течение пятисот лет копилась богатства и ковалась власть наций. Безмолвно со старинного моста, висящего над грязной Темзой, я глядела на силуэт мрачного Тауэра. Здесь все осталось неприкосновенным, как было при Елизавете. Здесь умеют чтить прошлое. А может быть, это косность? С каким трепетом шла я рядом с Марком по гулким переходам Вестминстерского аббатства! Опять молчаливые камни дали мне больше, чем могут дать люди.

Теперь уже не звучит душа моя. Город окутан желтым туманом и копотью. Ею дышишь, она проникает всюду. Через каждые два часа я беру зеркальце. Ноздри черны. Ногти черны. Гадость! Тоска. Я нигде не могу согреться, хотя целый день топят камин. Я хандрю. Я спрашиваю себя: что гонит, меня из города в город, от одной чужой толпы к другой? Зачем я покинула Париж, где сейчас греет весеннее солнце, кинула я мою мастерскую и начатые работы? Я не могу жить без солнца, Соня! Какие демоны погнали меня в этот туман? Алчность? Но деньги у меня уже есть. Есть все, что можно иметь за деньги. И будущее Нины обеспечено, если даже завтра я умру. Маме я устроила жизнь, полную комфорта, до конца ее дней. А прожить она может долго. На имя сестры Ани, уезжая из России, я положила десять тысяч. Слава? Она меня никогда не манила.

Мне — с моей потребностью к созерцанию, с моей любовью к природе, с моим страхом перед людьми — надо было бы жить безвестно и одиноко, отгородившись высокой стеной от жизни. А судьба бросила меня в котел, где кипят чуждые мне страсти. Как завидую я художникам или писателям, которые не соприкасаются ежедневно с толпой, которые не чувствуют, такой тяжелой зависимости от нее, как мы, артисты!

Мы здесь уже две недели. Марк отправил дядюшке в Лысогоры все отзывы о Нильсе и обо мне и наши портреты в новых ролях. Добрый Марк! Это все его старания реабилитировать меня в глазах местного общества, где я все еще считаюсь содержанкой Штейнбаха и развратной женщиной, с которой нельзя познакомить жену. Марк не понимает тщеты этой борьбы за мое имя. Люди косны. Трудно заставить их признать свою ошибку.

Здесь, Соня, меня больше чем где-либо поражает людская стадность. Ты думаешь, что англичане понимают что-нибудь в балете? Решительно-таки ничего! Но мир охвачен балетоманией, и англичане не хотят отстать от других.

На днях я представлялась королеве в ее ложе, в Ковентгарденском театре. Заметь, что это оперный театр, который закрыт обычно до осеннего сезона. Но успех русского балета заставил англичан отступить от традиции. Королева подарила мне чудесное кольцо из сапфиров, а Нильсу кольцо с голубым бриллиантом. Теперь мы засыпаны цветами и подношениями. Путь наш с Нильсом по Европе — это путь триумфаторов. Но нигде мы не видели такого поклонения, как здесь, в чопорном Лондоне. В нашу честь дают банкеты. Из-за нас соперничают и ссорятся. Если мы согласимся выступить в живых картинах у герцогини Лестер, то на другой день леди Литтлтон пускает в ход все, чтобы заручиться нашим согласием протанцевать на ее домашнем спектакле.

Ты, может быть, думаешь, что мне льстит это поклонение? О! Я злюсь здесь с утра до вечера. И даже в театре не могу отдохнуть. В глубине души эти люди, конечно, презирают нас. Надо видеть, как они разглядывают нас с Нильсом! Точно перед ними какие-то экзотические обезьянки. Они считают нас — и вполне правильно — созданными для их забавы. Ни один из этих мужчин, засыпающих нас цветами и

склоняющихся перед нами, как перед принцами крови, не сделался бы нашим другом, не пришел бы запросто посидеть у нашего камина и не раскрыл бы нам причины своего горя или своих забот. Ни одна из этих женщин, горделиво приглашающих фешенебельное общество на вечеринку с участием Marion и Nils'a, не введет нас, как равных, в круг своей семьи. Шуты при дворах средневековых королей были в большой цене. Но разве они не оставались шутами, за гримасами которых никто не видел и не искал души? Несмотря на всю их показную любезность, холодом веет от этих людей, считающих себя владыками мира и презирающих всех, кто не они. Такой мощной, обособленной, кристаллизовавшейся касты я не видала нигде. Марк говорит, что только в Риме аристократия еще замкнутее, чем здесь.

А я плачу им той же монетой. Я капризна, надменна, дерзка и рассеянна до неприличия. Вчера меня ждали на дневной концерт к одной графине, где я обещала танцевать. За полчаса до начала я послала записку, что не буду. Не объясняя причин. Я представляю себе досаду хозяйки, вытянутые лица этих пресыщенных людей. И смеюсь, смеюсь. Мелко? Ну и пусть мелко! Я с радостью обдумываю план скандала, который устрою на днях. Я дала слово герцогине Файф (это мать лорда Файфа, с которым дружил Нелидов когда-то), что буду танцевать в благотворительном концерте в пользу бедных ее прихода. Но в последнюю минуту я обману и не приеду, а они будут говорить: «Дикарка». Пусть! Я их ненавижу. Но я знаю, что они мне все простят. Разве я не знаменитость? Ах, Соня, все это пошло! Но я не хочу казаться лучше чем я есть.

Нелидов дружил со всеми этими людьми и был здесь «как свой». И если он привезет сюда жену, ее тоже встретят как свою, эту вульгарную Катю Лизогуб. А весь мой талант и вся гениальность Нильса не спасут нас от унижений.

Марк... С ним тоже любезны. Но его только терпят. Миллионы импонируют даже аристократии. И потом он уже сталкивался с этими людьми во всех курортах мира, куда они несут тоску и холод своих пустых душ. Но «своим» Марка здесь не признают. Я даже не интересуюсь, известно здесь что-нибудь о нашей близости? Мы живем врозь, нас приглашают врозь. Но он умудряется всегда быть там, где я. Мои злые выходки его шокируют. Он не хочет меня понять. Мы ссоримся.

Меня утешает один Нильс. Он всюду остается самим собой. Но при этом он горд до заносчивости и восхитительно дерзок. Я чувствую, что его боятся. Я знаю, если он добьется взаимности двух красивых леди, которые кокетничают с ним, как королевы с конюхом, небрежно, с сознанием своей безнаказанности, — о, как зло сумеет он их унижить! Он всегда останется господином положения.

Ты спросишь, зачем я вернулась сюда, где все меня раздражает? Зачем подписала контракт? Милая Соня... Это тайна моя. Может быть, скажу тебе потом.

Дневник Мани

Нет! Никому не скажу...

Старая тетрадка, которая всюду путешествует со мною на дне моего кофра, я не открывала тебя так долго. С того момента, когда из тихого домика в Нейи, став в один вечер знаменитостью, я переехала в Париж.

Что дала мне жизнь за эти годы? Чем подарила она меня? Славой? Но я ее не искала. Счастьем? Но его не было. Творчеством? Но оно горело во мне сильнее всего, когда я училась, добивалась, работала. Когда я искала, как подняться над грязью большой дороги, куда втоптал меня тот...

Не надо вспоминать.

Но нашла ли я удовлетворение? Нет! Нет! Нет!

Я похожа на путешественника, которому после долгого плавания на пароходе, переполненном людьми, мерещится вдали берег с перистыми пальмами, с дымкой гор, с лаской беззвучной ночи, с радостью одиночества, с роскошью звездного неба, незнакомой северянам. А на берегу он видит курорт, запыленные пальмы, как на набережной Императрицы в Ницце. Слышит пошлую музыку, видит электрические фонари, карусели. «*Faites votre jeu, messieurs... Faites votre jeu...*» ^[45]. И та же толпа, бездушная, тупая и косная, от которой он бежал, покидая пароход, встречает его тут, на берегу его мечтаний.

Я видела ее... Наконец! Наконец! Теперь я могу умереть спокойно. Моя страстная мечта сбылась.

Когда нынче леди Файф назвала ее имя, я чуть не упала. Но разве я не

ждала этой встречи? Каждый день? Каждый час?

Когда я ехала по этим кварталам, когда я всходила по этим лестницам и оглядывалась в этих великолепных залах, одна только мысль стучала в мозг: они были здесь вместе, Николенька и **она**. Они обменивались улыбками. Их руки касались этих предметов. Здесь они встречались, шепотом назначая друг другу свидания.

Среди толпы, чужой и чопорной, мы стояли с нею нынче лицом к лицу. И пристально — знаю, до странности пристально, — глядели в глаза друг другу. Что думала она? Что она знает? Ничего, конечно. Или ее удивило мое волнение, с которым я не могла справиться? На нас, наверно, глядели все. В ушах звучал голос хозяйки: «Леди Гамильтон жаждет говорить с вами». Но мне казалось, что все рухнуло, все исчезло. И мы с нею вдвоем в мире. А между нами — тот, кого мы обе любили, кто дал нам обеим такие жгучие страдания.

Я вспоминаю одну ночь. Незабвенную июльскую ночь в Лисогорах. Беседку в парке. Сетку деревьев вверху и меж ними мерцающие зезды. Он пришел в беседку. В эту ночь он полюбил меня. Я это знаю теперь. Тогда я этого не понимала. Неужели это было когда-то? Неужели это когда-то было?

Я не буду плакать. Ах, впрочем, кого мне бояться сейчас? Весь отель спит. Марк не узнает. Нильс не догадается. Завтра я опять буду надменной и капризной Marion. Сейчас я маленькая, бедная, никому не известная, но счастливая девочка, которую ты любил, слышишь ты? Которую ты любил. И из груди моей рвется крик. Ты его услышишь, хотя нас разделяют тысячи верст. Ты его почувствуешь и проснешься. И чужой, и ненужной покажется тебе женщина, спящая с тобой рядом, твоя законная жена.

Слушай, Николенька! Я достигла всего, к чему рвалась, чего может достигнуть женщина на земле. И все эти блага: талант, славу, богатство и поклонение — я все отдала бы с восторгом, чтобы пережить с тобой еще одну такую ночь, чтобы услышать из твоих уст великое слово «люблю!»

***.

Она хороша, эта женщина. Она не такая красавица, как леди Гамильтон, увековеченная Гейнсборо, — знаменитая авантюристка и любовница Нельсона. Но она англичанка. А этот тип считается самым красивым на земле. Она выделяется среди других изяществом и породой. Овал ее лица, шея, плечи, руки — все безукоризненно. Но что поразительно — это бледность ее. Живая, горячая бледность... Я замарашка перед нею с

моим неправильным профилем. Как мог он забыть ее? И любить меня? За что? Боже! Какая загадка.

Мы что-то говорили. Не помню что. Но я сразу потеряла весь свой задор, всю надменную позу.

Она следила за мной в лорнет все время. И старалась это сделать незаметно. «Что с тобой? — спросил Нильс. — Почему ты так подавлена?» А я с трудом удерживалась от слез.

Они что-то говорили с Марком, уединившись. Почему мне кажется, что они говорили обо мне? Но мне кажется еще что-то другое. Я поймала их взгляды, которыми они обменялись. Я убеждена теперь, что они были близки. Говорил мне это кто-то? Или я это видела во сне?

Неужели я ревную?

Я ненавижу Марка. Когда он заговорил со мной на рауте, я молча повернулась к нему спиной. Все были сконфужены. Пусть! Мне все равно.

Завтра я буду у нее. Теперь только я понимаю, что страстно ждала этого приглашения. Мне надо своими глазами видеть тот дом, те комнаты, где... Боже мой! Когда все это кончится? Когда мы уедем, наконец?

Я была у нее. С первых шагов по лестнице я вбирала в себя все впечатления. Закрыв глаза, я могла бы сейчас нарисовать каждую фреску на потолке, каждый портрет в старом зале. «Вот здесь, — подумала я, садясь в глубокое кресло, у камина. — Это ее интимный уголок. Вот здесь она слушала его признания. Они целовались тут...»

Я отвечала невпопад. Что подумала она обо мне?

Она выспрашивала меня о Марке. Так вкрадчиво, осторожно. Правда ли, что я его невеста? Я резко отвечала: «Нет». Мне противно думать, что... Ненавижу Марка!

Она вскользь сказала мне, что они были вместе в Египте. Теперь я уверена, что он был ее любовником.

Что мне сделать? Что мне сделать? Я сейчас укусила свою руку, чтобы не закричать. Волна печали и отвращения к жизни опять заливает мою душу. Куда бежать от тоски? Есть ли здесь, на земле, что-нибудь прочное? Что-нибудь ценное? Чему можно поверить? Что стоит любить?

А ведь есть люди, которые мне завидуют.

Лорд Литтлтон приглашал нынче поехать с ним в его замок, осмотреть фарфор и картинную галерею. Еду. Почему нет? Я сделала бы гораздо больше, лишь бы Марк страдал!

Вчера я обещала обедать с Марком вдвоем. Нет, не хочу его видеть!

Зачем я отдалась ему опять? Мы так долго были чужими, О, проклятая чувственность! Как трудно с нею бороться!

От Мани Ельцовой к Соне Горленко

Лондон

Соня, я пережила великий день. Случилось что-то, от чего будет зависеть моя дальнейшая судьба. Все это смутно пока в моей душе. Но я разберусь потом. Я пойму.

Мы уже собирались покинуть Лондон, потому что мои гастроли кончились. Чемоданы были уложены. Билеты куплены. Я сидела вся продрогшая у камина, с заплаканными глазами, с распухшим носом. Я только что угостила Марка жестокой сценой ревности. Ты удивлена? Это не логично. Тем не менее, это так. Мои мысли новы, но чувства стары. Я не могу их победить. Не хочу ни с кем делиться его чувством и лаской. Словом, последняя неделя — это был ад. И у Марка начались сердечные припадки. Но разве это может остановить женщину, когда она ревнует?

Вошел лакей и подал карточку. Я закричала, как иступленная: «Никого не хочу видеть! Никого не приму!» — «Это невозможно! — сказал Марк. — Просите...»

Вошел журналист N. Марк знает его. Это очень образованный и талантливый публицист. Он эмигрант и уже немолод. У него такие прекрасные, лучистые глаза, кроткие и печальные, какие я видела только у евреев. Эти глаза смягчили меня, но я сидела, вся сжавшись в комок, злая и неприступная.

— Вы знаете, что в Лондоне стачка рабочих? — спросил меня N.

Я действительно видела накануне демонстрацию на улице, это произвело впечатление. Но скоро забылось. Газет я не читаю. А физиономия города ничуть не изменилась оттого, что пять тысяч безумцев, возмущенные несправедливостью, кинули вызов каменным сердцам и каменным конторам Англии. Все так же тысячи заводов покрывают копотью сумрачный Лондон.

Все так же в Сити и на бирже циркулируют миллионы, а знатные веселятся в своих кварталах.

— Нынче их пять тысяч, — говорил N... — через неделю

будет уже десять. Сейчас у нас есть средства. А в сердцах забастовщиков горит энтузиазм и вера в свою правоту. Надо, чтобы дети не голодали, чтоб жены не теряли мужества. Вы сейчас и ваш товарищ Нильс — кумиры Лондона. Дайте нам два спектакля в пользу стачечников!

— Я уезжаю, — оборвала я его. — Мне все надоело. Меня не трогают чужие бедствия! Я жажду отдыха.

Марк сконфузился. Но Н... должно быть, тонкий человек. Он угадал, что я несчастна. Или меня видал звук голоса?

Марк сказал:

— Вы выбрали дурную минуту. Marion устала и хандрит.

— Вовсе нет! — крикнула я. — Это не каприз. Я ненавижу мою публику. Мне опостылела моя профессия. Да. Потому что здесь я профессионалка, а не артистка. Нельзя быть артисткой, играя каждый день одно и то же.

— Что-нибудь другое, сударыня. Это соберет еще больше публики.

— Но кто вам сказал, что я соглашусь лишний раз позабавить эту публику?

— А цель? — возразил он кротко. — Она даст вам удовлетворение.

— Ничто не даст мне удовлетворения! — враждебно ответила я. — Ничто не вознаградит меня за это насилие над собой. Довольно с меня! Довольно!

Он хотел уже уйти. Он весь съезжился, сгорбился. Его длинные желтые пальцы отчаянно теребили мягкую шляпу.

К счастью, Марк не дал ему уйти. Он знал, что я скоро раскаюсь. Он предложил следующее: снять громадный зал, вроде парижского Трокадеро, помнишь? Половину билетов за тройные цены пустить в продажу. А остальные бесплатно предложить русским эмигрантам и забастовщикам.

— Они случайно свободны теперь, — сказал Марк. — Пусть память о забастовке будет связана с воспоминанием о волшебном вечере, единственном в их убогой жизни!

Я кинулась на грудь Марку. Вся моя злоба растаяла. Но он нарушил это настроение. «Marion — моя невеста!» — сказал он журналисту, точно извиняясь за мой порыв. А я ответила:

— Он лжет. Я просто его любовница. И странно, почему он думает, что бить его хуже, чем быть невестой. Социал-

демократы не должны так думать!

Тогда уже они оба сконфузились. А я убежала в спальню. До того взвинтились мои нервы, что я становлюсь невозможной.

Н. уехал, передав мне через Марка живейшую благодарность, Марк сказал: «Если будет дефицит, я беру его на себя».

Но билеты были все расписаны за три дня до спектакля. Мы с Нильсом дали свои лучшие номера.

Я только что вернулась из театра. Там была публика, никогда не бывавшая в балете, никогда не выдавшая меня и Нильса, для которой этот вечер будет сиять, как звезда, во тьме их убогой жизни. Завтра Марк пошлет тебе отзывы прессы. Ты прочтешь, какие овации были сделаны мне и Нильсу. Но из этих газетных отзывов ты никогда не узнаешь, с каким подъемом играла я! Ты никогда не узнаешь, какими счастливыми слезами плакала я, выходя на вызовы. И как волновалась я, стоя за кулисами, в ожидании моего выхода. Это я, владеющая собой всегда и всюду, потому что не уважаю моего зрителя и не боюсь его! Не уважаю прессу и не боюсь ее. Перед началом спектакля в уборную пришел Марк и сказал мне: «В ложе сидит Н. с семейством. Тут много эмигрантов. И если такая публика тебя не удовлетворит...»

Соня, это тот самый Н... учитель Яна, тот самый, которого чтит суровый Ксаверий, чье имя мы не смели громко произносить в стенах гимназии. Он никогда не увидит родичи и, как Герцен, умрет в изгнании. Его книга запрещена у нас. Его мирозерцание — кошмар для всех государственников — правых или левых — безразлично.

Но когда Марк предложил нас познакомить, я закричала: «Нет! Нет!» Я убежала в уборную и разрыдалась. Ты удивлена? Но почему же? На этот раз я чувствовала и поступала логично. Это был инстинкт самосохранения. Ксаверий сказал мне год назад: «Чем можете вы оправдать вашу жизнь?» И я не нашла ответа. И мне тяжело с ним встречаться. Всякий раз, когда я вспоминаю эти слова, в моей душе поднимается прежний разлад.

Я сама знаю, что радость и красота, которые я расточаю на службе у сытых, должны быть общим достоянием. Художник принадлежит народу. И творчество, не имеющее в народе корней, гибнет. И если раньше я имела оправдание, желая

подняться из грязи, куда меня втоптали те, кому я предлагала тело и душу, и занять место в обществе, меня отвергавшем, — то где же оправдание для меня сейчас?

Я как в лихорадке. Пишу тебе ночью, вернувшись со спектакля. А передо мной стоит огромная корзина красных гвоздик. Это поднесли мне мои бесплатные зрители. Они по грошам собирали деньги на эту корзину. Я разрыдалась и поцеловала цветы, Я сохраняю их, как реликвию.

Завтра пошлю N. письмо. Признаюсь ему во всем. Он должен понять меня. Он поймет, Соня, сердце говорит мне, что если моя жизнь до этой минуты была подъемом на высокую башню, то я уже стою на последней ступени. И скоро лучезарные дали раскроются передо мною. Не знаю, как это будет? Что это будет? Но сердце бьется от сладкого предчувствия. И хочется крикнуть: «Наконец!»

Пиши мне, Соня. Отсюда еду на гастроли в Монте-Карло. Еду с отвращением. Но Нильса бросить не могу. Он слишком много потеряет, если я нарушу контракт. Боже, дай мне силы дотянуть! Как я мучительно жажду отдыха!

Маня волнуется, подъезжая к квартире Глинской. Автомобиль она оставляет у тротуара, а сама идет под арку ворот. Квартира все та же. Оттого Маня и волнуется. Неотразимую власть имеет над ней прошлое.

Глинская сама отворяет дверь.

— Марья Сергеевна! Вот неожиданность!

— Вчера только вернулась из Лондона.

— И надолго?

— Нет. Еду в Монте-Карло.

— Пойдемте в кабинет! Кого я вам покажу...

Маня останавливается в столовой.

— Если Ксаверий, я не пойду...

— Что такое? Разве вы ссорились?

— Нет, но мне тяжело с ним встречаться.

— Вы слышали когда-нибудь о Надежде Петровне Стороженко?

Неужели нет? Это она здесь.

— Пойдите, — у самой двери говорит Маня, задерживая руку Глинской своей затянутой в перчатку рукой. — Стороженко? Та самая, которая в России... Мне страшно...

— Почему?

— Я чувствую себя таким ничтожеством перед нею!

— Что за вздор! Она такая милая.

В кресле сидит полная и красивая женщина. Ей никто не дал бы ее шестидесяти лет. В черных волосах нет седины. Щеки румяны. А большие и темные, как спелая вишня, глаза совсем еще молоды и горячи. Она с любопытством глядит на дверь, за которой шепчутся.

— Ну, скорее, Нина Петровна! — грудным голосом кричит она. — Кого вы там прячете? Идите! — И она смеется, показывая белые зубы, когда взволнованная Маня поднимает портьеру.

Одну секунду, пораженная ее внешностью, Стороженко молчит.

— Кто вы такая, моя прелесть? Подойдите сюда, — ласково говорит она, как королева, улыбаясь и протягивая руку.

Маня с порога кланяется низко. Гораздо ниже, чем делала это перед английской королевой. Волнение ее невольно передается хозяйке.

— Позвольте вам представить: Marion, гордость русского балета.

— А! — срывается у старухи. Она идет навстречу Мане, протягивая руки. — Милая какая! Позвольте вас поцеловать! Читала, читала в газетах. Как жаль, что я не была там! А Марк Александрович с вами?

— Вы разве знаете его? — робко спрашивает Маня, садясь на кончик стула и пряча в муфте заолодевшие пальцы.

Надежда Петровна смеется.

— Мы с ним старые приятели. Он много для меня сделал, когда я на юге работала, помните? — оборачивается она к Глинской.

— Ах, это прямо сказка, Марья Сергеевна! Да и вся жизнь Надежды Петровны — волшебная сказка.

— Но отнюдь не для детей, — смеется старуха. — У меня, моя милая, — говорит она, ласково дотрагиваясь до муфты Мани, — положительно призвание к сцене. Имитаторша я — на редкость! Кажется, пошла не по своей дороге. Была бы, как и вы, прославленной артисткой...

Глинская тоже смеется, качая головой.

— Меня, видите ли, лет восемь тому назад на всех станциях Курской дороги стерегла Знали, что я еду в ваши края. Вы ведь тоже черниговская?

— Я? Нет! Я москвичка.

— Ну, все равно! Марк Александрович — сосед по имению сестер моих. К ним ехать я не решалась. И меня бы сцапали, и сестер по головке не погладили бы. И вот тут я через одного человека, хороший был хлопец, дай Бог ему царство небесное, дала знать Марку Александровичу, чтобы он поехал меня встретить на станцию. Какое обличье у меня будет, Ян ему не мог сказать, конечно. Он сам того не знал.

— Кто? Как вы сказали? Ян?!

— Ну да, Ян, или вернее, князь Сицкий. Вы его знали?

— Ну, дальше, дальше! — торопит Глинская, удивленная волнением Мани.

— Вот поезд подходит. Жандарм, урядник, становой — все налицо! Вижу, и Марк Александрович тут. Так любезно разговаривает с кем-то из публики. А глаза так и рыщут по толпе. Ну, много ли там пассажиров выходит? Два-три пана, да студент иногда. Остальные все третий класс, богомолки, да рабочие, да бабы, да евреи. Его спрашивают: «Кого встречали?» — «Родственницу». — «Не приехала, стало быть?» — «Очевидно, нет...» Еще раз глазами он по толпе скользнул и пошел в коляску садиться. Тут ему под ноги богомолка кидается. Он даже шарахнулся... «Отец родной, — говорит, — будь благодетелем! Подвези, ноги старые не служат, батюшка...» Поднял он ее, а она прямо шатается от усталости. Вся сгорбатилась. За спиной котомка битком набита. В руке клюка. Остро он так поглядел на нее. Вы его глаза ведь знаете? «Полезай, — говорит, — садись! Тебе до Ржавца?» — «До Ржавца, родимый, до Ржавца...» Тронули кони. Отъехали верст пять. Он молчит. А старуха на передней лавке дремлет, носом кивает. Мимо все возы едут. Хохлы глаза на старуху таращат. Ишь, в самом деле, куда забралась! Наконец, миновали село. Кругом степь. На горизонте балочка и лесок. Марк Александрович нагнулся к богомолке. Она глаза открыла и смеется.

— Это были вы? — догадывается Глинская.

— Это была я. Он так и ахнул. Ну, потом все уж как по маслу пошло. Довез он меня до Линовки почти. Я слезла и в лесу темноты дождалась. За мной Ян пришел и через парк меня провел к себе. И никто нас, кроме звезд в небе да лин в парке, в ту ночь не видал. Пока все спали, на заре из флигеля вышла «бабуся». И пошла эта бабуся Христовым именем по селам. Где поест, где переночует. А уходя — забудет хусточку. А в хусточке — «царская грамота».

— Так это были вы? — спрашивает Маня. — Боже мой!

— А вы, значит, слышали? Да, голубчик. Награду какую за меня обещали! Рыскали по всем селам. Облаву устроили на станциях. А я себе преспокойно во флигеле у Яна две недели прожила. Днем береглась, а ночью по парку гуляла, наслаждалась, И у нас там компания славная подобралась: фельдшерица да учительница...

— Лица?

— Не помню их имен теперь. Ах, уж и люблю я эти ночи украинские! Звезды эти огромные. Нигде луна так не светит, как у нас! Правда,

милая? — спрашивает она, заглядывая в печальное лицо Мани. — Бывало, гуляю и пою. До сих пор люблю хохлацкие песни. — Она вздыхает. — Хоть бы одним глазком еще повидать те края! Кажется, умерла бы спокойно.

— Нет, не рискуйте! — говорит Глинская.

— Сестра у меня там живет. Постарше меня будет да хвора, — печально говорит старушка. — Пишем друг другу редко. Иногда взгрустнется. Свидимся ли еще когда-нибудь? Вместе мы с ней девушками росли. Вместе о жизни грезили.

Вся сжавшись и затаив дыхание, глядит на нее Маня. Неужели и она была молода и наивна когда-то? О чем она грезила? О чем могла грезить такая? О подвигах, о власти, о бессмертии, о толпе, повторяющей ее имя? Неужели и она была жизнерадостной девочкой и просила у судьбы самого скромного, самого маленького женского счастья: любви, мужа, детей?

— Вы пишете книгу? — спрашивает Маня Глинскую, усаживаясь в ее кабинете и снимая свои саболя.

— Откуда вы знаете? — Глинская краснеет и становится женственной.

— Читала. Меня удивило заглавие: «Кризис любви». Вас очевидно интересует этот вопрос?

— Кого же может он не интересовать? Согласитесь, что разрешение полового вопроса в тысячу раз важнее для человечества, чем политическое равноправие женщин, о котором так много кричат! На днях Ксаверий, вы знаете, сам он аскет, так вот он сказал мне: «Из-за чего так много шума? Вы придаете слишком большое значение современной морали. Не подавляйте инстинктов, и ваша задача будет решена». Вы улыбаетесь?

— Да, Ксаверий слишком упрощает эту задачу. Сам он, значит, никогда не любил?

Светлые глаза Глинской темнеют. Она берет со стола карандаш и нервно бьет им по лежащей перед нею рукописи.

— Жизнь его, Марья Сергеевна, окружена тайной. Но, если б он хотел. — Закусив губы, она глядит на карандаш: — Нет! Такой человек не пожертвует чувству ни одним часом из своей короткой жизни, слишком, по его мнению, короткой, чтобы довести до конца большое дело, которому он отдал себя.

— Это дело?

— Ксаверий — анархист. Но он строитель жизни, а не разрушитель. Он и друзья его — как и Роберт Оуэн когда-то — хотят создать свой мир на земле. Хотят здесь, рядом с развратным, чудовищным, жестоким Парижем, — основать идеальный город будущего. Город будущего в

настоящем, где нет преступления, насилия, суда, тюрьмы, полиции, проституции. Где нет униженных женщин и валяющихся в канавах детей. Где нет бродяг и фабричных рабов. Город, где все равны, все свободны. Где никто не клянет труда. Где этот труд является и необходимостью и наслаждением. Вы слышали что-нибудь о Говарде? Эта идея принадлежит ему.

— Говард? Пойдите, это новая социальная утопия? Ею заинтересован Марк.

— Да. Его идея социализма без политики и национализации земли, без революции — прежде многим казалась утопией. Но теперь его мечта стала действительностью.

— Каким образом?

Глинская звонит и велит подать чаю.

— Видите ли, по идее Говарда, все богатства, все земные блага создаются трудом человека. Для приложения его нужна только земля. А землю можно купить за деньги. А раз земля будет собственностью общины, эта община может произвести тысячи социальных экспериментов. С этой целью Говард собрал в Англии акционерный капитал и построил город. Теперь там уже восемь тысяч жителей. Вы удивлены? А Ксаверий агитирует, чтобы направить на постройку его города здесь, под Парижем, — синдикальные капиталы. Вы ведь знаете, что Ксаверий пользуется громадным влиянием на синдикалистов? Поэтому его боятся здесь и притесняют. Капиталы эти и сейчас хранятся в буржуазных банках. Сколько раз они служили для эксплуатации рабочих! В Летчворде Говард основал пока только общественные кухни, о которых грезил еще Бебель в своей знаменитой книге «О женщине». А Ксаверий в своем городе хочет устроить в широком масштабе общественные детские «Ульги», как это уже сделал Себастьян Фор.

— Новый мир? — задумчиво говорит Маня. — Светлый и радостный, о котором грезил Ян. Боюсь, что мне в нем не будет места! Презрение Ксаверия к артистам кажется безграничным.

— О! Что вы?! Напротив. Когда он вас увидел в театре...

— Он меня видел?

— В последний ваш приезд сюда. Он говорит, что ваш талант — как он это сказал? — волшебный.

Отбросив муфту, Маня нервно ходит по комнате.

— Поговорим о вашей книге, — говорит она, наконец, слабо улыбаясь. И присаживается к столу.

Глинская берет со стола рукопись и перелистывает ее.

— Я уверена, что большинству моя книга покажется безнравственной, и будут требовать ее конфискации и уничтожения. Меньшинству, наоборот, она покажется сентиментальной, утопичной, ненужной. Первому я буду очень рада. Шум о безнравственной книге создает ей известность. Ее прочтут. А прочитав, задумаются и наверно оценят то смелое, честное и правдивое, что я вложила в нее. Потому что — вы понимаете, конечно, — эта книга — не афера, не желание разбудить «нездоровые», как у нас говорят, «инстинкты», как будто инстинкты могут грешить! Это дело моей жизни, это проявление моего Я, это залог моего бессмертия. Когда я писала ее, передо мной проходила моя собственная юность. Не раз я бросала перо, чтоб оплакать вновь эти мертвые иллюзии, дорогие сердцу каждой женщины. Я была очень несчастна, Марья Сергеевна, в замужества И надо было иметь мою силу воли, чтоб выбраться из этого болота.

Маня с удивлением глядит в это покрасневшее лицо. Точно внутренним светом озарено оно в эту минуту.

— Но я с ужасом думаю о том меньшинстве, которое скептически пожмет плечами, прочитав заглавие: «Кризис любви». «Дамское писанье, женская философия», — скажут они. — А и так слишком много у нас любви. Всюду разврат, распущенность, флирт. И наряду с этим легкомысленно заключающиеся и так же быстро расторгающиеся браки. А в придачу любовные драмы с убийствами и самоубийствами. Так скажут они, не горячие и не холодные, даже в лучшие дни юности не знавшие ничего, кроме голого полового инстинкта. И это они называют любовью! И вот с такими слепорожденными мне предстоит борьба.

Она придвигается к Мане и берет ее руку.

— Слушайте, Марья Сергеевна! Не приходило ли вам в голову, что Любви нет места в нашем культурном мещанском обществе? Я говорю не о половом инстинкте, не о чувственном любопытстве, не о стремлении создать себе семью. Я говорю о любви, какую наверно знали вы, какую знаю я, да, я, несмотря на мои сорок лет, или вернее, — она нервно смеется и краснеет, — именно потому, что мне уже сорок лет, В эти годы перестаешь ценить чувственность, которая избытком неизжитых сил туманит голову юности. И начинаешь видеть красоту высокого, бескорыстного, я бы сказала бесплотного чувства...

— О, я поняла вас! Я поняла.

— ...чувства, ничего не помогающего и ни к чему не обязывающего обе стороны, в себе самом несущего целый мир.

— Целый мир! — повторяет Маня с детскими глазами.

— Такая любовь дарит нас необычайными, ни с чем не сравнимыми

переживаниями. Она дает лучшие поэмы поэту, дивные симфонии артисту, вдохновенные образы писателю. Теперь, Марья Сергеевна, скажите мне, где вокруг вы видите эту любовь? В современном браке, в этой торговой сделке, в этом стремлении передать наследникам накопленные богатства? Или в жажде девушки продать себя подороже под эгидой закона, чтобы наслаждаться жизнью? В лучшем случае, в браке, описанном Львом Толстым в «Крейцеровой сонате», где говорит одна чувственность? Или в домах терпимости, куда юноша несет свои первые, самые лучшие порывы? О, любовь, неизменная и верная. Долгий путь рука об руку через всю жизнь навстречу радости и горю. Гармоничный союз двух душ и двух тел в идеальном моногамном браке — вот о чем грезит каждая девушка. Вот золотой сон человечества. Но что сделали мы из этой грезы? Оглянитесь! Грязной волной разлилась по земле проституция. И не только как торговля, своим телом; я беру это слово в самом широком смысле, включая сюда все принудительные формы половых отношений.

— Но, позвольте, для того чтобы женщина смела любить, для того, чтобы она отдавалась по влечению, а не продавалась по расчету, ей должны быть открыты все отрасли труда! Надо, чтоб женщина умела и хотела стоять на своих ногах.

— Конечно, конечно, это первое условие ее духовной свободы.

— Но разве теперь это возможно?

— Теперь — нет. Но разве это *теперь* будет длиться вечно? Разве не настало время воспитывать умы и души людей для восприятия нового? Разве мы не должны встретить это *новое* сильными, убежденными, а не растерявшимися перед катастрофой банкротами? Думаете ли вы, что когда Жан-Жак Руссо, сидя под дубами проезжей дороги, под Парижем, обдумывал схему своего «Общественного Договора», — люди, пировавшие в Версале, не считали своей неотъемлемой прерогативой только праздновать и наслаждаться? Это было при Людовике XV, когда впервые великие идеи энциклопедистов были брошены в мир. При Людовике XVI старый строй уже рухнул. И посмотрите, какие завоевания уже сделаны, какие бреши пробиты в морали, считавшейся незыблемой, когда пушкинская Татьяна отвечала Онегину с непоколебимым сознанием своей правоты: «Но я другому отдана и буду век ему верна». В какой стране, в какой литературе вы не встретите теперь критики современного брака? Ропот растет, и лет через тридцать раздастся грозный вопль: «Так жить больше нельзя!» Все сгнило, все омертвело, все пропиталось ядом обмана и лицемерия. Посмотрите, что читают теперь, о чем спорят? Что волнует современника? Половые проблемы. Это сейчас самый наболевший, самый

жгучий вопрос. И волна растет. Давно ли мы слышали, что к одной писательнице — девушке, осмелившейся родить и воспитывать незаконного ребенка, шли как на паломничество — поклониться дерзавшей — самые развитые немецкие женщины? А теперь Грета Майзель-Хесс выпускает книгу о сексуальном кризисе, где требует за женщиной признания наравне с мужчиной всех свобод, а прежде всего свободы чувства и полового выбора, и все избранные умы Германии ей рукоплещут. А театр? Это самое архаическое учреждение, в котором лицемерный мещанин всегда требовал, чтоб торжествовала добродетель и был наказан порок. Теперь даже в Англии идут пьесы Бернарда Шоу, потрясающие все основы общества, вскрывающие двуличие нашей морали.

Она встает и ходит по комнате крупными шагами, по-мужски заложив руки за спину. Между бровей ее залегла вертикальная морщинка, делающая лицо еще более значительным.

— Знаете ли? Человечеству грозит худшее зло, чем вырождение от сифилиса и алкоголизма. Это омертвление души, это огрубение ее. Моральный яд, которым проституция заражает душу юноши — не говоря уже об униженной женщине — не менее страшен, чем чахотка или сифилис, с которыми мы боремся. Человек, начавший «любить» в объятиях продажной женщины и заплативший этой несчастной за ее ласки, никогда уже не будет здоровым и морально чистым человеком. Он никогда не будет уважать женщину. Он никогда не почувствует в ней товарища. Грязь, которой он коснулся в минуту пробуждения самых лучших, творческих инстинктов, будет пачкать его отношение к невесте и жене, В этом проклятие нашей жизни и естественная расплата. Природа мстит за себя! Согласитесь, что все это уродливо в нашей современности, если возможность брака даже с любимой девушкой отодвигается на неопределенный срок, потому что жену надо содержать, а семью ставить на ноги. И там, где семья является роскошью, проституция становится необходимостью. Не ужасно ли видеть, что несчастный юноша, целуя невесту, весь горя жадной обнять ее и дать миру здоровое и одаренное дитя — какими бывают только дети любви, — должен из дома любимой девушки бежать на бульвар, чтоб утолить пыл желаний в объятиях проститутки? Но не думайте, чтоб здесь теряли только женщины — любимая и купленная — обе! Нет, больше всех за это извращение платит мужчина! Его душа грязнится и черствеет. И когда он женится наконец, о, как много приходится выстрадать чистой девушке! Разве муж не понимает красоту постепенного и медленного завоевания ее души? Благоговейной нежности? Уважения к женским иллюзиям? Он — нищий духом, этот

современный муж, хотя он, быть может, ученый или театральный деятель. В любви он дикарь. Он насилует любимую девушку, невзирая на ее отвращение и слезы. Он быстро развращает ее, перенося на нее все те ласки, к которым приучили его в домах терпимости. Ему, привыкшему платить за любовь, так мало, в сущности, нужно от женщины! Только физическое наслаждение...

— Но за что вы вините мужчин, если женщины сами ничего не заслуживают, кроме презрения? — враждебно спрашивает Маня, думая в эту минуту о Нелидове и Кате, жене его.

— Я никого не виню. Но разве вы не видите, каким банкротством грозит в будущем это оскудение мужской души, это презрение к женщине, это отсутствие порывов и душевного трепета — всего, что создает поэзию и красоту жизни? Мне скажут: когда рухнет старый строй, новые формы жизни принесут и новые чувства. Нет! Нет! Революция в Европе свергнула троны, переместила сословия, но ничего не изменила в людских предрассудках и нравах. За две тысячи лет падали и нарождались государства, исчезали народности. Но формы половых отношений стары, как мир. По-прежнему мужчина покупает, женщина продается. И в этом упрощении, в этом обнищании взаимных отношений кроется гибель всей нашей культуры. Нет интереса к душе, к личности. Нет уважения, бережливого отношения друг к другу. Вопросы пола покрыли все грязной волной. Любовь вырождается и исчезает. Та любовь, что создала миф о Геро и Леандре...

— Но ведь это только чувственная любовь! Разве знали иную древние греки?

— А Филемон и Бавкида? — тонко улыбается Глинская. — Нежность и верность, пережившие старость? Этот идеал, который человечеству подарила Греция? А гетеры, блестящие, образованные, утонченные? Разве беседы и общение с ними не были самыми красочными часами в жизни элина? Как жалки были перед ними жены! Брак имел откровенно одну цель — деторождение. Ребенка воспитывала школа. Вспомните Перикла и Аспазию!^[46] Разве одной чувственностью исчерпывались эти красивые отношения? Но допустим даже, что вы правы, и древний мир знал одну чувственную любовь. Но уже в песне менестреля и в подвигах рыцаря во имя далекой Дамы звучит иная нота. Душа человека утончается постепенно. В эпоху Возрождения расцветает личность. И какими полновзвучными становятся все ее переживания! И если трагическое чувство Антония к Клеопатре поражает своей глубиной нас, людей XX столетия; если нас волнует страсть Ромео, не пожелавшего пережить

смерть Джульетты, то и легенда о Данте и Беатриче трогает нас до слез и будит в душе грезы о вечности. В волшебных садах XVIII века, на картинах Ватто, мы видим грациозно улыбающиеся парочки. Эротические переживания были как бы основой всей этой праздной, легкомысленной жизни. «Ах! Они умели только любить, эти люди», — с презрением говорят о них. Нет. Они умели потом и умирать на эшафоте.

— Мне нравится то, что вы говорите, — перебивает Маня.

— Глубочайшую ошибку совершает тот, кто думает, что любовь обессиливает и расслабляет душу. Вспомните Наполеона, безумно влюбленного в Жозефину! Ради нее, да, да, он это подтвердил в своих письмах к ней, ради нее он совершал свои подвиги в этом феерическом итальянском походе. Вспомните его в Египте, когда он сгорал от недоуловленной страсти и между двумя битвами находил время писать в Париж письма, дышащие ревностью! Прочтите описание его жизни, и вы увидите, как много и ярко, как тонко и нежно любил этот человек, свергавший троны и чуть не плакавший от неприступности очаровательной Валуевской. И этот человек, увлекавшийся бесчисленное число раз, — до конца своей жизни любил одну только Жозефину! Он любил ее высочайшей, всепрощающей любовью, совершенно непонятной многим и многим из наших современников. Вы верите ли, что я плакала, читая об этом?

Маня ласково улыбнулась. «Она много тоньше, чем я думала...»

— А Робеспьер? А Дантон? А Мирабо? До нас дошли имена женщин, которых они боготворили, к которым неслась их мысль в Конвенте, в страшные дни революции, в тюрьме, на эшафоте. Эти люди не знали *бессилия любви*, характеризующего наш мещанский век. А почему? Они выросли в великой школе любви, какой была тогда Франция, после садов Ватто. Эта изящная игра в любовь обогатила душу француза, привила ей новые запросы. И век романтизма, век Бурже, ^[47] описанный в его «Богеме» — с трогательной привязанностью гризетки к студенту, — был только отблеском великой эпохи, когда умели плакать от любви и умирать с улыбкой. А что мы видим теперь? В нашем торгашеском и развратном мире нет уже места великой любви. Поэт ищет вдохновения на бульваре, а жизнь прекрасной женщины рядом с практичным мужем, никогда не знавшим беспредметной сладкой тоски о любви — ему ненужной, — полна горечи и разочарования. И если она в другом месте ищет удовлетворения своего душевного голода, ее ждет только плоский, унижающий душу адюльтер. Что может предложить тоскующей в одиночестве женской душе современный мужчина, который *никогда не знал потребности в любви?*

Когда проснулись его первые эротические порывы, он погасил их в объятиях проститутки. Затем он учился. Добивался своего места в жизни. Делал карьеру или имя. Когда тут любить? Флиртовать? Ухаживать? Вдумайтесь в это опошленное слово — *ухаживать*! А ведь оно очень значительно. Мы *ухаживаем* за тюльпаном, иначе он не вырастет. Мы *ухаживаем* за землей, иначе она не даст урожая. Но ухаживать за женщиной, культивируя свое и ее чувство? О, нет! Некогда!! Мужчина боится большой, серьезной любви, требующей жертв. Любовь и страсть отнимают массу времени. А современный делец и ученый не считает возможным тратить время на «глупости». Его от рождения плоская душа *не ищет*. И когда в нем просыпается смутная тоска, он не в силах понять ценность и значение этого момента. Он бежит к первой попавшейся женщине и в случайной, ничего не говорящей душе чувственной связи бессознательно убивает прекрасное стремление, которое дало бы его убогой жизни радости и краски. А если он человек чувственный, то он спешит жениться. За имя, стол и квартиру он получает женщину. Слава Богу! Выход найден. Можно пропадать целыми днями, накапливая богатства, играя на бирже, или создавать умственные ценности, работая в университете или лаборатории. Все равно! Жена не уйдет. Жене принадлежит ночь. А тоскует ли жена его в этой обстановке, где сыто одно тело ее, разве он спрашивает? Но допустим, что она сама сказала ему о своей тоске? Вы думаете, он ее поймет?

Горько улыбнувшись, Глинская ходит по комнате. И морщинка между ее бровей становится еще резче.

— Это наша общая трагедия, Марья Сергеевна. Я не говорю о девушках, продающихся в браке. Я говорю о тех, кто ищет в замужестве с любимым человеком полного гармоничного аккорда этой песни любви, которая звучит в каждой девичьей душе. Для девушки брак — это начало половой жизни. Момент прекрасный и роковой зачастую. Представьте себе — страстную женщину и мужчину, истощенного ранней половой распушенностью! Сколько драм на одной этой почве! Сколько болезней! Сколько разбитых жизней! Мужчина привык подходить к проститутке с эгоистической жадью собственного наслаждения. Ответного волнения он не ждет. И требовательность жены его пугает и возмущает. «Это безнравственно! — говорит он ей. — Порядочная женщина не должна быть чувственной...» И эти чудовищные обвинения неопытная женщина глотает как заслуженное оскорбление. Что может она возразить опытному мужчине? В ней говорит голос крови. А в нем инстинкт собственника, которому грозит призрак измены.

Она поднимает заледеневшие руки к пылающим щекам.

«Бедняжка! — думает Маня. — Ты все это пережила».

— И вот уже намечены первые причины вражды. Есть мягкосердечные женщины, которые прощают мужу страдания неудовлетворенной чувственности. Но взамен они требуют нежности, внимания. Они так одиноки! Они плачут. Муж опять возмущен. От него слишком много требуют. А он уже дал все, что мог... Имя, обеспечение, положение в свете, детей, наконец. Откуда эта тоска? Она опасна. Пахнет адюльтером. Скорей, скорей! Дать ей еще ребенка! Подарить ее новой беременностью. Новыми заботами угасить этот пыл души. Тогда самому можно бежать в маскарады, в клубы, на скетинг-ринг^[48]...

Дрожащими руками Глинская раскуривает папиросу. Брови ее нахмурены, и нервически дергается уголок рта.

— Но не все женщины так пассивны, Марья Сергеевна! Есть такие, что бессознательно протестуют против унижительной роли, какую мужчина отводит женщине в своей жизни. Физиологический половой акт, лишенный каких бы то ни было иллюзий, таким утонченным натурам кажется оскорблением любви, они от него отказываются. И вот брак уже разрушен. Без адюльтера, заметьте! Он уже потерял свой смысл. И кто виноват? Мужчина, который с пустой душой, с пониженными требованиями, с упрощенной схемой брачных отношений подошел к женщине, жаждавшей отдаться ему душой и телом и в браке видевшей цель своей жизни.

Она садится в кресло и задумчиво докуривает папиросу.

— Да, Марья Сергеевна... Развенченной царицей бродит среди нас эта великая любовь. Учат стыдиться ее. Учат бояться! Она унижена и опозорена. Тщетно стучится она в людские сердца.

— Как странно! — перебивает Маня. — Я считала, что мы, женщины, слишком много отдаем этой любви. И что с нею надо бороться, как с хищником.

— О да! В этом вы правы! Наше уродливое, нелепое воспитание поставило в центре женской жизни любовь. Между тем как любовь ни для мужчины, ни для женщины не должна быть основой жизни. Она лишь ступень в стремлении человека ввысь. Лишь возможность проявить себя ярко и всесторонне. Отведите любви какое хотите место в вашей жизни: второе, третье, десятое... Но не изгоняйте ее из храма души. Потому что без нее погаснет огонь на алтаре. Сорные травы вырастут между мраморными плитами. И наступит мерзость запустения. Потому что только в любви, Марья Сергеевна, я вижу осуществление всех гибнущих сейчас возможностей и возрождение вырождающегося человечества. Поверьте

мне, если бы любовь не считалась грехом или запретным плодом, она никогда не поглощала бы всецело наше женское сознание. И бороться с нею будет смешно, когда она получит в обществе права гражданства. Теперь же любовь, это величайшее благо, этот прекраснейший дар природы, — как все у нас, в нашем мещанском обществе, — является уделом избранных. Девушки не смеют любить вне брака. Они ждут жениха. А потом старятся с разбитой душой и с искаженным телом. Юноша тоже не смеет любить. Он не смеет обнять свою любимую невесту и с нею пережить экстаз души и плоти. Он этого не смеет, пока не станет на ноги. А это случается не раньше тридцати лет. За границей и позже. Боже, как уродлива жизнь. Сколько гибнет ежедневно мощных и красивых порывов! Сколько поэзии уходит из мира ежечасно!

— Но, постойте, есть же иная любовь... Свободная...

— Ах, оставьте! Мы все это знаем. Когда-то в этом видели панацею. Жизнь доказала, что надо изменить в корне всю психику человека, надо перевоспитать его душу, чтобы он дорос до понимания, что такое свободная любовь! В какую иронию обращают это великое слово наши современники, воспитанные прежде всего на уважении к собственности! Я виню в этом не только мужчину, Марья Сергеевна, но и женщину. Все виноваты. В любимом существе все видят прежде всего собственность. Не смеешь интересоваться другим, говорить с другим, искать чужой симпатии, дружбы. Все это оскорбление. Даже думать о другом — это измена! На тело и душу любимого существа и мужчина и женщина накладывают свою лапу. Нас так воспитали. С молоком матери мы всосали эти старые чувства пещерного человека. За каждый поцелуй мы требуем, чтобы мужчина платил нам своей свободой, жизнью и будущим. И за одну ночь любви, за наш добровольный и прекрасный дар, мужчина — вместо благодарности — готов взять нас за горло и кричать: «Теперь ты моя! Убью, если поцелуешь другого!»? И общественное мнение аплодирует. И потом эта ужасная жизнь вдвоем, под одной кровлей! Не иметь потребности в своем угле. В одиночестве. Я еще понимаю, когда нужда заставляет людей жить в одной комнате! Но многие ли обеспеченные люди, сойдясь, надумают жить врозь! Эта вечная обнаженность нашей внешней и внутренней жизни. Наивное или наглое требование не иметь тайн. Я содрогаюсь, когда вижу, что она распечатывает письма, адресованные ему. А многие ли меня поймут! В свободном союзе мужчины те же собственники, те же насильники. Они так же мало уделяют времени женщине. Так же мало берегут чужие настроения. Так же бесцеремонно вторгаются с грязными ногами в цветущие сады чужой души и топчут его нежные ростки. В свободный

союз они вносят всю тиранию законного брака. И откуда им стать другими?

Глинская звонит и велит подать еще чаю.

— В свободной любви есть одна хорошая сторона: более легкая расторгимость уз, чем в легальном браке. Зато здесь есть страдающие дети, которых не охраняет закон. И вот причина антипатии женщины к гражданскому браку и страх ее перед свободной любовью. Инстинктивно желая сохранить свое потомство и обеспечить ему жизнь, она отвергает нелегальные узы и крепко держится за цепи, которыми и ее, и ее избранника связал закон. Это понятно. Это не требует объяснений. Но я настаиваю на том, что и в свободном сожителстве двух влюбленных так же быстро улетает любовь, оскорбленная прозой постоянной, откровенной близости, этим внешним и внутренним обнажением, исключаяющим всякую тайну. Нам, женщинам, тоже нечем кичиться! В свободной любви мы также беззастенчиво эгоистичны, как и мужчины. Разве мы ищем понять душу любимого человека? Его мирозерцание, его индивидуальность? Мы хотим любить его таким, каким создала его наша фантазия, воспитанная на романах. Его Я мы игнорируем. Мы с ним не считаемся. А когда оно проявляет себя, мы кричим: «Обман! Низость! Нас обокрали. Убиты наши иллюзии». Разве подходим мы с уважением к его труду и творчеству, к его высоким стремлениям? Не требуем мы разве, чтобы он пожертвовал всем для нас? А если для этого он должен пренебречь своей диссертацией, своей книгой, своей поэмой или картиной, что делать! Все, что не несет материальных благ, враждебно жене и любовнице, особенно, если она стала матерью.

— Но что же предлагаете вы? — спрашивает Маня, вся подаваясь вперед, глубоко захваченная.

— Культ любви. Самой возвышенной, тонкой, бесполой, если хотите, любви. Но об этом потом, потом, — улыбается Глинская, видя удивленный жест Мани. — Я перейду к практическим мерам. Дети обоего пола должны воспитываться и обучаться вместе. И не в далеком будущем, а теперь, сейчас! Тогда они с детства приучатся видеть друг в друге товарищей и равных. Общее учение и общие игры, благотворное влияние одного пола на другой, уничтожение предрассудков, мешающих сближению полов, мешающих дружбе и интересу к личности. Разве вам не приходилось слышать десятки раз иронические возгласы: «Дружба между мужчиной и женщиной? Да это насмешка! Или же она совсем безобразна и ее нельзя желать?» Надо так воспитывать людей, чтобы вытравить из их душ понятие о собственности в любви и дружбе. Надо научить бережливому отношению к душе другого. Только мальчики и девочки, растущие вместе, рядом,

смогут видеть в другом прежде всего личность, а потом уже пол. Конечно, наступит момент, когда проснутся инстинкты...

— Вот это самое важное. Что тогда?

— Да, это трудная задача. История не дает нам примеров...

— А Спарта?

Глинская берет за виски.

— Ради Бога, только не Спарта! Разве там считались с личностью? Разве там было право выбора и естественного подбора? Как всякое государство, Спарта накладывала свою лапу на жизнь индивидуума, принося ее в жертву отвлеченному понятию. Там, как на конских заводах, улучшали породу людей. Там убивали девочек и хилых младенцев. Не говорите мне о Спарте! А Кампанелла с его «Городом Солнца» еще ужаснее^[49]. Он откровенно смотрел на юношей и девушек, как на племенных самцов и самок. И назначал для любви известные часы и дни!

— Какой ужас! Какой цинизм!

— Только социалисты могут дойти до таких абсурдов. Только государственники в своем стремлении укрепить власть могут так жестоко топтать в грязь и игнорировать бессмертную душу человека с ее божественными желаниями! Знаю твердо одно: в тот день, когда юноша прижмет к груди без страха и оглядки ту, которая пробудит впервые в душе его трепет желаний, а девушка отдастся своему порыву, не спрашивая о том, на что будет он содержать ее и будет ли он любить ее вечно, — этот день будет началом величайшей эры в жизни человечества. Исчезнет кошмар проституции, этой семиголовой гидры, которой мы несем неисчислимые жертвы, яд которой отравляет даже невинных детей. Природа, как Иегова, мстит до седьмого колена человеку, поправшему божественное право любви!

— Пойдите, но ведь для этого нужно...

— ...то, над чем работает Ксаверий: общественное воспитание детей и охрана материнства.

— Боже мой! Как мы далеки от этого!

— Да. Это идеал. Это золотая греза человечества. Но согласитесь, что это единственное, что освободит женщину; что даст ей возможность развивать свой ум и способности; что позволит ей заниматься общественной работой наравне с мужчиной и получать равное с ним вознаграждение; что избавит ее от экономического и морального рабства. О, я предвижу целый ряд драм! Новый мир строят только на развалинах старого, и под обломками гибнут те, кому дорого было это старое. Но знаете поверье? Крепки те стены, что стали на костях человеческих. И в

этой ломке настоящего во имя грядущего счастья будет много слез и мук. Все это неизбежно. Всякий шаг к свободе залит кровью. Но кого это может остановить? В битве всегда гибнет авангард. Но разве война этим кончается? Новаторы всегда не поняты, всегда несчастны. Но разве вы видели когда-нибудь, чтобы рожденные борцами возвращались назад, признав себя побежденными? Они падают, но не сдаются.

— Я завидую вашей вере! — говорит Маня.

— Марья Сергеевна, все, о чем мы говорили сейчас, касается только половой любви. Но есть другая. И вы это знаете, как и я. Можно обладать женщиной и наслаждаться ею, не любя. И можно любить, не обладали мы тоже получаем наслаждение с людьми, чуждыми нам по духу, хотя и связанными с нами узами брака. И детей рожаем от них. Но это не мешает нам отдавать душу другому. Любить безмолвно и бескорыстно. Гете это очень ярко выразил в своей «Wahlverwandschaft» ^[50]. Помните? Два друга женаты. Постепенно каждый из них увлекается женой другого. И жены чувствуют то же. Все остаются верны долгу. Никто не разрывает связи, в основе которой лежит чувственность. Но в объятиях мужа душа одной из этих женщин рвется к любимому и недоступному существу. И в результате — ребенок похож не на отца, а на того, о ком грезилась мать в момент экстаза.

— Как это тонко! — шепчет Маня.

Глинская берет со стола иллюстрированный немецкий журнал.

— Вы видите этот портрет? Знаменитая Грета Мейзель-Хесс. После Отто Вейнингера ни одна книга не возбуждала такого шума, как ее.

— Ах! Ваша тема...

— Эти идеи веют в воздухе, Марья Сергеевна. Вся наша моральная атмосфера пропитана ими. Эти вопросы наболели у всякого тонко чувствующего человека. И надо быть лицемером или трусом, чтобы их замалчивать. В моей пьесе «Свободная Любовь» три года тому назад — помните? — я высказала те же мысли.

— Да... да... вспоминаю...

— Эту книгу я послала Грете Мейзель-Хесс и получила от нее прелестное письмо. Она предлагает мне работу в журнале, издающемся в Мюнхене. Хочет напечатать мой портрет и автобиографию. Но не это важно. Меня радует, что мы единомышленники и что ее книга строит новое прекрасное здание будущего на развалинах нашей морали. Моя задача теперь сводится к тому, чтобы, развивая собственные мысли, пропагандировать одновременно и ее идеи. Моя книга — это критика и комментарий к ее книге. Как всякая критика, она будет ценна постольку,

поскольку она выявит истинное Я разбираемого автора и отразит мирозерцание критики, то есть мое собственное. Мало того, книгу Греты я переведу на другие языки. Я так захвачена этой работой сейчас!

— Счастливица! Но что же сама Грета говорит о любви?

— Она исходит из точки зрения, что наша буржуазная мораль совершенно игнорирует счастье индивидуума и интересы расы в угоду интересам собственности. Знаете, Марья Сергеевна, я часто думаю, что символом нашего века может служить громадный висячий замок на двери и пес, стерегущий вход. Потому что наш кумир — *Собственность*. Все ему подчинено: и личность, и счастье ее, и любовь. Отсюда и нерасторжимость брака, которая, в сущности, противоречит всем законам психологии. Нельзя ошибаться в выборе, — говорит наша мораль! Найди свое счастье сразу, навсегда — среди *и* миллионов людей! Поиски нового счастья являются уже развратом, и общество карает преступившего! закон. Особенно, если это женщина. А Мейзель-Хесс говорит: «Брак подобен квартире. Ее темные стороны выступают только, когда в ней обживешься»... И она требует, чтобы общество признало нормальным явлением смену любовных союзов на протяжении всей жизни.

— Это смело.

— Не правда ли? Ей безразлично, насколько пострадают от этого интересы собственности. Ей важно счастье индивидуума. Ей важна гигиена расы и возрождение человечества — задачи, которые совершенно забыты в настоящее время.

— Она, значит, совсем отвергает брак?

— Напротив! Она, как и я, признает его как идеал. Но как и я, она думает, что даже в будущем длительный союз двух гармонично звучащих тел и душ останется только мечтой! И где же эта великая любовь? Ждать ее? Она так редко встречается на наших перепутьях. И даже когда встретится, то люди второпях проходят мимо этой прекрасной богини, не оглядываясь, не подозревая, что счастье всей жизни стояло рядом с ними! Что же остается тем, кто никогда не видел даже вдали светлое лицо большой любви? Проституция? Или брак по расчету? Мейзель-Хесс пропагандирует «Любовь-игру». «Необходимо, — говорит она, — накопление *любовной потенции* в душе человека». Это не будет трагической любовью, жертв которой так много среди женщин. Но это не будет и голой чувственностью. В этой «школе любви» от обоих партнеров потребуется бережливое, вдумчивое отношение друг к другу. То, чего — повторяю — нет сейчас даже в свободной любви. Но есть еще одно еще более ценное преимущество в этой *дружбе-любви*...

— Как вы сказали? Дружба-любовь?

«То, что мне предлагал Гаральд и что я отвергла», — грустно думает Маня.

— Да, дружба-любовь. Мейзель-Хесс говорит, что современное человечество живет под темным знаком страсти. Я сказала бы, чувственной. Эта страсть всегда стремится поглотить другое Я. Она всегда борьба. А победу одерживает не тот, кто любит глубже и сильнее, а кто любит примитивнее и эгоистичнее... И ужас этой страсти в том, что оба теряют себя и совершают этим величайший грех. Для женщины это даже стало догматом. Отказаться от себя — высшее доказательство любви. Как вы смотрите на меня, Марья Сергеевна! Вы пережили когда-нибудь этот ужас?

— Да, да, это самое страшное желание. Это самая темная волна, которая всегда может подняться со дна нашей души.

— ...и смыть мгновенно все здание, которое мы строили. Любовь-игра и любовь-дружба не поработают личности. Не отнимают свободы внутренней и внешней. Только пройдя эту школу, человек научится любить...

— ...радостно и легко? Это то, чему учил Ян?

— Да, да, конечно, — изумленно соглашается Глинская. — Теперь я вспоминаю, что, читая «Сексуальный кризис», я все время думала, где я раньше — много раньше — встречала уже эти самые мысли? Это книга Яна. Любить легко и радостно. Это та же игра-любовь, которая не опустошает человеческую душу — как это думают наши догматики, — а напротив, обогащает ее утонченными переживаниями. И кто поручится, что из этой *игры* не вырастает большая любовь?

Маня задумчива. Ей снова вспоминается Гаральд.

— Но Грета Мейзель-Хесс идет дальше. Признавая как идеал моногамный союз, основанный на большой любви, она не считает «бессменность» партнера его неизбежным атрибутом. Она говорит, что чем сложнее психика человека, тем неизбежнее смены. Отсюда вытекает необходимость «последовательной моногамии». Интереснее всего, Марья Сергеевна, что социал-демократ Богданов в своем утопическом романе «Красная звезда» ^[51] идет еще дальше: он признает возможность одновременной любви к двум. Он тоже находит, что душа человека слишком многогранна, чтобы можно было удовлетвориться любовным общением с одной. *Одна* бессильна дать то, что дает *другая*. А человеку для счастья нужны *обе*. Вы смеетесь? Вы понимаете, как шокированы были этими мыслями многие из его товарищей? Все они читали Бебеля

«Женщина и социализм», а в своей любви остаются теми же мещанами. Видите, как трудно перевоспитать себя! Сколько лет надо, чтоб в корне изменить психику! Особенно трудно перевоспитать женщину, которая сейчас в любви видит...

— ...Альфу и Омегу жизни, — подсказывает Маня, вспоминая о завещании Яна.

— Надо, чтоб в любви она видела не лицо Медузы, а великую творческую силу, обогащающую нашу жизнь и возрождающую человечество. Добавлю от себя, что, следя за русской и иностранной беллетристикой и наблюдая жизнь вокруг, я замечаю тут и там, как блески золота, вкрапленные в кварц, этих новых женщин. Они интуитивно идут путем, о котором говорит Грета Мейзель-Хесс. Они бредут ощупью, впотьмах. Они не знают еще, где и когда покажется солнце, к которому тянутся они через дремучую чашу жизни. Но они уже свернули с проторенной поколениями большой дороги. Пожелаем им выбраться скорее на простор!

Она задумчиво глядит в окно. А в ушах Мани звучат слова Яна:

Привет вам, новые женщины!

Вам, дерзнувшие!

Вам, свергнувшие иго любви!

От Мани Ельцовой Соне Горленко

Больё

Я удивлю тебя неожиданностью, дорогая Соня. Я покидаю сцену. «Почему?» — крикнешь ты, Этот возглас я читаю на всех лицах, во всех газетах. «Несчастливая! — сказал мне Нильс. — Да ты совсем больна?» Марк молчит, но думает то же самое. Воображаю гнев Изи! Отсюда слышу упреки Агати. О, Боже мой! Кто поймет меня? Где же тот, кто протянет мне руку в эту трудную минуту моей жизни?

Если ты думаешь, что это аффект, каприз, истеричная выходка, ты ошибаешься, как и все. Если ты скажешь, что я не люблю искусство, — это будет клеветой. Оно дало мне высшие радости в моей жизни, и я рождена артисткой. Но где зритель, для которого бьется мое сердце?

Я его видела один раз, этого родного мне зрителя, для которого искусство — праздник, а артист — волшебник, несущий забвение, имеющий силы мириться с действительностью. И воспоминание о нем преследует меня. Даже во сне я вижу его. Встречу с ним я смутно предчувствовала давно-давно. И если не приснилось мне то, что я пережила в Лондоне.

Слушай, Соня! Этот кризис назревал во мне не со вчерашнего дня. Когда я ехала в театр, я всегда утешалась мыслью, что есть дешевые места (более или менее, конечно) и что эти места заняты бедняками: поэтами, студентами, курсистками, приказчиками, портнихами. О них я думала, играя. Для этой маленькой горсти людей я жила и горела на сцене. Выходя на вызовы, я всегда глядела вверх. Но чем известнее я становилась, тем шире развиралась пропасть между мной и этими людьми только потому, что у них нет бешеных денег на развлечения. Вспомни, Соня, мою публику: этих пышных дам с муфтами в руках; этих скучающих лысых молодых людей в смокингах; этих вылощенных военных; этих плешивых, обрюзглых меценатов. Пьесы Чехова, сказки Метерлинка, вдохновенная музыка Скрябина, гениальный танец Айседоры Дункан, игра Моисси^[52], кровью сердца писанные строки Горького — все для них забава! А наглые лица журналистов? Могут ли эти люди проникнуть в душу творившего? С уважением подойти к чужому труду? Оплевать, унижить, освистать, втоптать в грязь — вот что могут они. Вот единственное, чего они хотят.

«Сколько горечи! — думаешь ты. — Неблагодарная Маня!» Да, я удачница. Но я только недавно от Изы узнала, чего стоила Марку (приблизительно, по ее подсчету, он все отрицает из деликатности) реклама обо мне во всех городах, где я играла. Без этой рекламы меня не выдвинул бы ни мой талант, ни моя страстная любовь к искусству. Но ведь реклама выдвигает и посредственностей. И загнипнотизированные мещане принимают их с тем же почетом, что и истинных артистов. Чего стоит их оценка?

Марк и Нильс еще надеются на что-то. Напрасно. Я заплачу громадную неустойку и, быть может, опять буду бедна. Газеты выпустят ряд нелепых статей. И этим скандалом

закончится моя артистическая карьера.

А мне хочется плясать танец диких. Я счастлива, счастлива! Еще недавно передо мной лежали два пути — любовь и рабство или свобода и искусство. Я выбрала последнее. Ты не знаешь этой страницы моей жизни. Она залита кровью моего сердца. Не надо вспоминать! Все ушло. И опять жизнь вся передо мною. Стою на горе и смотрю вниз. Бесчисленные тропинки бегут, разбегаются во все стороны. Зовут. Манят в неведомое. Какую выберу? Какой пойду? Знаю одно: к новой жизни ведет каждая из них. Знаю одно: назад дороги нет!

— Я не помешал вам? Простите! Я так счастлив, что вы наконец поправились.

Лорд Литтлтон — стройный элегантный брюнет с тонким породистым лицом. Ему нельзя дать его пятидесяти лет. Он прекрасно говорит по-французски, с еле заметным акцентом. Его серые холодные глаза останавливаются на лице Мани с нескрываемым восхищением. И Мане это приятно. Когда она благодарит его за цветы, ей досадно, что щеки ее пылают. Хотелось бы большего самообладания. Но тщетно старается она разбудить в себе враждебное чувство к англичанину. Ее подкупает эта страсть.

Лорд поражен ее решением бросить сцену. Смеет он спросить, почему?

Она отвечает уклончиво. Объясняет все переутомлением. Она заметно волнуется. Как хорошо, что он сам так владеет собой и с таким тактом поддерживает разговор!

Она отвечает рассеянно, невпопад. Сейчас Марк вернется из Ниццы к завтраку. Не нужно, чтобы они встречались.

Вдруг он смолкает, и Маня пугается. Сейчас, сейчас случится то, что давно уже готовилось, давно уже назревало. Господи! Если бы исчезнуть сейчас, провалиться...

— Miss Marion, вы догадываетесь, о чем я хочу просить вас?

Маня низко наклоняет голову. Она слышит дрожь волнения в этом сдержанном, всегда сухом голосе. Но почему же ей только стыдно и жалко? И ничуть не хочется торжествовать?

— Вы слишком тонкая натура, miss, чтоб не угадать, почему я следую за вами из города в город. Почему я позволяю себе докучать вам этим поклонением и афишировать его. Я прошу вас быть моей женой, Marion...

Вот они, эти слова, которых еще месяц назад она так страстно

добивалась тонким, рассчитанным кокетством. Зачем? Чтоб в лице этого человека унижить леди Файф, леди Гамильтон, всех этих надменных и чопорных людей, видевших в ней я Нильсе только развлечение, только низших существ? О, как далеки и бледны кажутся теперь ей эти обиды! Узнает ли об этом признании леди Гамильтон? Не все ли равно теперь?

Она поднимает голову с нежной виноватой улыбкой и ласково кладет руку на рукав его пальто.

— Милорд, простите! Здесь недоразумение... Если б я знала...

Она видит, что он бледнеет. Он стискивает сухие, твердо очерченные губы «Боже мой! Что я наделала, подлая! Зачем?»

— Недоразумение? Что вы хотите сказать?

— Вы... я... вы... ничего не слышали? Я давно уже обручена.

Он делает движение.

— С бароном Штейнбахом?

— Да-да. Как жаль, что я вам этого не сказала тогда! Но вы не спрашивали. Простите... Вы сердитесь? Вы страдаете?

Чуть не плача, она глядит в его окаменевшее лицо.

Его лицо смягчается. Он вдумчиво смотрит на нее. Потом берет ее руку и нежно держит в своей. И Маня впервые чувствует очарование, которым веет на нее от этого человека. Впервые чувствует она, что их души соприкоснулись.

— Вы постараетесь меня забыть? — жалобно спрашивает Маня. — Вам будет тяжело вспоминать обо мне?

— Напротив. Разрешите мне изредка писать вам. Оставьте мне маленький уголок в вашей памяти! Я не хочу верить, что вы не вернетесь на сцену. Это было бы слишком тяжелым ударом для меня и невозполнимой потерей для искусства.

Когда он уходит, почтительно и нежно поцеловав ее руку, Маня слушает затихающий звук его шагов. И тихонько плачет. О чем? Она боится сознаться даже себе, что ей так безумно жаль... Исчезающей навсегда возможности? Вырванной внезапно страницы из ее жизни? Слов любви, которых она не дослушала, которыми она не упилась досыта? Опьяняющей радости обладания чужой душой? Упоительной, одухотворенной дружбы-любви, о которой говорила ей Глинская? Боже мой! Зачем нужно расстаться именно теперь, когда они впервые почувствовали духовную близость? Когда она впервые осознала свое влечение?

С этим утонченным, образованным, очаровательным человеком она пережила уже немало прекрасных минут.

Теперь этого уже не будет. Они не встретятся. Кончена игра-любовь.

Нет свободы. Надо ломать себя. Вечно обрезать крылья души. Марк ревнует. Марк страдает. Ему недешево далось ее увлечение Гаральдом. У него уже ясно выраженный порок сердца. Это в Лондоне сказал ей знаменитый врач. Волнение может убить его. А этой потери она не переживет!

— О чем ты плачешь? — слышит она голос Штейнбаха.

— Ах, ты вернулся, Марк! Так, ничего... Ее обращай внимания. Поцелуй меня, Марк! Я сейчас буду улыбаться.

Но Штейнбах холоден. Его брови нахмурены.

— Я по дороге встретил лорда Литтлтона, Он был здесь?

— Да-да. Он приезжал проститься. Он уезжает.

Штейнбах садится поодаль и сумрачно думает о чем-то.

— Отчего ты плакала? Тебе было жаль расстаться?

Она молчит, разглядывая свои пальцы. Плакать она перестала. Его холодный взгляд и этот тон допроса раздражают ее.

Ей так сладко было в первый раз принести ему жертву. Горечь и гнев поднимаются к горлу, начинают душить.

— Говори откровенно. Пожалуйста, не щади. Что тебе нужно? Диктуй. Я буду слушать. Прикажешь опять удалиться?

Он роняет эти слова медленно, с недоброй усмешкой. Задает вопрос — и ждет ответа.

Она вдруг поднимается с пылающими глазами.

— Уйди! Уйди! Не смей меня мучить. Не смей мною играть!

— Я тобой играю?

— Да, играешь. Да! Ты, как тряпку, перешвыриваешь меня от Нелидова к Гаральду, от Гаральда к Литтлтону, даже к какому-то шарманщику.

— Недурно сказано. Я, стало быть, виноват?

— Да, ты один виноват. Почему ты все терпишь и молчишь? Почему ты не возмутишься? Почему не борешься за свое счастье? Или оно тебе недорого? Или же ты думаешь, что я всегда, во всех случаях все-таки вернусь к тебе? Так? Так? Это или боязнь померяться силами, или...

— Или?

— Или дьявольская самонадеянность. Ты думаешь, что я дня не проживу без тебя? Что мир опустеет без твоей любви? Хороша любовь, которая не знает ревности!

— Почему ты думаешь, что я не ревную? Маня вскакивает с дрожащими губами.

— Лжешь! Лжешь! Ты не умеешь любить. Ты не способен ревновать.

Если б на твоём месте был Нильс, он запер бы меня на ключ, избил бы, может быть, оскорбил бы этого лорда, вызвал бы его на дуэль, убил бы его, меня, себя, наконец! Вот что делают ревнивые люди. А у тебя душа бессильная, чувство бледное. Да! Да! Да! — кричит она, глядя в упор на медленно бледнеющего Штейнбаха.

«Боже мой, что я делаю, зачем я это говорю?» Сама она бледнеет внезапно от подхватившего её вихря безумия и отчаяния. Но остановиться не может. Точно демоны завладели её душой и за неё выкрикивают эти жестокие слова.

— Ну, так знай же, он сделал мне предложение, просил быть его женой. И я не отказала ему. Слышишь? Не отказала. Я обещала подумать. Марк! Марк! — дико кричит она, кидаясь за Штейнбахом. — Куда ты? Постой, что ты хочешь делать?

— Не все ли тебе равно?

— Постой, Марк... слушай! Боже мой! Что с тобой? Сердце? Я убила тебя? Марк... Марк... Это ложь. Я с ума сошла. Мне никто не нужен, кроме тебя. Никто в мире!

Она звонит. Штейнбах уже лежит на кушетке, держась рукой за сердце. На лице его какие-то зловещие синие тени.

— Доктора, скорее! — кричит она лакею. И дрожащими руками наливает воды. — Выпей. Постой, где капли? У тебя?

Она возвращается. Быстро, умело делает компресс из глины, которая всегда у Штейнбаха под рукой. Штейнбах пробует улыбнуться.

— Марк! Счастье мое! — шепчет она сквозь слезы, опускаясь на колени перед ним и целуя его руки. — Как мог ты мне поверить? Мы с ним не встретимся никогда. Я люблю тебя, мое сокровище... Ну прости меня, безумную. Я никогда не буду больше огорчать тебя. Никогда не заставлю тебя страдать. Скажи, что, что должна я сделать, чтоб доказать тебе мою любовь?

— Обвенчаться со мной, Маня, — еле слышно шепчет он. — Тогда я поверю.

Она прижимается лицом к его плечу и плачет.

— Ты согласна?

— Боже мой! Да, если ты этого хочешь! Разве ты и Нина не единственное мое счастье?

От Мани Ельцовой Соне Горленко

Дорогая Соня, мы вернулись в Париж, и завтра наша свадьба.

«Наконец!» — скажешь ты, любящая Марка таким высоким, светлым чувством, лишенным ревности, совсем непонятным мне. Но для меня, поверь, эта свадьба — неожиданность. Я давно перестала думать о браке с Марком. Разве это может что-нибудь прибавить к моему чувству?

Как это случилось? Видишь ли, в Лондоне мы целыми днями отравляли друг другу жизнь. Я безумно ревновала его к одной женщине. Я стала прямо невменяемой от ревности. И даже один раз, ради Бога, не презирай меня, я ударила его. Это было ужасно, Соня! Если б он рассердился, мне было бы легче. Но он обхватил меня руками и с такой режущей душу печалью сказал: «Бедная, бедная деточка!» Тут я сразу почувствовала себя виноватой и прямо изошла слезами, Марк сравнил меня с ребенком, которому в руки попал нож. И он ранит им себя и кричит, и плачет, и невольно наносит раны всем, кто хочет его обезоружить и приласкать. Места живого не было в моей душе. Боже мой! Какое счастье, что этот кошмар миновал!

Марк тоже ревновал меня к очень интересному человеку, эстету и балетоману. Ты помнишь мой жемчуг? Это лорд Л. поднес его мне в подарок от себя и группы поклонников еще в мой первый приезд. Теперь же он стал моей тенью и ездил за мной из города в город. Я дала Марку слово, что мы не встретимся больше. И это слово сдержу. Он мне сказал: «Когда дело идет о мимолетном увлечении или капризе, я всегда готов на время устраниваться. Не хочу насилия. Боюсь, что ты пожалеешь потом об утраченном миге! Счастье твое дороже мне моего покоя. Но лишиться тебя совсем, видеть тебя женой другого — значит перестать жить». Понятна ли тебе его психология? Мне, ревливой и страстной, мне, жадной на радость, чуждо такое высокое самоотречение.

Мы избегали огласки. Но все-таки противная улица не пощадила нас. Появились статьи о браке русского миллионера со знаменитой босоножкой, наши портреты и т. д. Я с содроганием отворачиваюсь от газет, как будто это скользкие и вонючие жабы. Завтра вечером поезд умчит нас далеко, далеко от зрителей и журналистов, куда-нибудь в горы, в пустыню, где встретит нас одно Молчанье. Мы будем вдвоем. Мы будем

слушать тишину. Я прижмусь к его сердцу.

Агата ликует. Иза сердится. Хорошо, что Нильс остался в Монте-Карло! Боюсь, что он прибил бы меня.

Вот что пишет мне Глинская в ответ на мое приглашение заглянуть к нам завтра:

«Итак — после долгих лет борьбы, мечты и стремлений, после упорного труда и напряженных исканий, которым аплодировали мы все, любившие следившие за вами из своего уголка, после гордого одиночества и крутого пути вверх, — вы кончаете, как все кругом. Я помню вас еще бедной, никому не известной ученицей Изы Хименес, с пламенными глазами и уже с горькой складкой губ. Но какая вера в себя горела в этих глазах! Вы кидали вызов миру. И я чувствовала, что вы выйдете победительницей. Вы были похожи на дерзкого, который со смелостью отчаяния в утлой лодчонке решил переплыть океан. Вы боролись с волнами и высоко взлетали на их гребне. И падали в бездну, чтобы вновь подняться на другой волне. И мы опять аплодировали вам, талантливая и гордая женщина. Что случилось с вами? Неужели усталость поманила вас в пристань? Или же лодка дала течь? Неужели это поражение?»

Что мне ответить ей, Соня? Разве я думаю о победе или поражении, когда речь идет о счастье Марка? Но я знаю одно: моя жизнь не кончилась сейчас. Она только начинается. Не сомкнулся мой горизонт. Не ушли от меня розовые дали. Все объясню потом. А сейчас шлю тебе мой привет, дорогая. Тебе и дядюшке. Пусть не горюет, что я покинула сцену! Я нашла лучшее. Я не ухожу от людей. Не замыкаюсь в мое маленькое личное счастье. Душу обновленную и радостную несусь я людям. Жди нас! Мы вернемся.

Час ночи.

А я еще не сплю, дорогая Соня. Как хорошо, что Марк помешал отправить мне это письмо! Утром мы ездили в русскую церковь и в консульство за какими-то бумагами...

Я рада, что могу говорить с тобой в эту минуту! Агата спит. Прислуга давно отпущена на покой. Моя вилла вся погрузилась в мрак. Я одна. Завтра я перееду в дом Марка, чтобы, никогда, никогда не расставаться с ним. Он хочет так.

Я одна. Мне хочется плакать. О чем? Не знаю, не знаю. Я

смотрю на портрет Марка. Чудные брови. Грустные глаза. Скорбная улыбка. Сделаю ли я его счастливым? Он ничего не спрашивал. Я ничего не обещала. Ах, он слишком умен, чтобы не знать цену словам и клятвам! Но я чувствую, что, как истинный семит по крови — несмотря на то что он ариец по духу, — он придает большое значение обряду, который для меня пустая формальность. Он считает, что брак свяжет нас еще крепче. Нет. Нас связали эти годы страданий, когда мы шли вверх рука об руку по крутому пути. И я клянусь никогда не покинуть моего верного товарища — благороднейшее создание в мире. Я целую его портрет и плачу. Соня, ты не будешь смеяться. Ты меня поймешь. Зачем его нет здесь со мной? Зачем мы врозь в эти минуты, когда сердце мое полно им одним? Он никогда не видел у меня таких счастливых слез. Он никогда не видел такого порыва нежности. И если бы сейчас...

Она вдруг встает вся бледная и бросает перо.

Среди ночи Штейнбах слышит звонок.

«Телеграмма, — думает он, зажигая электричество. — Что-нибудь важное. Из Петербурга. От Семена Николаевича. Неужели опять ехать туда? Бросать Маню? Какая тоска! Я так устал...»

Стукнула парадная дверь. Шаги. Женские шаги, шелест платья.

Он садится на постели. Маня? Нина? Что-нибудь случилось? В глазах темнеет. Так бьется сердце.

— Это вы, фрау Кеслер? — кричит он на легкий стук в дверь. — Подождите, сейчас выйду.

— Это я, Марк! Это я!

Как стихия врывается Маня в комнату, И падает на колени у его постели, в шляпе, в манто. Он видит ее заплаканные глаза.

— Нина? — шепчет он, держась рукой за сердце.

— Марк, я должна была тебя видеть. Должна была сказать тебе... Я задохнусь, если буду молчать...

— Боже мой! Что такое? Говори.

— Я люблю тебя, Марк. Я люблю тебя безумно. И тебя одного. Слышишь ты? Одного тебя во всем мире...

— Дорогая деточка! О чем ты плачешь? Встань...

— Нет, нет, я такая низкая, такая подлая, я тебя так терзала все эти годы... И вот опять... Боже мой!

— Ничего, ничего... Дай воды! Это пройдет.
— Я убила тебя, Марк. У тебя болезнь сердца.
— Это нервы. Не плачь.
— Ах, я знаю, что это я убила тебя...
— Сядь, дитя мое, рядом. Сними манто.
— Нет, нет, дай мне стоять перед тобою вот так! Мне легче так...
каяться... и пла... кать...
— Вот видишь, как ты сама разбита. Почему ты не спишь по ночам?
— О Марк! Марк! Это была такая счастливая ночь! И слезы мои были так сладки. Мне так безумно хотелось обнять тебя, поклясться тебе...
— Не надо кляtv. Она заламывает руки.
— Вот видишь, видишь, ты не хочешь мне верить...
Она падает лицом на одеяло.
— Моя ненаглядная Манечка, — печально говорит он, сажая ее рядом с собой. — Я растроган бесконечно. Твой порыв так прекрасен! Благодарю тебя за него.
Она отворачивается, не дает целовать свое заплаканное лицо.
— Ты ничему не веришь! — с отчаянием срывается у нее. — Если б ты верил, ты не благодарил бы. Ты ничего не можешь мне простить.
— Манечка, милая, я счастливейший человек. Я думал, что ты уже другая, что у тебя нет этих чудных порывов.
— Почему? Почему ты так думал? О, Марк! Обними меня с доверием. Забудь прошлое. Клянусь тебе, что никогда больше я не заставлю тебя страдать, Я буду беречь твое больное сердце. Оно мое сокровище. Я буду дрожать день и ночь над этим сокровищем.
— Успокойся, Маня. Выпей воды! Пстой, я тебе дам капель. Отвернись.
— Не надо! Не надо! Не вставай. Держи меня вот так у своего сердца, и слушай, слушай...
— Да.
— И верь каждому моему слову...
— Да.
— Клянусь жизнью Ниночки, — торжественно и страстно звучит ее голос, и ужасом полны ее глаза, — клянусь самым священным мне в этом мире, что я буду тебе верной женой...
— Маня, не надо, молчи.
— ...что я никогда не обману тебя, никогда не изменю тебе...
— Манечка, Боже мой!
— ...и если даже я встречу и полюблю другого, — я с радостью...

Со стоном он зажимает поцелуем ее губы.

Но она отстраняется, бледная, трепещущая, и заканчивает с трагическим жестом и трагическим лицом:

— ...я с радостью пожертвую тебе моим счастьем, и ты, Марк, никогда не узнаешь об этой жертве!

Он прижимает к себе рыдающую Маню. Как хорошо, что она не видит сейчас его скорбной усмешки!

— Что с тобой, Катя? Больна?

— Нет, Николенька. Голова болит немножко.

— Отчего ж ты не катаешься? Смотри, какое солнце! Уже весь снег стаял.

Катя заметно подавлена. Она похудела и пожелтела. Но не от тревоги за мужа, как думает Неладов. Она даже избегает оставаться с ним и охотно уступает свое место Лике и Федору Филипповичу, который ежедневно навещает больного.

Счастье Кати исчезло. И случилось это так просто.

На другой день после падения Нелидова с лошади ей понадобились деньги. Не желая беспокоить больного, она взяла его ключи из ночного столика и отперла ящик письменного стола. Первое, что попало ей на глаза, были тщательно подобранные рецензии из русских и иностранных газет о Marion. Нелидов аккуратно вырезал их и прятал здесь. По этим рецензиям год за годом можно было проследить всю карьеру Marion. А там, ниже, лежали три портрета ее, напечатанные в «Illustration». Теперь Катя вдруг вспомнила, что не могла доискаться нескольких номеров и сердилась на прислугу. Портреты были превосходные и даже передавали неуловимую, казалось бы, прелесть в лице этой босоножки.

Целый час просидела Катя у стола, ошеломленная.

Она жила теперь, как лунатик, машинально исполняя обязанности хозяйки дома. Ключи она незаметно положила на место.

Когда ей вторично понадобились деньги, она обратилась к мужу. Он тщательно выбрал ключ из связки, снял его с кольца и подал Кате.

— Бумажник в верхнем ящике, направо. Не ошибись!

— Но ведь у меня один ключ. Разве этот отпирает и другие ящики? — странным тоном спросила она.

Он смутился. Он выдал себя. Опустив темные ресницы и стиснув зубы, она вышла.

А он глядел ей вслед встревоженный и бледный.

— А я к вам с почты и с ворохом новостей, — говорит Федор Филиппович, здороваясь с Нелидовым и Катей. — Видел Климова. Он завтра разрешит вам встать.

— Катя, нельзя ли нам кофе?

Она покорно выходит, кинув жгучий взгляд на пачку газет, брошенных на одеяло.

— Ваши новости, Федор Филиппович?

— Во-первых, наш «помпадур» рвет и мечет. После ограбления винной лавки, как вам известно, он нахватал людей из трех сел.

— Вы за это вините его? — спрашивает Нелидов, высоко поднимая брови.

— Не за это, а за неразборчивость. И без того всюду недовольство. Это похоже на провокацию.

Нелидов, пожав плечами и брезгливо скривив губы, обрывает бандероль с «Illustration». Дядюшка говорит что-то. Он не слышит, быстро переверачивая листы журнала. Так и есть. Портрет Marion. Он быстро прячет журнал под подушку.

— Ну-с, а вторая новость... Ваш сосед Штейнбах вчера обвенчался. Я сейчас получил телеграмму из Парижа. Вы догадываетесь — с кем?

Одну секунду Нелидов глядит в смущенное лицо дядюшки.

— Конечно, — медленно отвечает он, переводя глаза на карниз и щуря ресницы. — Я этого давно ждал.

Дядюшка встает и ходит по комнате, потирая руки.

— Я очень рад за нее, Николай Юрьевич! Очень рад. Сознаюсь вам откровенно, меня все эти годы грызло одно воспоминание. Ну, да что говорить! Теперь это уже забыто. Я был слишком легкомысленным в оценке этой натуры. Конечно, она всего достигла, славы, богатства. Вы заметили жемчужное кольцо на ее последнем портрете? Целое состояние. А все-таки муж и титул даже для знаменитой артистки — это клад, Особенно такой муж, как Штейнбах. Теперь я уже предвижу, что они заглянут сюда, хоть на месяц, чтоб получить наконец реванш.

— Вы ду-ма-ете, они приедут?

— Еще бы! — экспансивно вскрикивает дядюшка. — Я бы на их месте поступил именно так. Вернуться принцессой в те места, где она жила Золушкой, откуда она уехала осмеянная, всеми презираемая...

Нелидов перебирает на груди рубашку. Его сузившиеся зрачки опущены. Он поворачивается к окну, спиной к дядюшке, и газеты падают на пол от этого движения. У него срывается тихий стон.

— Что такое?

— Неловко повернулся. Плечо...

Катя и Одарка с подносом в руках входят в комнату. Катя видит измученное лицо мужа и уголок «Illustration», выглядывающий из-под подушки. Федор Филиппович говорит о телеграмме. Всплеснув руками, Катя садится в кресло. Все раздвоилось в душе. Рада ли она за нее? Конечно, рада.

«Но если они вернутся?»

Когда гость уезжает, Нелидов говорит Кате:

— Голова разболелась. Я засну. Наконец один! Наконец!

Он быстро развертывает газеты и смотрит на портрет Мариоа Она снята в домашнем платье, в домашней обстановке. Она похожа на Мари, которая его любила. Прижмурив веки, он откидывается навзничь.

Прошлое встает. Беззвучными волнами встает со дна души. И он не пробует бороться. Не все ли равно? Не все ли кончено? Она жена другого. Если она и любила его, Нелидова, — теперь это уже забытая детская сказка. Чего недостает этой женщине теперь? Судьба вознаградила ее за страдания, если они были.

Он долго смотрит на лицо Мани, слабо улыбающееся со страниц журнала. Потом бессознательно целует портрет.

— Прощай, Мари! — шепчет он. — Прощай!

Теперь Нелидов часто ездит кататься то один, то с женой. Все дороги просохли. На деревьях — почки.

Катя простудилась. В ясный мартовский день Нелидов едет к дядюшке, в Лысогоры. Он любит там бывать. Вера Филипповна и сам Горленко на все глядят его глазами. Дядюшка всегда «сам по себе». Но он интересен, оригинален. И гибкость его натуры, и его душевное изящество совсем очаровали угрюмого Нелидова. А главное, с ним можно говорить о Мари. Говорить намеками, урывками. Но все-таки можно. Он, конечно, догадывается, но и это, в конце концов, все равно. Бывают ведь такие полосы в жизни, когда можно задохнуться, если не дать выхода порывам, которые душат, словно рука, вцепившаяся в горло. А Федор Филиппович всегда в курсе всего, что происходит там, далеко, вне жизни Нелидова, в том феерическом, нереальном мире, где чувствует себя своєю эта странная женщина, которую он не может ни забыть, ни вырвать из своего сердца.

Последняя весть сразила его. Итак, она жена другого. Она уже обвенчана. Мари Ельдовой нет. Есть баронесса Штейнбах.

Просыпаясь ночью, он говорит себе «Она — баронесса Штейнбах. Все кончено, все кончено». Просыпаясь утром или днем, по дороге к дядюшке,

среди оживающих полей, под весенним небом, среди возрождения и праздника всего живущего, охваченный глубокой меланхолией, он твердит себе:

«Она жена другого. Конец всему».

Почему конец? И что кончено? Он не может ответить... Разве были у него надежды? Разве сам он не связан с другою?

Но, значит, в самых глубоких тайниках его сердца еще жило желание встречи. Где? В театре, в толпе, на улице, хоть издали. Но он надеялся встретить ее свободной, независимой. Значит, где-то глубоко притаилась жажда быть любимым ею? Уверенность, что он не забыт? И Нелидову страшно. Он следит за ростом своей тоски, за волной отчаяния, от которого хочется кричать, схватившись за голову, завывать, как воет раненое животное в предчувствии конца. Великий Боже! Неужели же он сам не разлюбил ее за эти годы? Что делать дальше? Что?

Он выбит из колеи. Нервы взвинчены. Сон плох. Он исхудал и пожелтел. А Катя глядит так странно. Хорошо, что все можно свалить на болезнь.

— Я получил сейчас от Штейнбаха два журнала, — говорит дядюшка, когда они с Нелидовым остаются наедине. — Хотите видеть портрет нашей знаменитейшей Marion? Обратите внимание, что его писал наш знаменитый Z. Портрет куплен Штейнбахом и выставлен сейчас в Салоне в Париже.

Нелидов не может удержать восклицания и роняет журнал. Краска залила его лицо. Дядюшка смеется.

— Shocking [\[53\]](#), Николай Юрьевич? А по-моему, нет. Она последовательна. Красота ее кумир. Кумиров не стыдятся.

На рисунке Marion изображена обнаженной. Она лежит, запрокинув за голову одну руку. Видна ее грудь, вся линия бедра, ее длинные мускулистые ноги с прелестными ступнями. Лицо повернуто к зрителю. Опустились длинные ресницы. Она спит. Но печальны ее сны. И нельзя оторваться от этого скорбного лица. Волосы ее завиты и украшены жемчугом. Это пышная прическа римских патрицианок при Нероне. На руках и ногах золотые змеи. И старинные перстни на пальцах. На одно колено и часть торса накинута парчовая ткань, словно сбившаяся во время сна.

— Какая прелестная картина! — говорит дядюшка, когда Нелидов после секунды колебания снова берет журнал и жадно, и с болью, стиснув зубы, глядит на это прекрасное тело, которого не видел никогда. Никогда, хотя эта женщина когда-то принадлежала ему.

— Это возмутительно! Как мог он это допустить?

— Кто?

— Муж ее.

— Но почему же?

— Если бы еще он заказал этот портрет для себя. Но ведь он на выставке сейчас?

— И обойдет все городя. Z. сам по себе знаменит. А тут еще интерес к Marion. Вы знаете, что один из наших музеев уже торговал эту картину?

— Это возмутительно! — повторяет Нелидов, отбрасывая журнал. — Уже одно то, что она вообще позировала обнаженная... На таких женщинах не женятся.

— Н-ну! — насмешливо срывается у дядюшки. — Она такая знаменитость теперь, что не барон Штейнбах делает ей честь, снисходя до нее. Талант и красота царят в нашем веке, Николай Юрьевич. Оно и правильно. Талант и красота это как бы общая радость. Они для всех.

У Нелидова срывается злобный смешок, Его худые скулы ярко пылают. А руки совсем заледенели. Он их потирает, шагая по комнате.

— Разве это не красота? — продолжает Федор Филиппович, ударяя рукой по журналу. — Художники думают очевидно не так, как мы с вами. Такая красота не должна погибнуть бесследно. Ее надо увековечить. Такие женщины не созданы для того, чтобы рожать, кормить и незаметно стариться у семейного очага. А вот еще, взгляните... «Фавн» работы Шапелена. Вы слышали об этом скульпторе? Что за восторг! Штейнбах пишет, что это скульптурный портрет одного шарманщика-итальянца, которого нашла Маня.

— Как нашла?!

— Она тоже лепила с него.

— Вот с этого? — Он спрашивает это с таким ужасом и отвращением, что Федор Филиппович заливается смехом.

— И это плохо? Ах вы, пуританин! Но ведь этот итальянец заслужил себе бессмертие. Что за торс! Взгляните!

Нелидов молча шагает. Лицо у него злое и совсем больное. Федору Филипповичу его жалко. Он говорит, что Роден, очарованный фигурой Нильса, его пластикой и внешностью, предложил этому артисту позировать ему. И скоро мир обогатится еще одним шедевром.

— Кто это Нильс? — рассеянно спрашивает Нелидов.

— Я же вам говорил. Ее товарищ.

Дядюшка рассказывает подробно все, что знает через Соню: о любви Нильса к Marion, о самоубийстве его жены, о том, как Маня спасла Нильса

своей нежностью...

— Роковая женщина, — вдруг говорит Нелидов, останавливаясь у стола и тоскливо глядя на журнал, который дядюшка коварно закрыл локтем. — Вы не находите, что она роковая? И неужели Нильс простил ей смерть своей жены?

— А чем же она виновата, Николай Юрьевич? Вы разве вините солнце за то, что оно жжет? Разве может оно не жечь?

— Это ужасно! — после паузы говорит Нелидов, проводя рукой по глазам. — Бедная женщина! Что она пережила.

— И заметьте, она была религиозна. Стало быть, драма ее души...

Нелидов вдруг остановился среди комнаты.

— Не может быть! Религиозный человек не дерзнет с собой покончить. Он молча несет свой крест.

Дядюшка так поражен выражением его лица и интонацией, что на мгновение теряет себя.

— Да-да, конечно. Несет, пока хватит силы. А если силы иссякли? Вы разве не допускаете возможности такого аффекта, когда перестаешь верить не только в людей, но и в Бога?

— Тогда это безумие, острое помешательство.

— О, ошибаетесь! Это скорее последовательно, чем нелогично. Мне всегда казалось, что в душе женщины Любовь и Вечность — это одно. Чувство втоптанно в грязь — и небо померкло. Я говорю, конечно, только о тех женщинах, для которых любовь — альфа и омега.

— А вы знали других? — спрашивает Нелидов, думая о Кате.

— Недалеко искать. Лидия Яковлевна, например.

— Да, да. Она сила. Я всегда с удивлением думаю о ней.

Дядюшка весь насторожился.

— Вы прежде, кажется, с антипатией относились к такому типу женщин? — срывается у него с нервным смешком.

— Ах, то теории, Федор Филиппович! А когда я вижу жизнь Лидии Яковлевны, полную борьбы, труда и любви, этой деятельной любви к людям, которой так мало кругом, которой совсем нет у меня. Я эту черту ценил в своей матери. Лидия Яковлевна заставила меня отказаться от многих предрассудков, от многих убеждений, на которых я вырос. Вы этого не подозревали? — внезапно спрашивает он, пораженный неестественной улыбкой дядюшки, который, схватив бронзовую пепельницу, вертит ее и сыплет пепел себе на колени.

— Н-нет. Но это очень лестно. И если б она это знала...

— Она это знает, — гордо перебивает Нелидов. — Она не может не

чувствовать моего уважения.

Каким-то холодком вдруг повеяло между этими людьми. И разговор быстро иссяк.

Но перед уходом Нелидов уступает жгучему желанию еще раз взглянуть на портрет Мариоа. Почему не взглянуть, раз она «общее достояние»? Раз она сама себя выставила напоказ? Почему он, именно он, не смеет посмотреть на нее?

Дядюшка, угадав его желание, под каким-то предлогом выходит из комнаты.

Но Нелидов мгновенно закрывает журнал и кладет его под пресс. Ни чувственности, ни желания, ни любопытства, ни восторга не будит в нем созерцание этого чудного тела. Только боль. Острую боль, от которой белеют губы.

Возвращаясь к обеду по пустынной дороге, среди вспаханных полей, багровых в лучах заката, он не говорит себе с негодованием: «На таких не женятся». Темные, корявые и оголенные дубы Лихого Гая глядят ему навстречу. Здесь, вот здесь он взял ее в тот незабвенный день, безвестную, беззащитную девочку, в стареньком платьице и в стареньких туфельках со стоптанными каблуками, с глазами заплаканными, но как звезды сиявшими беззаветной любовью...

Потом еще одно воспоминание, от которого бледнеет лицо и стучит сердце. Как Скупой рыцарь, он спрятал это сокровище глубоко-глубоко, на дно души. Но оно зовет его. Он слышит жуткий голос прошлого. Он видит беседку в парке, мшистую скамью, сеть ветвей на бледнеющем предрассветном небе, гаснущие звезды и милое личико на его груди. Он слышит свой собственный голос, пронизанный тоской и нежностью. Вспоминает слова любви. Разве говорил он их кому-нибудь, кроме Мари? Нет, нет! Ни одной женщине в мире.

Второй раз в жизни — и в последний раз — Мари отдалась ему в эту ночь. Но не от этого воспоминания зажигаются в его глазах слезы.

Не надо думать! Не надо! Опять на дно сердца, души глубоко-глубоко спрячьтесь, воспоминания! Как Скупой рыцарь, он запрет на ключи свое сокровище. Вон уже показалась зеленая крыша его дома. Там ждет преданная и верная Катя. Она не станет обнажаться для толпы. Свой путь она пройдет незаметно, как прошла его гордая Анна Львовна, как подобает женам и матерям в их роду. В его руки Катя с доверием отдала не только жизнь. О, это еще не так важно! Она отдала ему душу. Веру. Высшие ценности человеческого сердца. Не растоптать этой веры, не разбить этой души — вот его задача! Катя не должна погибнуть, как жена Нильса. Он не

может быть ее убийцей. Крест? Все равно! Его надо нести до конца.

— Где барыня? — спрашивает он Одарку, войдя в дом.

— В гостиной лежат.

Он идет прямо к дивану, на котором комочком свернулась вся закутанная в белый платок Катя. Наклоняется. Целует ее глаза, брови.

— Николенька!

Точно пискнула птичка, внезапно схваченная грубой рукой. Так радостно и жалобно пискнула. Когда наболела душа, даже от ласки больно. Слезы бегут из ее глаз. Она обняла его шею.

— Милая Катя, я люблю тебя. Я тебя одну люблю во всем мире!

В эту ночь опять как прежде горячи его ласка Но почему опять Катя плачет, когда, измученный и удовлетворенный, он спит рядом? Почему она не чувствует ни гордости, ни радости? Почему, бесшумно опустившись в одной рубашке на ковер, она жарко молится, подняв глаза к старому киоту, озаренному лампадой? Чего боится она опять?

— Madame Intransigeante [\[54\]](#), почему вы так взволнованы?

— Я к вам с просьбой, Николай Юрьевич. Вы близки с губернатором. Подействуйте на этого негодяя.

— Ого! — срывается у Нелидова.

— Да! Негодяя! — тоном выше подхватывает Лика, и глаза ее сверкают. — Что он делает с народом? Хватает по первому подозрению. Лишает хлеба семью. Если в вас стреляли...

— Так это из-за меня?

— Ну конечно, из-за вас. Мы опять переживаем ужасы, как шесть лет назад.

— Так, по-вашему, не надо искать убийцу? Убийцу, я на этом настаиваю, Лидия Яковлевна. Потому что попади он на вершок ниже... И вы это сами знаете.

Лика смущена. Она не ожидала такого оборота.

— Но почему он думает, что стрелявшие в вас — непременно из наших сельчан?

— Это логично, потому что они меня ненавидят. Это акт личной мести. Нельзя же допустить, чтобы из Конотопа или Ржавца явился мститель по принципу?

— Как можете вы жить среди такой ненависти?

На лицо Нелидова опустилась непроницаемая, серая вуаль. Сейчас это тот самый ненавистный ей человек, чуждый и далекий, словно с другой планеты попавший на землю.

— Вы думали, что я отрекись от своих убеждений и смиренно пойду просить за людей, стрелявших в меня?

— Мы не знаем, кто стрелял. Ни вы, ни я. Никто! Выть может, гибнут невинные. Я не могу смириться с этой мыслью. Я не могу жить спокойно, работать, читать, смеяться. Вы не понимаете этого? Если еще полгода продлится этот ужас, если будут по-прежнему хватать, не разбирая правых и виноватых, и выбрасывать на улицу целые семьи, и глумиться над беззащитными...

Она вдруг смолкает, закрыв глаза.

— Тогда уже вы выступите в роли мстителя? Вы это хотите сказать, Лидия Яковлевна?

Она глядит на него большими глазами. Она улыбается.

Нелидов едет верхом мимо зеленеющих полей. Непривычно легко у него на душе. Это апрельское солнце, этот раздражающий воздух словно освободили его сердце от отравы воспоминаний, от старой тоски. Наконец! Разве нельзя примириться с судьбой? Разве не целая жизнь перед ним?

Он задумчиво смотрит вдаль. Степь действует на него как море. Беспредельность смывает с души накипь жизни. И он чувствует себя, как дитя в храме перед кем-то Большим и Таинственным.

Через два дня Пасха. Он любит этот праздник.

— Теперь ты можешь меня выслушать, Иза?

— Да.

— Я возвращаюсь на сцену. Нет, постой. Ты это не предвидела. Без искусства и творчества я жить не могу и не хочу. Я вернусь на сцену. Но прежний зритель уже никогда не увидит меня! Понимаешь? Я буду народной артисткой. Я нашла то, чего искала всю жизнь.

Одно мгновение глядит на нее Иза искрящимися глазами. И вдруг с криком кидается ей на грудь. Они плачут, смеются, обнимаются. Они говорят без умолку, перебивая друг друга. «Точно клад нашли», — думает Мими, глядя в замочную скважину.

Как дошла Маня до такой мысли, которую Иза лелеяла давно-давно, в дни своей юности? Болезнь сердца помешала ей осуществить эту мечту. Теперь Маня исполнит ее.

— Постой! — говорит креолка, поправляя спутавшуюся прическу. — Теперь поговорим, как дельцы. Деньги где? Впрочем, у твоего мужа...

— Нет, я ничего не возьму у него. Только моим трудом должно быть создано это дело. Нашим трудом, Иза.

Креолка смотрит перед собой, сдвинув брови.

— Да, конечно. Отдать деньги бесприютным детям моей родины или... Это даже лучше. Дети их проедят. Секретари их раскрадут. Но я вложу в дело сейчас только половину капитала — сто пятьдесят тысяч франков. Мы можем прогореть. А ты?

— А я — все, что у меня есть.

— Но у тебя дочь, Мань-я.

— Что ты говоришь, Иза? Ты точно Агата. Разве дочь должна быть моим проклятием? Разве вернет она мне потерянное уважение?

— Но об ее будущем ты обязана думать прежде всего. Зачем родила ее? — сердито спрашивает Иза, встряхивая гривкой.

— Марк уже хлопочет о том, чтобы удочерить ее.

— Это меняет дело. А что у тебя осталось после неустойки? Семьдесят тысяч франков? Это гроши. Еще что?

— Я продам мою виллу. У меня есть драгоценности: жемчуг, сапфировое кольцо, бриллиантовая ривьера, что подарил мне Марк к свадьбе. Я оставлю себе только этот рубин.

— Да, конечно, это большая сумма. Мы можем продержаться года три. Доходов, конечно, ты не надеешься получать?

Маня смеется.

— Мы переманим Нильса. Заплатим ему по-царски.

Маня бьет в ладоши.

— Строить свой театр нет расчета. Мы снимем какой-нибудь из здешних. Места будут дешевые.

— Но ни одного за решеткой! — страстно кричит Маня. — Чтобы все сидели. Это возмутительно, что они стоят за решеткой, когда мы сидим?

— Ну, еще бы! В своем театре они должны себя чувствовать как дома. Но как уберечься от посторонней публики?

— Постой, Иза, я придумала! Я была в Вене, в Arbeitcrèim. Это целый дворец. Его выстроили рабочие, собирая деньги по грошам. Там нет ни одного чужого хеллера. Там клуб, сцена, аудитории, дешевые квартиры. Вход бесплатный для членов-пайщиков этого дома. А взнос ничтожный. Вот этот принцип надо внести в наше дело. Театр будет принадлежать нам. Взносы будут ничтожны. Вход бесплатный. Будут соблюдать очередь. Но уж эти детали выяснятся потом.

— Конечно, конечно... Мы сейчас прикинем смету. Мими! Карандаш, бумагу...

Мими за портьерой набожно крестится. Мадонна услышала ее молитвы. Сеньора сердится как прежде. Значит все пойдет хорошо.

Весь май Маня провела в Тироле. Целый месяц прожила она там вдвоем с Марком. Они остановились в той гостинице, где ждал он когда-то рождения Ниночки. И открыв окно, она через озеро видела в бинокль тот скромный домик, где жила она тогда, счастливая, как цветок, впервые выглянувший из-под снега, где она вновь училась смеяться, радоваться солнцу, горам, весне, своей молодости, где она вновь полюбила жизнь.

Однажды, после долгих колебаний, она переплыла в лодке озеро и прошла мимо домика. Как билось ее сердце! Вот с этого крыльца в холодный октябрьский вечер, накануне отъезда в Париж, на пороге новой, трудной и неведомой жизни, она глядела в небо, прощаясь с горами, с безмятежным счастьем этих дней. Но теперь там жили чужие люди. Оскорбительно звучали их грубые голоса. Она уже не могла войти туда.

Но оставались горы, которые люди бессильны осквернить. Они одни неизменны. И там, на узких знакомых тропах, под голубым шатром неба, она шла опять шаг за шагом, с душой, полной сладкой печали. И садилась на те же камни над пропастью, помнившие ее слезы и восторги. Опять безграничный горизонт раскрывался перед нею. И вспоминались любимые стихи:

*Здесь нет людей...
Здесь тишина —
Здесь только Бог да я,
Цветы, да старая сосна.
Да ты, мечта моя!*^[55]

Но почему все время теперь угнетало ее чувство утраты, какой-то невосполнимой потери? Душа не росла, как в те дни. Не замирала от предчувствия какого-то огромного счастья. Она помнит, как опьяняло ее прежде впечатление беспредельности и бескрайности, развернувшейся перед нею на этой горной высоте. И не было диссонанса между этой ширью и тем, что чувствовала она тогда.

Отчего же сейчас не трепещет душа от избытка радости? Маленькая и печальная сидит она, затерянная точка среди суровой пустыни. Ни о чем не говорят ей горы. Ничего не обещают ей бегущие облака. Не манят синеющие дали. И в журчании ручья она не слышит прежних сказок. Они не помнят ее? Или она так изменилась?

Но разве сказки не сбылись? Разве обещания обманули? Разве не

достигла она вершины женского счастья? И не получила от судьбы всего, чего просила?

Завтра Штейнбах и Маня со всей семьей покидают Париж и выезжают в Вену, где встретятся с Надеждой Петровной Стороженко. Оттуда все вместе двинутся в Россию, в Липовку. Так хочет Штейнбах. И не только потому, что этого требуют его дела. Он жаждет вновь видеть места, где они с Маней жили так полно и ярко.

Все планы Мани ему известны. Они в Тироле много говорили о ее заветной идее и часто спорили. В конце августа они опять вернутся в Париж. И Маня начнет новую жизнь.

Вчера она была в Нейи. Сегодня прощается с Булонским лесом. Она долго сидела в уединенной аллее, где грезила в памятное утро своего дебюта. Тогда на песке дорожки зонтик ее бессознательно начертал: *Николенька*.

Задумчивая, идет она назад, к тому киоску, где ждет ее автомобиль.

— Марья Сергеевна, — слышит она знакомый голос.

Ксаверий, высокий, худой, как дон Кихот, и как всегда бедно одетый, почтительно снимает широкополую шляпу.

— Какая удача! Я хотел быть у вас. Вот письма к Надежде Петровне. Вы их не потеряете? Это важные письма. Я хотел вас благодарить за нее. Она так давно мечтала повидаться с сестрой! Но, вы, понимаете сами, рискуете.

— Я ничего не боюсь, — перебивает Маня. Несколько мгновений они идут молча. Маня чувствует на себе его зоркий взгляд.

— Марья Сергеевна, помните вы или нет слова, которые я сказал вам однажды?

— Помню, Ксаверий. Я их никогда не забывала.

— Я беру их назад, Марья Сергеевна. Глинская мне все рассказала. Я не знал вас. Вы много сложнее, чем я думал. Я бил тогда по открытой ране, и мне больно за мою жестокость.

Она поднимает на него сверкающие глаза.

— Я рада, Ксаверий, что вы говорите так. Я рада тому, что мы идем сейчас рядом и говорим, как близкие. Точно камень свалился с души, когда я решила бросить сцену. Ваши слова тогда были первым толчком. Последним был народный спектакль в Лондоне. Вы читали об этом? Протяните мне руку, Ксаверий, без вражды и презрения. Я так много выстрадала. Право, я стою вашего уважения.

— Да, Марья Сергеевна, теперь вы нашли путь к оправданию вашей

жизни.

Одно мгновение они стоят, держась за руки. Странно и ново его лицо. И нет в нем суровости. Его бледные щеки сейчас раскраснелись, и весь он кажется молодым и нежным. И знакомым очарованием повеяло в душу Мани. Это неуловимо тонкое ощущение, когда соприкасаются вдруг две далекие души, когда мерещатся вдали новые возможности.

Мы каждый день сталкиваемся с десятками людей и торопливо проходим мимо. Мы слышим голоса. Мы видим лица. Но что таят эти люди под маской лиц? Чем живут их души? Разве мы знаем? Разве хотим узнать? Нам некогда, некогда. Жизнь не ждет. Чужими и ненужными кажутся нам люди. И сами мы мертвы для них. Окруженные одиночеством, как глухой стеной, идем мы рядом, не подозревая, сколько прекрасных возможностей теряем мы в торопливости каждого дня с мелкими заботами. И если случайность, тоска или желание на мгновение расторгнут этот роковой круг, и дрогнут две встретившиеся души, мы не забываем этих мгновений. Не забываем их никогда.

«Вот она — возможная дружба-любовь, — думает Маня. — И сколько счастья даст нам обоим такая бесплотная дружба!»

Опять знойное небо над украинской степью. Воздух дрожит и струится. Неподвижны величавые вершины запыленных тополей.

На маленькой станции много народу, но много полиции. Блестят на солнце погоны станового. Ждут поезда из Киева. Все устали. Все раздражены. Шутка сказать, сколько дней по такой жаре на станции толкуются и дежурят! И все напрасно.

Экспресс из Москвы показался вдали. Простоит всего минуту. Выходит начальник станции, щурясь и чихая от солнца. Распахивается окно, и молодой кудрявый телеграфист садится на пыльный подоконник. Единственный носильщик перебегает рельсы и бежит на другую платформу.

И в ту же минуту к крыльцу станции, лихо звеня бубенцами, подкатывают три коляски.

Из последнего в поезде спального вагона выходит Штейнбах с полной, пожилой дамой в черном, с плотной траурной вуалью, закрывающей ее лицо. Маня в светло-сером костюме и в шляпе с белым пером под белой вуалью прыгает на подножку и подает руку дяде Штейнбаха. А за ними выходят фрау Кеслер и бонна с Ниночкой. Лакей и горничная в окно выбрасывают носильщику картонки и кофры.

— Лошади уже здесь, ваше сиятельство, — говорит сторож, делая под

kozyрек.

— Тебе нравится эта степь, Агата?

— Пыль чудовищная, — смеется фрау Кеслер. Одной рукой придерживая шашку, другой отдавая честь и всей фигурой выражая преданность, приближается становой.

— А, Иван Дмитрич... Губернатора ждете?

— Хуже, Марк Александрович, — подобострастно улыбается тот.

Маня глядит пытливо и строго в его красное лицо.

— Вы знакомы с моей женой? Моя тетя...

Но на тетю никто не глядит. Всем интересна знаменитая босоножка.

На одну секунду Маня останавливается на платформе. Смотрит на великаны-тополя. Таинственно шумели их вершины, когда ребенком она впервые ехала сюда. А вон там, в конце платформы, она увидела Марка. Она полюбила его с первого взгляда. Ах, все прежнее! Только она не та.

Становой, на цыпочках подымаясь к небрежно склонившемуся Штейнбаху, шепчет со значительным выражением:

— Неужто не помните, Марк Александрович, какую заваруху она устроила в нашем крае? Клуню у Горленко тогда спалили. У госпожи Нелидовой дом сожгли.

— Да-да, теперь вспоминаю. Но почему же вы думаете, что она едет сюда?

— Нам дано знать из Вены неделю назад. Проследили, как билеты на Киев брала. В тамошнем бюро, знаете? Сестра у нее больна. Она ведь из наших мест.

— Вы ее сами когда-нибудь видели?

— Только портрет. Но с ней в одном поезде верные люди едут. Да видно в чем-то промашка! Трое суток ждем. Задержалась, что ли? С ног сбились. Сколько поездов встретили!

— Извините. Меня ждут дамы. До свидания!

На дворе станции Маня быстрым, горячим взглядом смотрит в лицо кучера. И вдруг улыбается. Тот молча снимает шапку. И обе женщины видят убегающий лоб, серые, твердые глаза и широкий, упорный подбородок. Серые глаза улыбаются чуть заметно.

Поднимая столбы пыли, коляски мягко мчат по главной улице огромного села, растянувшегося на полторы версты. Ветер ласкает лица. Мелькают белые мазанки, садики с кустами чернобривца и гвоздики, плетни с колючим терном, пестрые громадные свиньи, чумазые ребятишки, босоногие, но в смушковых шапках. Вон у ставка ярко до боли сверкнули белоснежные пятна. Это гуси. Лай лохматых собак сливается со звоном

бубенчиков. Проехали кладбище с покосившимися ветхими крестами. Плакучие березы бессильно поникли над безымянными могилами. И опять степь и солнце. Ширь и ветер.

— Благодать! — шумно вздыхает «тетя» и откидывает вуаль. — До чего я родине рада! Спасибо вам, мои милые... племяннички!

Маня жмет ее руку. И вдруг, вспомнив что-то и лукаво подняв левую бровь, начинает звонко хохотать. Хохочет и тетя, и притом так заразительно, что и Штейнбах улыбается.

А кучер оборачивается с козел, говорит насмешливо:

— Три дня уже ждут.

И опять все заливаются смехом.

— А что нового, Василий Петрович? — спрашивает Штейнбах агронома.

— Где? На заводе? Или на селе?

— И там, и тут.

— Искусства процветают. Все увлеклись музыкой.

— Как хорошо! — говорит Маня. — И есть таланты?

— Не по моей части, Марья Сергеевна, — усмехается агроном, показывая острые белые зубы. — Вы уж поговорите с регентом и капельмейстером, а насчет настроения? Не нравится оно мне.

— Что так? — подхватывает тетя.

— Вы еще незнакомы? — перебивает Штейнбах. — Знаменитая Надежда Петровна, а сейчас Анна Павловна, тетя моей жены.

Светским жестом приподняв шапку, агроном говорит:

— Очень рад. В схиме Василий Петрович Иконников. В миру Дмитрий Верхотурский.

— Ай, слышала, слышала о вас! — певуче ласково говорит «тетя», сверкая молодыми еще, черными, как вишня, глазами.

— Народ здесь инертный, созерцательный, суеверный. Это русские буддисты.

— Это поэты! — перебивает Маня. Василий Петрович пожимает плечами.

— Согласен. Романтичны. Но несознательны. Пожив с ними, можно понять, почему они потеряли независимость и, подобно полякам, умерли политически.

— Ну нет! — пылко перебивает Надежда Петровна. — Бы их не знаете. Они туги на подъем, правда! Но вы не считаетесь с темпераментом южан.

— Еще бы! Поджоги, грабежи и тому подобные анархические

эксцессы. Это они могут. Но чтобы сознательно организовать...

— Ради Бога, без политики! — говорит Маня. — Успеете поспорить! Вы взгляните, какой простор! Василий Петрович, вы лошадей знаете?

— Еще бы! Сам привез их из Москвы. Сам объездил. Ведь я бывший кавалерист, Марья Сергеевна.

— Теперь дорога ровная. Пустите их так, чтоб ветер свистел в ушах.

— А не боитесь? Лошади горячие.

— Ничего, мы сделаем репетицию, — смеется Маня.

— Да, Василий Петрович, мы ждем от вас большой услуги на днях, — серьезно говорит Штейнбах.

— Понял, Марк Александрович. Лидия Аркадьевна мне уже говорила в общих чертах.

Уже вечереет, когда они едут мимо Лихого Гая. Лошади медленно поднимаются в гору. Василий Петрович оборачивается с козел и говорит:

— Вот здесь весной стреляли в Нелидова.

Маня вся подалась вперед. Глаза расширены. Губы открыты.

— Но ведь он остался жив? — быстро перебивает Штейнбах.

— Уцелел случайно.

Маня закрывает глаза и тяжело опирается о спинку экипажа.

— Кто это Нелидов? — спрашивает Надежда Петровна.

— Здешний предводитель дворянства. Ждет назначения на пост губернатора. В министры метит, как слышно. Сильные связи. Народ его не любит. Интересный субъект, — кривя губы, улыбается Василий Петрович. — Крут и бесстрашен. Добром не кончит.

— Вот у вас тут дела какие! — весело подхватывает Надежда Петровна, внимательно глядя в глубь угрюмого леса.

Маня поднимает веки. И впервые чужими, удивленными глазами смотрит на эту дорожную ей женщину. Потом переводит взгляд на Марка. Он смущен. Избегает ее взгляда. Он это знал. И скрыл от нее. Она тоже глядит на корявые дубы. И понемногу она перестает слышать, что говорят кругом. И кажется ей, что лес шепчет:

«Здравствуй! Ты опять с нами. Помнишь, как по этому ущелью вы ехали вдвоем и падала ночь? Он обнял тебя здесь. Он взял тело и душу твою. И ты плакала».

Когда они едут мимо ставка, где утонул Ян, Штейнбах невольно снимает шляпу. Маня смотрит большими глазами на эти столетние ветлы, на неподвижную воду, на розовых гусей. А вон наверху — рощица, и четко рисуется на вечернем небе черный крест самоубийцы. Там ждал ее Ян, Там

встречал ее Марк...

Коляски несутся по липовому проспекту. Сердце Мани бьется. Вся кровь прилила к нему. Она сама не ожидала такого глубокого волнения. Вот она, чугунная решетка с гербами и ворота, куда втроем с Соней и дядюшкой они входили прекрасным летним днем. И она бездумно шла к этому великолепному дворцу, не подозревая, что там ждет ее судьба.

Она оглядывается и встречает взгляд мужа. Глубок и скорбен этот взгляд.

Старый Осип не изменился за эти годы. С почтительным поклоном снимает он шапку. Надежда Петровна быстро опускает вуаль. Возможно, что он ее не узнает. Но если и бояться кого-нибудь, так именно его.

Миновав больницу, школу и оранжерею, коляски лихо огибают цветник и останавливаются перед колоннами дома.

Штейнбах идет с женой впереди. Он крепко прижимает к себе ее руку и целует пальцы. Вот она, минута, которую он ждал так давно, о которой мечтал так страстно!

Лицо Мани бледно. Глаза глядят вдаль, на темные купы парка. Будет ли что-нибудь выше мгновений, пережитых ею там?

— Я не ждала ничего подобного, — говорит фрау Кеслер, входя в двусветный зал.

А Маня со Штейнбахом уже бегут в кабинет.

Он запирает дверь. Из золоченой рамы с тайной угрозой следят за ними глаза прекрасной еврейки. Знакомые глаза, без блеска и дна. Но сейчас Маня их не боится.

Она окидывает комнату долгим, влажным взглядом. Вот здесь, в тот вечер, когда она плясала полуодетая... О, жизнь! Прекрасная, царственная жизнь. Ты не повторяешься.

Она плачет на груди Штейнбаха.

Он ждал этой минуты. Этих слез он жаждал. За них все прощает он ей. Все страдания, что были. И будут.

На террасе накрыт стол. Звенят серебром, стучат чашками. Все собрались ужинать. Отчетливо доносится жизнерадостный голос Агаты, стеклянный смех Лики, заразительно веселая речь Надежды Петровны с ее хохляцким акцентом.

Скорей! Скорей!

Взявшись за руки, они украдкой бегут в парк. Они не сговаривались. Все понятно без слов.

Заветная скамейка. А рядом могила Яна. Их первая встреча была здесь.

Она положила ему руки на плечи. Он безмолвие обнял ее. Они глядят друг другу в глаза. Глядят с тоской и отчаянием. И беззвучно проходят мимо них призраки их быстротечного счастья, забытых восторгов, нарушенных клятв, угасших порывов. Свежесть ушедшего утра. Тени идущего вечера.

Яркое, росистое утро. Весь дом еще спит, а Маня уже встала.

Проснувшись, точно кто-то толкнул ее, и кинулась к окну. Она распахнула его, и свежесть волной влилась в комнату.

О, какой воздух! Ветки лип стучали на заре в раму, словно говорили: «Встань! Встань скорее...» Высоко разрослись густые кусты под окном, и даже дорожки не видно вдали. Она сама выбрала для себя эту угловую отдаленную комнату.

Скорей, скорей в парк! Пережить прошлое в одиночестве. Вспоминать и плакать. Какое наслаждение!

Она накидывает белую блузу и беззвучно скользит мимо запертых дверей. Сердце стучит, словно она идет на свидание.

Подойдя к могиле Яна, она опускается на колени. Мрамор надгробной плиты холодит ее лицо. Розы благоухают. Струится аромат гелиотропа. Сквозь кружево листвы плакучих берез блестят золотые буквы: «Я люблю того, кто строит Высшее над собой и так погибает».

Она не замечает слез, бегущих по ее щекам.

Потом она садится на скамью у могилы.

Шесть лет промчались с того утра, когда Ян сказал ей: «Я дам вам ключи счастья. Самое ценное в нас — наши страсти, наши мечты. Жалок тот, кто отрекается от них!»

Липы лепечут над головой. И она слышит в них его тихий голос, пронизанный страстью и верой. «Ваше тело, ваши чувства, ваша жизнь принадлежат вам одной. И вы властны сделать с ними что хотите. Но душу вашу не отдавайте любви!»

Обняв руками колени и сцепив пальцы, она глядит в высокое небо, сверкающее сквозь листву, и думает:

«Вот я пришла к тебе, Ян. После трудного и долгого пути вверх я вернулась на твою могилу. Я исполнила твой завет: я не отреклась от мечты... и душу свою освободила от любви. Я плачу над ней, как плачет любитель над бесценной вазой, разбившейся вдребезги. Но благославляю мои слезы. И страдания мои люблю...»

Липы шепчут над ее головою. Пятна светотени трепещут на песке дорожки. Она как бы слышит голос Яна: «Есть цель выше счастья, Маня.

Ты стала свободной».

«Да, — думает она, — душа моя распрямилась, и печали забыты. Пусть побледнела Мечта, которой я пожертвовала счастьем! Зажигается другая. Она озарит всю жизнь до конца, когда бы он ни наступил, где бы он меня ни настиг. Прошлое прекрасно. И прекрасна любовь. Но то, что отвоевала я у жизни, мне дороже моего бреда, моего безумия, того, что люди зовут счастьем. Ты доволен мною, Ян?»

Липы шепчут что-то наверху.

Нежный, светлый, кроткий Ян. И мрачный, несокрушимый, не знающий слабостей Ксаверий, с его тонкими губами и глазами как сталь. Эти два образа слились для нее в одно. Теперь ей все ясно, весь этот мучительный разлад души, начавшийся в Париже три года назад и закончившийся ее уходом со сцены. И не потому ли такая радость в душе, что она поднимается все выше на высокую башню и ступени уже не дрожат под ней?

Вдруг знакомые шаги звучат по гравиию.

— Я знал, что ты здесь, — робко говорит Штейнбах.

Как задумчиво и прекрасно ее лицо! Он тихонько садится рядом и целует ее руку.

— Помнишь, Маня, тот день? — после долгой паузы шепотом спрашивает он.

Она молча наклоняет голову.

— Ты пришла тогда сюда, бедная Золушка в стоптанных башмачках, но гордая и смелая, с целой жизнью впереди. А я, нищий-крёз, молил твоей ласки и дрожал перед тобою. Оглянись, Маня! Этот парк, этот дом, и степь, и даль — все твое! Но радуется ли это тебя, моя загадочная Маня? Почему мне кажется, что ты не ценишь ни этого богатства, ни своей власти? И даже нежности моей не ценишь? Нет, не качай головой! Ты стала другой. Я все прежний Марк. Годы прошли, а я все так же дрожу перед каждым изменением в твоём лице. Все так же боюсь твоей задумчивости и твоего молчания.

Она поднимает голову и смотрит в его глаза.

— Не считай меня неблагодарным, Манечка! Эта ночь была так волшебна! Так горячи были твои ласки. Столько экстаза было в этой минуте, И ты плакала, как раньше. И тогда я спросил тебя, счастлива ли ты? Ты ответила: «Я вижу небо, Марк...» Помнишь, что ты ответила мне? И вот теперь мы сидим здесь по-старому, как в тот памятный день. И ты жена моя. Но разве я знаю тебя больше, чем знал тебя тогда? Все так же непонятны мне твои глаза, твои губы, твоя душа. Я только тело твое знаю,

Манечка. Но и его не смею назвать своим. И почему мне кажется, что вот еще немного, и ты встанешь, далекая и равнодушная, как в то первое утро, и покинешь меня одного на этой скамье. И уйдешь в свою жизнь, в которой мне не будет места?

Ее ресницы опускаются.

— Милый Марк, — шепчет она, пожимая его пальцы.

И ему становится холодно от этих простых слов.

— Маня, — с отчаянием срывается у него, и он прижимает ее руки к груди. — Позови меня с собою туда, куда ты уйдешь!

Она пристально и печально смотрит на него.

— Хорошо, Марк, позову.

Они сидят за завтраком, когда камердинер докладывает:

— Федор Филиппыч из Лысогор и барышня.

Маня бежит навстречу. Штейнбах спешит за нею.

— Милые мои! Дорогие! — радостно говорит Маня, из объятий Сони кидаясь на грудь сконфуженного дядюшки.

— Уж как звать теперь, не знаю...

— Маня, конечно. Дядюшка, вы такой же элегантный!

— Где уж там! Мохом оброс, — кокетливо возражает дядюшка, приглаживая поседевшие виски. — А вот вы действительно красавица.

— Ты! — кричит Маня, хватая его за плечи. — Маня и ты... Хочу быть прежней девочкой для вас.

Ее левая бровь поднята, глаза искрятся. Ямочки на щеках. И все-таки не прежняя. Что за гибкая, стройная фигура! И это платье. Соне немножко совестно. Платье обтягивающее, ни одной складки, кроме узенького шлейфа. Точно нет на ней юбок. И все линии и формы ее тела видны сквозь тонкую ткань, словно Маня раздета. Но дядюшка в восторге.

— Это новая мода в Париже, — объясняет Маня. — Юбок нет. Одно трико. — Она, смеясь, приподнимает платье и показывает голубые ножки в светлых туфельках.

Соня краснеет. Мужчины хохочут.

— Ты хоть на улицу не выходи в таком платье! За тобой дети побегут, — шепчет Соня. Совсем как в гимназии.

— Милая ты моя пуританочка! У меня других платьев нет.

Их ведут в столовую и знакомят с дядей Иосифом и Надеждой Петровной. Дядя быстро встает.

— Куда ты? — огорченно спрашивает Маня.

Но старик мягко отстраняет ее руки и сторбившись спускается со

ступеней террасы. Он исчезает за поворотом аллеи.

«Как поседел! — думает дядюшка с облегчением, глядя на виски Штейнбаха. — Кожа еще как слоновая кость. Но глаза совсем погасли. Нелегка, видно, жизнь с Манечкой. И до чего похож стал на дядю! Вечером не различишь, если надеть на него такую же шапочку...»

— Моя дочка, — говорит Штейнбах, беря Ниночку за руки с ее высокого стульчика.

И дядюшка опять конфузится, «Неужто он не видит? Ведь на одно лицо с Нелидовым...»

— Какое очаровательное дитя! — лепечет он.

Надежда Петровна со светским тактом поддерживает разговор. Она одна здесь вполне владеет собой. Расспрашивает Соню о парижских впечатлениях, о русской колонии.

«Прелестное лицо! — думает Соня. — И чья это тетя? Его или Манина?»

После кофе Маня берет Соню под руку.

— Пойдем в парк, — шепчет она.

И вдруг сквозь чуждые ей черты Соня видит лицо прежней Мани, ее огромные, жадные и мечтательные глаза.

— Тебе нравится тетя?

— Ужасно! Откуда она явилась?

Маня звонко смеется. Потом наклоняется к уху Сони, хотя они одни под густым сводом лип, и что-то шепчет.

Глаза Сони широко раскрываются. С испугом смотрит она на губы Мани.

— Та самая? — срывается у нее шепотом.

— Ну да.

И они обе невольно озираются.

— Я обожаю ее, Соня. И она тоже меня любит. Но, что мне еще дороже, — она любит мои танцы. Один раз она даже заплакала и сказала: «Это от восторга».

— Трогательно. Где же она тебя видела?

— Дома, у нас, я пляшу часто. А потом я давала вечер в пользу русской столовой в Париже. Потом в пользу рабочего клуба. Меня просила Глинская. Помнишь ее?

— Еще бы! Я так и думала, что вы будете друзьями.

— А помнишь Денизу? Работницу-анархистку, которая говорила на заседании Лиги? Нет? Она пришла ко мне во главе депутации благодарить меня. Сбор был огромный. И я видела, как она растерянно оглядывалась. В

доме Марка такая роскошь! И видно было, какой разлад в ее душе! А я стояла перед нею, красная, униженная. Но теперь довольно! Довольно! Со старым покончено. Мне уже не придется краснеть.

— Но почему? Почему ты чувствовала себя униженной?

— Ах, Соня, Соня! Я думала, ты поймешь меня с полуслова. Между гобеленами и бронзой это темное пятно ее платья. Глинская сказала мне: «Все-таки и в этот раз вас видели только богатые». Я ответила: «Ну, устройте вечер для одних рабочих! И я буду танцевать с радостью, о которой давно забыла». Я обернулась к Денизе. Она так странно и горячо глядела на меня. — «Хотите видеть мою пляску? — спросила я ее. — Доставит ли это вам радость?» — И она ответила таким глубоким голосом: «О, да! Такой вечер мы не забудем. Немного радости мы видим в нашей жизни!» Ах, Соня! Какие дивные минуты пережила я тогда! Я приехала в рабочий клуб. Сцена там маленькая. Развернуться негде. Но зато какие лица! Какие непосредственные восторги!

— А мы-то увидим тебя здесь?

— В мои именины Марк устроит здесь вечер. Пусть приходят все! И из других сел. Я буду плясать. Марк сыграет на цитре. Учитель споет. У него, говорят, хороший баритон. Будет и наш хор. Жаль, что оркестр еще слаб. Учатся всего год.

— Это твоя идея, Маня?

Маня кивает головой и вдруг задумывается. Удивленно сбоку глядит на нее Соня. Откуда в ней столько демократизма, в этой эстетке? Но что это не наносное, а свое, — чувствуется безошибочно.

— Я сейчас вспомнила твое письмо, Маня. Какое чудное письмо! Но о какой новой жизни говоришь ты?

— Тише! Вон идет Марк. Не говори при нем. Он ревнует меня ко всему новому.

— Ну, когда же вы к нам? — спрашивает дядюшка, целуя руку Мани. — Сестра волновалась, как ей быть! Не поехать ли первой с визитом?

— Вот глупости! — звонко смеется Маня. — Дядюшка, прелесть вы моя! — Она кладет ему руки на плечи. — Ну, мы завтра приедем часов в шесть к чаю. Да, Марк? А вы приходите скорее, я вам покажу свое искусство.

— О... Воображаю, как вы прекрасны!

— Ты! — смеется Маня, целуя его.

Штейнбах и дядюшка ведут беседу на террасе, в Лысогорах, у

кипящего самовара. Вера Филипповна волнуется. Лицо ее в пятнах. Горленко тоже заметно смущен. Он курит молча и посапывая. Ну, конечно, они рады Мане. Что было, то быльем поросло. Обвенчались — и делу конец. Соседи хорошие, что говорить! А уж она-то краля какая писаная стала! Просто на удивленье. Вера Филипповна даже гордится ею. Мелочи и неприятности забылись. Помнится только странная девочка с огромными глазами, наивная и добрая. А теперь эта девочка — знаменитость и жена Штейнбаха. Только вот туалет ее — что за неприличие! Подняла платье, сбегая с террасы, а под ним только трико. Точно голая. «Все-таки бесстыжие эти артистки», — думает Вера Филипповна с некоторым удовлетворением.

А Маня, проглотив чашку чаю и сбросив живописную шляпу с огромными полями, схватила Соню под руку и побежала в сад.

Что за могучая власть прошлого! Уже подъезжая к воротам Лысогор, она чувствовала невольное волнение. Воспоминания поднимались, как призраки, из каждого угла. Она уже побывала в светелке и глянула оттуда на двор. Все то же. Ничто не изменилось.

Теперь, по дороге в парк, она становится все молчаливее. И наконец смолкает.

Соня все понимает.

— Я приду сейчас, — говорит она.

И вот Маня одна. Она идет по знакомой аллее, мимо памятной скамьи. Здесь ждал ее Марк, вернувшийся из Вены, где он схоронил дочь. И она, покорная раба Нелидова, подходила к нему, стиснув губы, растерявшаяся перед роковой коллизией своей двойной любви, решив забыть тропинки, по которым вела ее своевольная мечта, и свернуть на старую, избитую дорогу. Мучительные мгновения, вы миновали. Вы не вернетесь.

Она у беседки. Все так же ветка плакучей березы задевает ее по лицу. Она мягко отстраняет ее и входит. И с нею вместе входит ее прошлое и садится рядом с нею на мшистую скамью.

Солнце золотит верхушки лепечущих берез и играет бликами на ее платье. Кругом та же тишина. Где-то далеко за греблей звучит песня. Прогремела по мосту телега, и утки закричали: Ах! ах! ах!

Она закрыла глаза и ждет.

Кто войдет сюда? Кто обнимет ее? Не бьется уже сердце от мятежной жажды счастья. Запретные цепи порвались. Все стало возможным. Нет ничего недоступного. А если есть, оно уже не манит. И жизнь за него не отдашь. «Жизнь сама по себе благо», — горделиво думает Маня.

Листья лепечут над ее головой. Неужели это та самая молоденькая

березка? Как выросла! Маня гладит белый, блестящий ствол. Милая, милая. Тогда она была еще кустиком. Она все эти годы тоже грезила в зеленом сумраке. О чем грезила она? Конечно, о солнце. О той минуте, когда его золотые лучи поцелуют, наконец, ее кружевные ветви. Не в этом ли цель всего живущего на земле?

Звенит тишина вокруг. Или это пчелы гудят? Закрыв глаза, недвижно сидит на мшистой скамье знаменитая Marion и прислушивается к странному раздвоению своей души. Оно началось с той минуты, когда поезд подошел к маленькой станции и протяжно зашумели величавые тополи.

Их две сейчас рядом, на этой скамье. Marion и Маня. Женщина и девочка.

«Милая девочка... Прекрасно твое лицо. И светла твоя улыбка, не знающая скорби. А в глазах твоих целый мир. В чем же тайна твоей радости? Этой стихийной, ослепительной радости, которой дышит каждая клеточка твоего худенького тела? Вспомни, вспомни, однако, чего ждала ты от жизни? Любви. Только одну грань твоей души озарило солнце. Другие печально темнели. И что дала тебе любовь кроме слез и страданий? Но, потеряв эту маленькую радость, ты хотела отречься от солнца, от смеха, от своих порывов и грез. Ты искала смерти, бедная девочка?»

Так думает знаменитая Marion. Она сидит, закрыв глаза, охваченная неодолимым очарованием прошлого! И самые его печали, светлые печали юности, кажутся ей дороже всех радостей и достижений.

Опять зазвучала песня на гребле. Или это Мелаш-ка поет на огороде, потому что боится попелюхи?

— А я не боюсь, — говорит девочка рядом и знакомым жестом встряхивает темными кудрями. — Я пойду бродить по болоту. Буду искать свое счастье.

— В чем? — тоскливо спрашивает Marion.

— В любви, конечно, — смеется Маня. — Разве есть в мире что-нибудь выше ее?

А! Этот звонкий смех, давно забытый ею где-то, на долгом и крутом пути вверх. Это юность засмеялась ей в лицо. И она вдруг чувствует себя старой и печальной. Какой-то голос шепчет ей: «С той поры, когда ты бродила здесь босиком, знала ли ты радость жизни? — Нет. — Была ты бездумно счастлива, как эта березка? — Нет. — Кто же из вас двоих богат? Кто беден? У этой безвестной девочки в стоптанных башмачках была юность, была вера, была жажда».

Вдруг тоска, невыносимая, как боль, огромная, бескрайняя, жгучим

кольцом сжимает сердце. Она входит в душу, наполняя все ее уголки, мрачная и стихийная, словно лохматая туча, от которой становится темно.

— Маня-а-а! — слышится издали голос Сони.

Она встает и оглядывается с отчаянием.

Вот здесь, на этой самой скамье, в ту ночь... Он любил ее. Он звал ее за собою. «Николенька, в моей жизни не было мгновения прекраснее этого. После ничего уже не было. Я нищая... нищая... И все мое счастье — ложь. И вся моя сила — самообман...»

Как отравленная, с туманом в глазах, вся ослабев внезапно, выходит Маня из беседки. Что случилось? Что? К какой роковой черте подошла она сейчас? Кого встретила она в зеленом сумраке? Это волшебная юность вот из этих ветвей кивнула ей, смеясь. И какими бледными кажутся ей сейчас все ее новые радости, ее горделивые слова, ее высокие цели!

«Что за лицо у нее! — думает Соня. — Она совсем угасла...»

— Красавица какая! — говорит Надежда Петровна, под руку с Маней останавливаясь перед портретом матери Штейнбаха. — И совсем как живая. Какая дивная работа! Глаза у нее трагические. Она не была счастлива с вашим отцом, Марк Александрович?

— Да. Она покончила с собой.

Маня пристально смотрит в таинственные зрачки.

— Марк, почему я раньше не видела здесь этого портрета?

Он оборачивается, удивленный. Ее голос изменился.

— Потому что шесть лет назад ты была здесь только один раз, — в моем кабинете, а портрет был в моей спальне.

— Спойте что-нибудь, Марк Александрович, — просит Надежда Петровна. — У вас такой волшебный голос!

Он садится за рояль. Окна открыты. Темная июльская ночь не дает пролады. Мягко озарен зал, и так удобно слушать, закрыв глаза, откинувшись в глубоких креслах.

Штейнбах сумрачен. И если б Маня не была так полна той странной, мучительной и ядовитой тоски, что отравила ее душу в беседке Лысогорского парка, она не могла бы пройти мимо его печали. Весь день он бродил в парке, вспоминая Лию и все, что он потерял в ней. Но что изменилось бы, если б она осталась жива? Разве не прикован он к колеснице Мани, как жалкий раб?

Он садится за рояль. Он поет, думая о Лии, о той бедной радости, которую дала ему ее любовь. Но звуки этого действительно волшебного

голоса, помимо слов, будят в душе каждого печаль неосуществленных желаний, тоску по тому, чего не дала жизнь. И от сладкой боли закипают слезы, которым не дано пролиться. Слагаются слова, которые никогда не будут сказаны. И долго еще после того как угас последний аккорд, все молчат, подавленные. Тоска, которой насыщен каждый звук этого глубокого голоса, невольно требует тишины. Говорят шепотом. Никто не аплодирует. Надежда Петровна умиленно качает головой.

— Марк, — разбитым голосом говорит Маня. — Спой еще. Я сейчас так высоко поднялась над землей.

«С кем?» — спрашивает его взгляд, его кривящаяся усмешка. И она их видит.

— Веселое что-нибудь, — просит Федор Филиппович. — О счастье спойте нам, чародей!

Штейнбах берет несколько минорных аккордов и поет на слова Ратгауза:

*Проходит все. И нет к нему возврата.
Жизнь мчится вдаль мгновения быстрее.
Где звуки слов, звучавших нам когда-то?
Где свет зари нас озарявших дней?..*

Маня спускается с неба на землю. Вот, вот они, страдания, которых она так боялась. Сколько безысходной тоски в его голосе! Боже мой! Боже мой. Неужели судьба свершится?

А полный затаенных рыданий голос продолжает:

*Расцвел цветок — а завтра он увянет.
Горит огонь, чтоб вскоре отгореть...
Идет волна... Над ней другая встанет...
Я не могу веселых песен петь!..*

На высокой ноте обрывается голос. Как будто крик, как будто рыданье. Маня встает.

— Куда ты? — спрашивает Соня.

Не отвечая, не слыша, она выходит на террасу и, прислонившись к столбу, смотрит в темноту.

Ей страшно.

Ниночка любит кататься. Каждый день в три часа бонна, старый дядя Штейнбаха и Ниночка выезжают в шарабане. Младший конюх Влас правит лошадей.

Они подъезжают к опушке рощи в знойный день. Ниночка — вся в белом, в белой шляпе-чепчике, с голыми икрами. Она гоняется за бабочкой и звонко смеется.

Мимо едет коляска, запряженная тройкой вороных. Вдруг бабочка вспорхнула, и Ниночка бежит прямо через дорогу.

— А!.. Mein Gott!^[56] — кричит перепуганная швейцарка, кидаясь под ноги лошадям.

Нелидов выходит из экипажа и кланяется бледной женщине, прижавшей ребенка к груди.

— Вы не ушиблись? — спрашивает он ее по-русски.

— Verstehe nicht, mein Herr...^[57]

Вдруг Нелидов видит точеное личико девочки, ее улыбку. А рядом странно знакомые и все-таки чуждые глаза старика.

— Чье это дитя? — тихо спрашивает он, как бы думая вслух.

— Пана Шенбока дочка, — почтительно отвечает Влас.

Болезненная гримаса искажает побледневшее лицо Нелидова. Приподняв шляпу перед удивленной швейцаркой, он идет к коляске.

Но точно какая-то сила заставляет его оглянуться. Ниночка бежит к канаве. Там растет какой-то желтый цветок. Она весело лопочет по-немецки. Нелидов берет девочку на руки. Мгновение жадными, больными глазами глядит в испуганное личико. Нина хочет кричать, но боится. Он страстно целует ее глаза, ее щечки, ее судорожно искривившийся ротик. И ставит ее опять на землю.

— А... а... а... — обиженно кричит Ниночка.

А он уже вскочил в экипаж, и лошади мчатся. Напряженно и тревожно глядит ему вслед угрюмый старик.

Они возвращаются, когда вечерет и на террасе подан чай. С экспансивными жестами бонна рассказывает про этого Schönen Herrn, про свой испуг. Лицо Мани цепенеет.

— Кто же был dieser schöne Herr ^[58]? — усмехается Надежда Петровна.

— Наш сосед Нелидов, — отвечает Штейнбах.

Старый дядя не спускает глаз с лица Мани. Он силится что-то понять.

А Нелидов мечется в своем парке, прячась от людей.

Темный вихрь воспоминаний поднялся в его душе. О, с какой страшной силой взмахнул он своими черными крыльями! И все потускнело и поникло под его дыханием: солнце, жизнь, его бедные радости, его выстрадавший покой.

Он знал, что она вернулась, что она неподалеку. Но она уже жена другого. Жена врага. И не надо им встречаться. Он давно так решил, еще когда услышал об этой свадьбе. И тогда он подумал: «Она когда-нибудь вернется». И тогда еще испугался собственного страха перед возможностью встречи.

Хрустя пальцами, то останавливаясь с подавленным стоном, то снова кружа по глухим аллеям, Нелидов ищет осколки своего маленького счастья, добытого таким упорством, трудом и отчаянием и разбившегося внезапно, как хрупкая ваза от неосторожного толчка.

Девочка, маленькая девочка на пыльной дороге. И только. Но все погибло: строй налаженной жизни и дорогой ценой купленный мир. На губах еще остался запах этого нежного личика, прикосновение этих длинных ресниц. Его ресниц. Аромат этих гордых маленьких губ чувствует он на устах. Ее дитя. Его дитя. Какие тут могут быть сомнения? Его сын, наследник его имени, не похож на него ни одной чертой. Он весь в мать, жучок, с огромными темными глазами. А эта — Нелидова. Нет, Галицкая с точеными чертами его матери. Где-то там, в шкафу спрятан старый альбом Анны Львовны, спасенный ею в день пожара. И если отыскать пожелтевшую карточку Нелидова, где он снят пятилетним ребенком, на него взглянет это надменное личико белокурой девочки, которую его лошадь чуть не убила в это утро.

И вдруг исчезает действительность. Вихрь смел из души, замученной раскаянием, все, чем жил он вчера. Он видит перед собой письмо Сони. Видит себя на вокзале в Венеции. Разве не кинулся он туда в безумном порыве любви и жалости, чтоб все предать забвению, чтобы прижать к груди эту девушку, мать его ребенка? Ах, зачем не отдался он до конца этому порыву? Разве не ее одну он любил? Разве не она первая, не она единственная нашла в его душе великий, редкий клад — Нежность? И разве не от этой нежности задрожало его покоренное сердце в ту темную июльскую ночь, в беседке, когда он пришел к ней на свидание в Лысогорский парк?

Все забыть. Все простить. Нет! Этого он не смог бы. Прекрасный порыв его угас бы скоро. И опять между ними встала бы черная фигура, которую он встретил на дебаркадере в Венеции, как зловещий символ. Он знает себя. Нельзя забыть прошлое любимой женщины.

Ах, если б только один миг он мог украсть у судьбы в тот несчастный день! Один миг встречи. Один миг радости. Если б он мог взглянуть тогда в больное милое лицо, услышать крик ее, с которым она кинулась бы ему на грудь. Ведь она-то простила бы. Разве любящая женщина помнит оскорбление? О, если б и он мог крикнуть ей в лицо слова, которые жгли его душу: «Прости. Я не виноват. Я не знал, что ты будешь матерью. Зачем ты обманула меня?»

Расчет Штейнбаха был верен. Нелидов попал в ловушку, расставленную врагом. Слепленный ревностью и мстостью, он потерял последнюю возможность примирения — то, за чем мчался, как безумец, получив письмо Сони. Он потерял тогда свою дорогу к счастью.

«Полно! Полно! — внушает он себе. — Какое же это было бы счастье? Примирение на миг и озлобление часами. Ревность, упреки, страдания. Ненависть и недоверие. Разве возможно счастье без веры? А разве такой можно верить? Обманула раз, обманула бы опять. Все к лучшему. Надо взять себя в руки. Забыть прошлое. Осознать свои обязанности. Не изменять себе...»

— Николенька-а-а, — звучит издалека, как бы во сне, голос Кати. — Тебя управляющий жде-е-ет.

Неожиданно приезжает губернатор.

Годы не изменили его: все так же стройна его фигура, и так же изящны его движения. Переменился только чиновник особых поручений. Штейнбах знакомит их с Надеждой Петровной, «Тетушка моей жены», — говорит он и спешит распорядиться о завтраке. Надежда Петровна чувствует на себе удивленный и пронизывающий взгляд губернатора.

Но с огромным самообладанием она ведет светский разговор по-французски.

Входит Маня в парижском туалете. Губернатор оживляется. Обе женщины обмениваются быстрым многозначительным взглядом, пока губернатор говорит чиновнику особых поручений:

— Я знал баронессу еще подростком. Кто мог подумать?

За завтраком обе дамы любезно угощают гостей, звонко смеются, беспечно делятся воспоминаниями об истекшем сезоне в Париже.

Раскуривая сигару, Штейнбах спрашивает, что нового в крае?

— Неспокойно, Марк Александрович. Бы слышали, что нынче ночью убит стражник в Лисках? Нет? От вас я еду прямо туда. Чувствуется опять какое-то брожение.

— Может, личная вражда?

— Э, нет. Про случай с Нелидовым вам уже рассказали?

— Что тут общего? Нелидова давно ненавидят.

— Mon cher baron^[59], не беретесь ли вы защищать террор? Это с вашим-то дворцом, с заводом? С вашими владениями?

— При чем тут террор? Я никогда не был его сторонником. Я принципиально отрицаю его. Но простая справедливость...

— Когда начинается пожар, кто может предвидеть, чем он кончится? Почему вы думаете, что вы больше других застрахованы от слепой злобы?

И губернатор вкрадчиво глядит в глаза хозяина, ища в них тени смущения. Но бледное лицо непроницаемо, как всегда.

— Присядем здесь, Марк Александрович. Не скрою от вас, я жаждал видеть вашу супругу, но приехал раньше, чем думал, и по делу неприятному... Я получил на вас донос.

Глаза их встречаются. Оба молчат одну секунду.

— Да, как это ни странно. Мое первое движение было скомкать и бросить в корзину это грязное письмо. Но его читали другие, мой секретарь...

— Откуда этот донос?

— Из Москвы. Вы знаете моего двоюродного брата жандармского полковника в Ч.? Он тоже получил сведения, и настолько странные...

На этот раз дрогнули веки Штейнбаха.

— Вы можете мне их сообщить?

— Марк Александрович, я буду с вами откровенным. Как друг вашего покойного отца и связанный с вами многолетними и прекрасными отношениями, столь обязанный вашей щедрости во всех моих начинаниях.

— Благодарю вас и очень ценю.

— Вот эта особа, гостящая у вас в данную минуту?

Штейнбах отодвигается невольно.

— Какая особа?

— Эта... тетушка вашей жены?

Они опять молча глядят друг другу в глаза.

— Н-ну? — нервно срывается у Штейнбаха.

Губернатор придвигает свое лицо к его лицу и говорит шепотом:

— Она так поразительно похожа на женщину, которую мы искали шесть лет назад! Вот и вы не можете скрыть волнения.

— Помилуйте, Анатолий Сергеевич, как не волноваться? Я огорчен, возмущен. Я вернулся на родину с женой, пригласил ее любимую тетушку, ее крестную мать. Мы надеялись повеселиться, устроить грандиозный праздник в именины жены. И вдруг из-за какого-то доноса, из-за какого-то

сходства нарушать покой больного человека? Позвольте спросить, чем я, наконец, виноват во всех бредовых идеях ваших подчиненных? Нет дела — вы сами его создаете. Нет революции — вы сами вызываете ее призрак.

— Марк Александрович!..

— Нет, это возмутительно! — перебивает Штейнбах, бегая перед скамьей с потухшей сигарой в руках, — наконец, я ничего не боюсь, ваше превосходительство! Можете делать обыски здесь, в Москве, где вам угодно, если это может успокоить вашего двоюродного брата. Будьте уверены, я не спрячусь.

Он бросает сигару. Губернатор встает.

— Марк Александрович, неужели мы будем ссориться? Я, как друг, приехал предупредить вас.

— Этого я не просил. Если я виноват, арестуйте меня, обыскивайте. Если нет, не нарушайте моего покоя. И не оскорбляйте моих гостей.

— Но постойте! Вы меня совсем в грязь втоптали. Должны же вы узнать, на каком основании...

Штейнбаху только этого и надо. Он садится опять. Оба раскуривают сигары. Губернатор рассказывает:

— Эта женщина изменила свой маршрут. Сестра ее вместо Прилук тайком выехала тоже в Москву, как будто лечиться, на самом деле — на свидание с нею. А здоровая сказалась больной. Все в усадьбе ждали, что эмигрантка приедет на родину. Ошиблись. Теперь стерегут поезда из Москвы. В такой момент, когда опять началось брожение в крае, а вы спросите, чего мне стоило его подавить, одно присутствие этой женщины...

— Теперь понимаю, У страха глаза велики. Бедная тетушка! Ее двойник сидит в Москве, а она виновата, что у нее черные глаза и румяные щеки.

— Ага! Вы, следовательно, знаете и ту?

— Кто ж ее не знает, Анатолий Сергеевич? Кто ею не интересовался? Особенно за границей? И, пожалуй, я не отрицаю: сходство есть, сходство типа. Но надо быть русским чиновником, чтоб из жизни делать такой кошмар.

— Mon cher, надеюсь, что между нами...

— Тетушка хотела уехать после именин жены. Теперь я ее удержу. Я не хочу подвергать ее неприятностям в дороге.

— Да, да, вы правы, это будет самое лучшее.

— Но, позвольте вам напомнить, вы говорили, что у вас есть донос на меня?

— Марк Александрович, я вас давно предупреждал! Ваши постоянные

сношения с эмигрантами и денежная помощь...

— Только-то! Но ведь я же никогда не скрывал моей принадлежности к партии.

— Но я очень прошу вас, как старый друг вашего отца, быть осторожнее. Я не смогу предотвратить беды, когда получу прямое предписание из Петербурга. Вот, например, ваш персонал...

— Что такое?

Губернатор берет хозяина под руку и идет с ним к террасе, куда вернулись остальные.

— Ведь это уже тайна полишинеля, Марк Александрович, что у вас садовником служил анархист, сын генерал-майора, князь Сицкий, приговоренный к виселице за убийство трех городских, пытавшихся его арестовать.

Штейнбах останавливается внезапно.

— Вы это знали, Марк Александрович?

— Да, ваше превосходительство, я это знал.

Губернатор смущен. Такого признания он не ожидал.

— Н-ну, и что же?

— Он умер, как вам известно. Мы стоим у его могилы.

Губернатор невольно оглядывается.

— К чему бравировать? Вы могли бы и не выдавать себя. Но мне прямо указывают на некоторых лиц...

— А именно, вы не хотите сказать? Ваше дело. Настаивать я не смею. Но предупреждаю, что паспорта у них у всех в порядке. И арест кого-либо из них без причин и улик я буду считать за личное оскорбление себя. Да, себя, ваше превосходительство! И этого дела я так не оставлю.

Через полчаса губернатор уезжает. Когда коляска едет мимо больницы, Лика выбегает на крыльцо и, прикрыв глаза ладонью, зорко и странно глядит в лицо губернатора.

— Вы его видели? — спрашивает Надежда Петровна Лику в отдаленной аллее парка. — Вы хорошо запомнили его лицо?

— Да, да, да!

— Вот мой завет вам: кто сеет ветер, тот пожнет бурю. Вы не боитесь бури, Лика?

— Нет! — тихо и твердо отвечает та.

— Детей не пожалеете?

— У них отец.

— А молодости, Лика? Жизнь еще вся перед вами. Чем каяться потом,

лучше не идти по этой дороге: круты эти ступени.

— Я не раскаюсь. А если мое сердце дрогнет, я буду думать о вас.

Надежда Петровна берет в руки голову Лики и крепко целует ее в лоб. Обе взволнованы.

— Чего не успела я, то сделаешь ты! — страстно говорит старуха, сверкая молодыми глазами.

Бледно и вдумчиво осунувшееся лицо Лики.

Где-то рядом хрустнула ветка. Они смолкают и встревоженно озираются. Но все тихо кругом. Они молча идут назад. И внезапно останавливаются. За елью стоит рабочий с длинной веревкой в руках.

— Что вы тут делаете? Кто вы? — сурово спрашивает Лика.

Он поднимает голову, и Надежда Петровна не может подавить безотчетного страха.

— Мы рабочие из Ржавца, — запинаясь и избегая взгляда Лики, отвечает он.

В ту же ночь тройка без факелов и фонарей, без бубенчиков и колокольчика спускается из Липовки в Яр. В ней сидят две женщины, одетые одинаково, в косыночках, без шляп, покрытые шальями, которые скрывают фигуру. В руках у них большие черные кожаные сумки. Мужчина в широкополой шляпе сидит на передней лавочке.

Ночь темна. Луны нет. Чуть белеет дорога.

— Неужели видите что-нибудь, Василий Петрович?

— Не беспокойтесь, Марк Александрович! Я дорогу запомнил. Каждую рытвину я знаю наизусть. А глаза у меня зорки, как у охотника.

Едут в глубоком молчании мимо спящих сел.

Наконец мелькнули огни маленькой станции, которую минуют все скорые поезда. Уже светает. Сейчас здесь пройдет пассажирский поезд. Он тоже стоит всего две минуты.

Надежда Петровна берет в руки лицо Мани и целует ее.

— Увидимся, деточка?

— Скоро, скоро. Ждите меня! — страстно отвечает Маня.

«Где увидите? Когда?» — хочет крикнуть Штейнбах. Но слова его замирают в груди.

— Поезд идет, — говорит в пространство сонный жандарм и сладко зевает.

Штейнбах быстро идет до конца платформы и загибает за угол станции, прежде чем поезд скрылся из глаз. Никто не смотрит. Никому нет дела. Здесь его никто не знает.

О, благословенная глушь! Теперь скорей! Скорей!

На другую ночь перед сном Маня расчесывает волосы. Она слышит крадущиеся шаги под окном.

Она тушит огонь и открывает окно.

— Это вы, Остап? — с легкой тревогой спрашивает она.

Никого. Ей показалось. Жаль все-таки, что нет собак. Их не спускают с тех пор, как вернулся дядя. Их лай мешает ему спать.

Она уже легла. Душно. Не хочется запирасть окна. В сущности, кого бояться? Марка любят и ценят здесь.

Она уже дремлет. Опять крадущиеся шаги...

Инстинктивно вся съежившись, Маня беззвучно сползает с постели. В руке зажат электрический фонарик. Кто-то остановился под окном. Вор? Не может быть...

Она крадется вдоль стены. Ей из темной комнаты видно, что кто-то стоит под окном, на дорожке.

Моментально она поднимает руку и нажимает на кнопку фонарика. На одно мгновение она видит вытянутую шею, белое пятно безбрового лица, белые глаза, полуоткрытый рот...

Шорох в кустах. Никого на дороге. Фонарь гаснет.

С невольной дрожью Маня запирает окно.

Где она видела это лицо? Недавно, на днях. А если это... Не может быть. Просто рабочий, их тут много, строят арки для иллюминации. А все-таки, слава Богу, что *она* уже далеко.

Маня ездит верхом по окрестностям, иногда с мужем, чаще одна.

У опушки Лихого Гая она сходит с лошади и идет по чуть заметной тропинке в тень корявых, угрюмых стволов.

Здесь. Кажется, это было здесь.

Гудят где-то пчелы. Должно быть, над гречихой. Вся розовая и смеющаяся в знойной ласке солнца раскинулась она там, на опушке леса, и шлет Мане как привет свои медовые ароматы. Воздух словно струится вдали, а здесь, в зеленом сумраке, незримо свершается великое таинство жизни. Страстно торопится использовать каждое мгновение тот, кому дано прожить так мало. Целый столб мошек вьется в золотом луче, пронизывающем лес.

«О, мудрые создания, не ведающие страха, жалости и раскаяния, творящие здесь чью-то высшую нерушимую волю и безропотно исчезающие в ночном мраке! И я хотела бы быть, как вы. О, вечное солнце!

Облака, плывущие там, высоко, и уже тающие под моим взглядом, запах земли и сгнивших листьев, скрип старого дуба, пережившего поколения. Да разве я не вы? Разве не чувствуете вы, как близка вам я, — вернувшаяся к вам с обновленной душой?»

Как очарованная, стоит Маня в зеленом сумраке, глядя в золотую даль. Дремлет степь. Ни людей, ни звуков. Сладкий мир бродит неслышными стопами по молчаливым полям; по дорогам, бегущим вдаль и пропадающим из глаз; по кладбищам с безвестными могилами. И тихонько входит этот мир в мятежную душу. Слезы счастья жгут глаза. Забытая радость, что глянула на нее, звонко смеясь, из ветвей старой беседки, — она опять вернулась, и душа затрепетала от восторга.

«О, дивная Жизнь! Люблю тебя во всем твоём непрерывном творчестве, во всем твоём безудержном стремлении. Зачем ты привела меня сюда, где я страдала и любила? Пусть загадочны твои веления! Я безропотно приму их и исполню твой закон — как этот цветок, как это поле, как эти облака вверху, как пчелы, гудящие рядом, как мошки, гибнущие с закатом. Пусть и я умру! Пусть уйду во мрак! Но ничто не отнимет у меня эту радость — слышать в себе все эти голоса, почувствовать в себе все эти соки, сливаться с птицами и мошками, с травой и камнями в одном гимне тебе, прекрасная Жизнь!»

Уже падают сумерки, когда Маня верхом возвращается с далекой прогулки, вся затихшая, вся замороженная молчанием и ширью степи.

Вдруг далеко впереди, на фоне гаснущего заката, она видит знакомый силуэт. Николенька...

Сердце дрогнуло и остановилось на миг. Потом забило так бурно, с такой болью, что слезы выступили на глазах, закрывшихся невольно. Но когда она открыла их, силуэт уже исчез за деревьями балки.

«Это мне померещилось, — думает Маня. — И разве я хочу этой встречи? Зачем? Наши пути разошлись. Мы оба нашли свое счастье в другом. Мы чужие. Разве не оттолкнул он меня?»

Закат угас. Она пускает лошадь в галоп. Сейчас стемнеет. Марк будет волноваться. Ему вредны волнения.

«Милый Марк»...

«Мое сердце дрогнуло», — говорит она себе, в глубокой задумчивости подъезжая к чугунной решетке парка.

Маня опять полюбила далекие прогулки. Вернее, в ней проснулась старая страсть. Разве девочкой не исходила она все эти заманчивые дороги, которые змеются в степи? Разве не сидела она на этих молчаливых курганах, грезя о тех, кто стоял здесь на страже, зорко пронизывая даль

соколиными глазами? Или о тех, кто спит под землю вечным сном, ревниво храня заветные клады?

Часто дядя догоняет ее. Идет согнувшись, словно ища следы кого-то, кто здесь прошел, и не вернется.

Он не мешает ей. Иногда они бродят рядом молча, каждый погружен в свой мир. Но радостен и светел этот мир для Мани. А в зрачках старика отражается ужас.

— Кого ты ищешь, дядя?

— Здесь прошла Сарра. Моя утраченная радость. Молодая, как ты.

— Разве она была здесь?

— В то лето мы шли с нею по этим дорогам. А осенью ее убили. У тебя ее глаза. И смех твой так же звонок.

— Не ходи за мной, дядя. Хочу быть одна.

— Я боюсь, Маня... Боюсь...

— Чего ты боишься?

— Разве ты ничего не слышишь?

— Нет, дядя, ничего. Только гуси кричат на гребле.

— А я слышу шаги. Судьба идет, Маня. Твоя судьба.

— Пусть идет! Ты не защитишь меня, милый дядя. Но успокойся! Ты сам создаешь себе ужас из жизни. Взгляни, как хорошо крутом! Мне хочется молиться и благословить весь мир.

— Вернись, Маня. Смерть подстерегает все живущее на земле.

— Я не боюсь смерти.

Солнце склоняется на запад, когда Маня торопливо спускается по ступеням террасы.

— Куда ты? — спрашивает Штейнбах, которого поразило ее лицо.

— Н-не знаю. Куда-нибудь пойду. Нет, Марк, не провожай меня! Я хочу побыть одна.

Он покорно садится на террасе и разворачивает газету.

Сверху, из бельведера, украшающего дом, он видит все. Она спустилась в яр. Потом поднялась по тропинке к Лысогорам. Вон платье ее забелело вдали, и так ласково засветился на солнце ее алый зонтик. К Соне? Навряд ли. Вон скрылась за деревьями парка. «Она идет к прошлому, — думает Штейнбах. — И если это так, то я потерял ее — на этот раз навсегда...»

А Маня шаг за шагом прошла мимо парка Горленко, мимо заброшенной беседки, откуда она глядела на Липовку, мечтая о Яне. Парк

кончился. Вон за высокими коноплями и березовой рощицей уже начинается левада.

Маня медленно идет мимо табачного сарая, где в первый вечер она услышала голос Яна. А вот и курган, откуда они с Соней когда-то каждый день прощались с солнцем.

Она садится на этот курган и смотрит в небо.

Ничто не изменилось кругом. Тот же алый свет дрожит в воздухе, и чернозем кажется бурым. Те же стебли тыква, как змеи толстые и извилистые, тянутся к ее ногам и выбегают на тропинку. Так же сухая трава скользит под ногой. Тем же холодком веет из яра. И так же беспредельна степь.

Солнце садится все ниже. И постепенно исчезает действительность. Она опять девочка с широко открытыми на Божий мир очами, с жадной, тоскующей душой.

Как больно, что жизнь уходит! Вот опять умирает день. Огни горят в зрачках, и золото сверкает в кудрях ее. На голове венок из васильков. «Приди же, радость! Свершиться, грезы! Я жду вас так долго! Так страстно жду!»

Вот-вот сейчас она услышит четкий звук копыт по сухой земле. И появится всадник в английском шлеме и крагах. Он удивленно взглянет на двух девочек. Поднимет над белым лбом свой шлем. И скроется вдаль, за дымкой пыли. Как сказка, как сон. А глупое сердце рванется за ним в безумной жажде счастья.

Неизъяснимым очарованием полны для Мани эти прогулки. Она ждет, когда солнце коснется земли, врежется в нее раскаленным краем и, глянув на Маню в последний раз багровым печальным глазом, уйдет под землю. Еще немного — и погаснут краски. И прежде чем она добежит до парка Липовки, уже спустится ночь. Скорей! Скорей! Вот сейчас на краю дороги дурман сверкнет на нее своей одуряющей белизной. А там конопля. А за ними сарай. А у сарая Ян...

Она возвращается домой с таким чувством, как будто не было этих шести лет страданий и борьбы. Как в рассказе Эдгара По, где страстной силою желания мертвая жена губит живую и перевоплощается в ее тело, чтобы упиться новым счастьем, в душе Мани потихоньку умирает гордая, мятежная и страстная Marion. И мечтательная девочка с горячими глазами возникает из праха. С лицом, усталым от счастья, потрясенная избытком ощущений, разбитая, возвращается она в Липовку. Туда ли она зашла? Неужели для нее горят вот эти огни на террасе и ее ждут эти ненужные, далекие люди? Зачем ждут? Ужинать? Боже мой! А ведь там еще остались

таинственные дороги. Там еще бегут манящие тропинки и зовут вдаль. Там за каждым поворотом ждет ее новое.

— Что же это так долго, Маня? — раздается голос, и высокий силуэт ее мужа выступает из мрака.

Мужа? Так у нее есть муж? Как это случилось?

— Я так давно жду тебя, Манечка!

Она покорно идет за ним. Ее ноги влажны от росы, и край юбки отяжелел от сырости. Как тогда, как тогда...

Но у девочки Мани была свобода. Целая жизнь лежала перед нею. Такая богатая, такая огромная.

— Где ты была, Манечка?

— Не помню, Марк. Далеко.

Почему нынче сумерки застали ее на леваде? Загляделась ли она на тучи, заслонившие солнце? На багряное, зловещее небо? Она очнулась от глухого топота.

Кто едет там, внизу, по глубокой лощине? Сон это или явь? И почему опять дрогнуло ее сердце? Напряженно глядит она вниз. Вот показалась голова лошади, всадник в серой блузе и крагах.

Маня встает с глухим восклицанием. Но прежде чем она успела что-то понять, всадник снимает фуражку и высоко поднимает ее над головой. Испуганная лошадь мчится в галоп и скрывается из виду.

Маня опять садится. Ноги ее дрожат. Сон наяву. Да. Но чего же испугалась она? Это бледное, исхудавшее, уже не юное лицо с изумленными чужими глазами лишено очарования. Не с ним бродила она все эти дни рука об руку по далеким дорогам. Не с ним сидела рядом на курганах и глядела на закат. У того были пушистые щеки и алые губы. У того была молодость. Чего, однако, испугался он? Не принял ли он ее за призрак? Он прав: между Маней, которую он любил, и знаменитой Marion разве есть что-нибудь общее?

Она оглядывается, тоскливо сжав брови. И чуда никакого нет. Лес Нелидовых лежит далеко от его усадьбы, и эта дорога ведет туда. Да, да, конечно, так. Он ехал из леса, как тогда, десять лет назад. Вот и объяснение сна наяву.

Она поднимается среди быстро падающих сумерек и идет, шаг за шагом, вся разбитая. Отчего? И откуда эта тоска? Если б только знать, что почувствовал он? Что подумал?

Уже темнеет, когда она подходит к спуску в лощину, отделяющую Лыеогоры плотиной и прудом от большой дороги и Липовки. Где-то за

тополями тихонько ржет лошадь. Кто-то беззвучно выдвигается из темноты.

— Не пугайтесь! — слышит она знакомый голос. — Это я.

Она останавливается, и нет у нее дыхания. Кровь с такой силой прихлынула к сердцу, так бешено забилося оно, что Маня глохнет. Что он говорит? Какие слова говорит он ей?

— Вы узнаете меня? — робко спрашивает он, наклоняясь к ее лицу.

— Да, я тебя узнала. Я давно ждала тебя, Николенька.

Он отодвигается, как будто она ударила его в грудь.

«Сон или нет? Сейчас проснусь...» — думает она.

— Я тоже искал этой встречи... Я много думал о вас. Я страшно виноват перед вами...

— Ты? Передо мной?

Она молчит одно мгновение.

— Но в чем же ты виноват передо мной, Николенька? — грустно и нежно спрашивает она, овладев наконец собой.

Но от этого нежного голоса ужас охватывает Нелидова. Он не в силах унять внутренней дрожи.

— Зачем вы *так* говорите? Зачем это *ты*? Вы жена другого. Не зовите меня Николенькой.

Она тихо, грустно смеется.

— Как же ты хочешь, чтоб я звала тебя теперь, когда все эти годы, думая о тебе, я называла тебя так?

— Все эти годы? Что вы хотите сказать?

Она слышит его дыхание. Видит его страдающий взгляд. И все-таки не может очнуться. Сон... сон... Ничего нет наяву. Это воплотилась греза. Это колдует надвигающаяся ночь. И сама она боится шевельнуться. Боится громко говорить.

— Мари, послушайте меня! Снимите с души моей камень. Я встретил на днях на лесной дороге девочку...

— Это твоя дочь, Николенька. Теперь ты в это веришь?

Она слышит странный звук, как будто подавленное рыдание.

— Ах... Вы никогда не простите мне эту низость!

Она тихонько подходит и берет его руку. Ей страшно проснуться. Нет, это не сон! Вот его рука, маленькая, горячая, сильная. Но отчего дрожит он всем телом? Почему отдергивает руку? Жалость бездонная, бескрайняя вдруг входит в душу и затопляет ее.

— Я все простила, Николенька, — глубоким голосом отвечает она.

Она безмолвно глядит на белеющее в сумраке лицо, на пышные волны

волос, на эти капризные брови. Он видит опять ее незабвенные глаза. Он крепко стискивает зубы. Он боится себя. Кто-то темный и страшный смотрит из его глаз на эту чужую женщину, которой он владел. И нельзя дать ему воли. Ни слова, ни движения! Иначе рухнет все, чем он жил. И раздавит его самого под обломками.

Они не слышали шагов и невольно вздрагивают, когда высокая черная фигура встает рядом. Яркий свет электрического фонарика озаряет сперва лицо Мани, затем лицо Нелидова. И замирает на нем. С удивленным и гневным жестом Нелидов отступает в тень. Но свет опять настойчиво нащупывает его лицо и останавливается, точно спрашивает: «Кто ты?»

— Не бойся, Николенька. Опустит фонарь, дядя! Ты искал меня?

Нелидов делает еще шаг назад. Но свет его ищет. Старик глядит безмолвно и пристально, как будто хочет навсегда запомнить его черты.

— Дай сюда! — говорит Маня, беря руку старика, и отходит с ним на дорогу. Все погружается в полумрак.

— Кто это, Маня? — шепчет старик. — Где я видел его?

— Это отец Ниночки, не бойся! Он мне не сделает зла. Иди, иди... Жди меня внизу, у пруда. Я сейчас вернусь.

Они опять вдвоем. неподвижен силуэт Нелидова. Его снова поразило сходство старика со Штейнбахом. Темная ревность вновь зажглась и отравила сердце, смягченное печалью.

— Как зовут мою дочь?

— Нина.

— Вы страдали, Мари. Теперь я понял, почему вы хотели умереть.

— Скажи мне ты, Николенька! В эту великую минуту примирения скажи мне ты, как прежде.

Стон срывается у него. Он делает к ней шаг. Но опять огромным усилием воли побеждает свой порыв.

— Если были слезы и страдания, Николенька, я их люблю теперь. Все стало священным в этом прошлом. Как могла я проклинать тебя? Ты дал мне мое дитя И не надо тебе ни страдать, ни каяться. Будь счастлив, Николенька! Я твой друг навсегда.

Она протягивает руку. Он держит ее крепко, боясь прикоснуться к ней жаждущими губами. Боясь близости. И страшась разлуки.

Она первая приходит в себя и оглядывается.

— Уже ночь. Я пойду. Прощай, Николенька!

— Как вы пойдете? Здесь круто, вы оступитесь. Дайте руку!

Вдвоем они спускаются в яр. Голова кружится у Нелидова. Он почти обнял эту женщину, которой полны его бессонные ночи, его безумные сны.

Ах, если б еще раз, один только раз взять ее, как в ту незабвенную ночь в беседке! А потом? «Смерть», — говорит в душе кто-то суровый и чуждый. *Жить потом уже нельзя.*

«И не надо!» — с отчаянием отвечает его сердце.

И во второй раз, как в ту ночь, в Венеции, сквозь туман жизни Нелидов вдруг видит трагическое лицо Вечности.

Вот и плотина. Тускло поблескивает темное зеркало пруда. Кто-то идет по мосту. Слышны голоса. Сверкнул глаз фонаря.

— Маня... Ты?

Оба вздрогнули. Нелидов отдергивает руку.

— Я, Марк. Иду.

Вдали уже видны две высокие фигуры, как будто это Штейнбах и двойник его.

— Прощай, Николенька! — шепчет она. «Конец», — звучит у него в ушах.

— Мара... Я еще не все сказал. Вы должны меня выслушать. Придете? Когда?

— Завтра. Там.

Нелидов скрывается за кустами, сбегаящими по круче. Лошадь его тихонько ржет наверху, точно зовет его.

Маня стоит как ослепленная, ничего не видя во мраке смятенной души. Нет сил двинуться дальше.

Штейнбах настороже. Он видел лицо Мани, когда она вернулась. Случилось что-то важное, что-то большое. Эта женщина уже не живет, а грезит. О чем? Что, кроме встречи с Нелидовым, могло так потрясти ее?

На его осторожный вопрос она отвечает мягко, но отчужденно:

— Не спрашивай, Марк! Пусть уляжется! Все скажу потом.

Маня лежит с закрытыми глазами. Кругом ночь и тишина. Весь дом заснул.

Что случилось? Она опять стоит на распутье. И две дороги лежат перед нею.

Они встретились наконец. Завтра вновь увидятся. Он скажет ей что-то забытое, важное. А потом?

Сердце Мани замирает. Что же будет потом? Она вернется к любимому мужу. Он вернется к любимой И все пойдет по-старому. Только одним желанием будет меньше в душе. Погаснет греза о прекрасной возможности. Он останется здесь. Она уедет в Париж. Как жизнь проста!

Она лежит с закрытыми глазами. А душа поет. Какую песнь? Торжествующей любви? О, нет. Печальна эта песнь, и сладка эта печаль. Она переживает вновь все, что свершилось там, среди молчания полей, под темнеющим небом. Счастье ли? Горе ли? Все равно! Не избежешь, не изменишь ничего.

Но какое блаженство в этой беспредельной нежности! Точно мать своего больного ребенка, любит на его сейчас. Страсть? Ревность? Безумие прежних дней? Нет. Ничего этого нет. Как хорошо! Как тихо на душе! Вот его худое, бледное изменившееся лицо. А рядом смуглое личико Кати. Больно? Нет. Вот он целует Катю. Пусть целует! И это не больно. Даже хорошо. Какой ужас, если б он не любил жену, если б он страдал, если б он...

Она на мгновение открывает полные страха глаза. Нет! Это невозможно. Ее-то он разлюбил. И слава Богу! Все проходит. Разве она сама не любила Гаральда? Не находила радость в других объятиях?

И есть еще что-то, от чего мир входит в ее душу. Сознание собственной силы изумляет и радует ее. Странное чувство — это сознание своего превосходства над человеком, державшим когда-то в руках ее жизнь, одним взглядом пославшим ее на смерть. И только сейчас, припомнив, как они стояли рядом, он — подавленный и трепещущий, она — владеющая собой, — Маня видит, как выросла она сама за эти годы, какой долгий и трудный путь прошла ее душа. Можно ли с этого пути вернуться назад? Можно ли с высокой башни, где видел солнце, добровольно спуститься вниз, где царит мрак, где пахнет тлением?

Когда солнце спускается, Маня выходит из парка. Лицо ее странно торжественно. Глаза углубились. Они смотрят в душу. Что видят они там? Все ту же силу. Все ту же радость. И нет колебаний. И нет страха.

— Куда ты, Маня? Мне можно с тобой?

— Нет, Марк. Меня ждет Нелидов.

Они стоят рядом, облитые ласковым, уже холодеющим солнцем. Его лучи играют в волосах Мани, в ее зрачках. Она точно вся пронизана светом.

— Я это знал, — тихо говорит он, опуская голову.

— Я рада этой встрече, Марк. Мы примирились. Не знаю, что хочет сказать он мне сейчас. Но я обещала прийти.

— Маня, не ходи! Умоляю тебя. Если ты хоть немного меня жалеешь...

Пораженная его отчаянием, она останавливается.

— Ты мне не веришь? Не бойся, Марк. Я сильна. Скажу тебе больше, я

уже не люблю его. Вернее, я люблю не его, а память прошлого. И это прошлое здесь, на этих дорогах, в этих полях, в лесу. И его я не могу забыть. Все остальное ниже. Все остальное бледно. О, Марк! Не надо страдать. Мы скоро уедем. Подари мне эту радость жить в прошлом еще несколько дней. Это чистая радость. Ни тебе, ни мне не придется краснеть за нее. Я иду, Марк. Боюсь, что солнце сядет. Я хочу видеть закат. Этот день — мой. До свиданья, милый Марк!

Она идет, спокойная, со счастливой улыбкой. Он глядит ей вслед, охваченный ужасом.

«Я знаю, что он скажет ей. Она не простит. Я погиб...»

Маня сидит на пригорке и смотрит вдаль.

Что он хотел сказать ей? Что-то важное. Не все ли равно? Она сидит здесь, потому что иначе быть не могло. И эту степь, и этот закат, и эту встречу, и все, что он скажет, — она этого ждала все годы. Она это видела когда-то, быть может, во сне...

Солнце уже низко, когда вдали показывается Нелидов. Он идет, должно быть, прямо с полевых работ, и на этот раз пешком. На нем серая блуза, перехваченная поясом, высокие сапоги. Удивительно идет этот простой костюм его стройной фигуре и породистому лицу, быть может, именно благодаря контрасту. Он издали смущенно улыбается Мане, высоко подняв фуражку. О, милое лицо! Эти стройные плечи, эта больная улыбка. Сердце дрогнуло от умиления.

Она встает, такая странная, такая экзотичная в своем белом узком, облегающем все линии ее тела платье, с открытой шеей и руками, — такая непонятная среди этих мирных полей, похожая на какой-то тревожный сон. Она видит жадный, изумленный взгляд, которым он окидывает ее фигуру. И чувство отчуждения вдруг холодной струйкой вползает в душу Мани. «Его жена такого платья не надела бы, — мелькает мысль. — Но что мне до его осуждения! И зачем так горят мои щеки? Даже больно глазам...»

Он целует руку, которую она протянула ему с видом королевы, вся чужая и надменная. Его поцелуй длителен и горяч. И сразу темнеет ее душа. Вспоминается Катя. Вспоминается собственная боль, когда он отверг ее. И если глаза его загорелись страстью, она не позволит ему ни одного движения, «На таких, как вы, не женятся», — звучит издали жестокий голос. Это так он говорил с нею. О, его страсть не найдет отзвука в ее душе! «Она уже не страшна мне. Я выросла. Я сильна...»

— Простите, что я в таком виде, я прямо с работы. Вы давно здесь? Прошу извинения. Я не хотел, чтоб рабочие видели, куда я пошел.

Как робко звучит его голос! Как неуверенны движения! Ее взгляд смягчается. Не надо вражды. Этот миг минет, и они никогда не встретятся.

— Сядем, Николенька! — со вздохом говорит она, опускаясь на пригорок. — Побудем здесь, пока не зайдет солнце.

— Мари, я поступил как безумец. Я не должен был звать вас сюда. Здесь каждую минуту могут нас увидеть.

— Чего же ты боишься, Николенька?

— Я должен беречь ваше имя. Вы замужем.

— Помолчи. Не нарушай моего настроения. Я давно жду тебя. Шесть лет жду этой встречи. Не говори. Не вспоминай. Дай мне грезить с открытыми глазами! Забудь, что у меня есть муж и что тебя ждет жена. Разве ты не чувствуешь, что все это призраки? А правда только ты, и я, и этот курган, и этот закат?

— Если б это было так! — с горечью срывается у него.

Он оглядывается. Но кругом безлюдно. Где-то внизу, в долине, идет стадо и громко щелкает бич. А вдали показались гуси, точно снег выпал на черное вспаханное поле. Крохотная босоногая девочка гонит их на хутор.

Нелидов садится у ног Мани, на сухую, побуревшую траву, и снизу вверх глядит в ее розовеющее в закатном свете лицо, чужое — с этой прической, с этим странным, мечтательным выражением, — но обольстительное, грешное лицо, опьяняющее, как запах туберозы, от которого стучит сердце и кружится голова. Он борется с собой, стискивая руки, стискивая зубы, стараясь глядеть в сторону. Но нет сил, ведь этот миг исчезнет, завтра уже ничего не останется, кроме жгучего воспоминания.

— Вы счастливы, Мари? — помимо воли срывается у него. — Вы любите вашего мужа?

Она смотрит на солнце.

— Сейчас зайдет, смотри! Немножко-немножко осталось, один краешек...

Он робко берет ее руку и страстно целует ее.

— Как вы переменились, Мари! Вы для меня сейчас новая и чужая женщина.

— Гляди! Гляди! — Она нежным движением поворачивает его голову к закату. — Сейчас скроется...

— У вас совсем другое лицо.

— Вот и село... — с глубоким вздохом говорит она.

И вдруг в ее зрачках, в ее улыбке он видит вновь давно исчезнувшую девочку — свою Маню, которую он любил так страстно. Точно она выглянула из окошка чужого дома и печально улыбнулась ему. Его

волнение так сильно, что он не может заговорить и, побледнев, закрывает глаза.

— Помнишь, Николенька, нашу первую встречу вот здесь? — мечтательно спрашивает она. Совсем как прежняя Маня.

— Здесь? Нет, не помню, вы ошибаетесь...

Она тихонько отодвигается. И холодно, и печально глядит на гаснущую полоску, на загорающиеся высоко в небе облака.

— Вот я опять потерял вас, — с тоской говорит он. — Я опять не узнаю вас.

— Стала я лучше или хуже? — без тени кокетства, чужим и обыденным голосом спрашивает она.

— Н-не знаю, не знаю, Мари. Глядеть наслаждение. И страшно глядеть на вас!

Она выпрямляется. Жалко дрогнули ее губы. Что такое? Ведь она сильна, горда. Она выросла. Он остался тем же. Чего ей бояться теперь? Но невинная радость нарушена. Она уже не может отдаться непосредственному наслаждению от этой близости. Началось раздвоение. И опять сильная и гордая женщина тревожно смотрит в свое сердце, где беззвучно встает призрак девочки, жаждущей любви и подчинения.

Она говорит с трудом, мгновенно высохшими губами:

— Ты все эти годы был счастлив, Николенька. Я знаю, что ты любишь жену свою, у тебя дети, и жизнь твоя полна...

Он поднимает голову и молча смотрит на нее. И тут только в первый раз она видит, как он исхудал и постарел, какие резкие линии легли вокруг его алых когда-то, теперь бледных губ, какая глубокая морщина прошла по его белому лбу, какая печаль в его запавших глазах. Если это счастье...

— Николенька, — говорит она с внезапным страхом, наклоняясь к нему, — забудем все! Будем молчать. Слышишь, как тихо? Какой мир кругом... Зачем нам мучиться? Разве мы сделали что-нибудь дурное? И разве мы могли не встретиться? О, Николенька, помоги мне! Будем как дети... Оцени это мгновение. Ведь оно не вернется. Мы одни сейчас с тобой, Николенька. Во всем мире одни!

Почему он так бледен? И так странно глядит? И почему отчаяние растет в ее собственной душе, которая заметалась и забилась, как свеча на ветру. Он так крепко держит ее за руки, что ей больно. Голос ее, ее смятение проникают в его кровь, как отравы.

— Николенька, — жалобно, беспомощно срывается у нее, — скажи мне, что ты счастлив! Я буду рада за тебя. Скажи мне, что ты счастлив! Я все эти годы видела тебя сильным, надменным. Почему ты не такой?

Он бросает ее руки и падает лицом на землю, у ее ног.

Она сидит одно мгновение недвижно, словно оцепенев, с полуоткрытыми губами, глядя перед собой в одну точку.

— Разве... ты не... разлюбил меня, Николенька? Она слышит глухое, бесслезное рыдание.

Все никнет в душе ее. Все рушится. Все меркнет. Встала огромная, темная волна. „Я погибла“, — чувствует она.

Он лежит лицом вниз, и все его тело содрогается.

— Николенька, дитя мое дорогое...

Нет слов. Все бессильно и бледно перед великим порывом, подхватившим ее. Она поднимает его голову, прижимается лицом к его лицу и гладит его волосы. Его длинные ресницы щекочут ей щеку. И сердце ее опять дрожит от умиления.

— Мари, я недаром боялся тебя... Ты ушла, но жизнь мою ты разбила.

— Разве ты не любишь Катю?

— Нет, Боже мой! Нет! Я жаждал обмануть себя. Я думал, что люблю ее. Вся моя жизнь, все эти годы — сплошная ложь. Я мечтал о тебе... все ночи... все сны только с тобой...

Безумная жажда прижаться к его сердцу, стихийная жажда жертвы, *самоуничтожения в любви* — все растет в душе ее, парализуя волю. Ее зовут куда-то его потемневшие глаза.

— Я люблю тебя, Николенька, — шепчет она бессознательно.

— Мари, что ты сказала?

Она дает обнять себя. Он целует ее лицо, ее губы. На секунду ей кажется, что она лишится сознания от острого блаженства. Разве не это правда? Единственная в мире правда?

Что такое? Шорох, трепет крыльев, скрипучие голоса... Маня отстраняется первая. Ах, это гуси. Остановились, испуганные, у пригорка, тревожно заговорили. Бегло кланяется, проходя мимо, босоногая девочка. Машинально Маня кивает ей. Видела она их или нет? Ах, все равно, все равно теперь».

Выпрямившись и закрыв глаза, сидит он у ее ног.

Что-то случилось сейчас, роковое и бесповоротное. Что-то огромное и грозное встало на его дороге и отбросило зловещую тень на его душу, угасли мгновенно все его порывы. Опять, как тогда, в Венеции, он стоит у какого-то предела, у какого-то порога. Еще шаг... а там — Молчание.

Она первая встает и, пошатнувшись, вся разбитая, опирается на его плечо.

Они идут медленно, рука в руке, среди темнеющих полей, не замечая

своего безмолвия.

Вдруг он останавливается.

— Неужели мы никогда не встретимся, Мари?

— Это невозможно, Николенька! Я умру, если ты исчезнешь опять из моей жизни. Еще раз, один раз... Я не все сказала. Душа моя голодна. Я должна сказать, как я люблю тебя, дитя мое, как я безумно тебя люблю...

— Какой ужас, Мари! Ужас и счастье...

— Боже мой! Как я вернусь домой? Как я проживу эту ночь? Домой? Но где мой дом? — Она болезненно смеется. — Разве не там, где ты?

Она обнимает его шею руками и плачет.

— Мари, не плачь! Это ужасно. Последнее мужество покидает меня.

Его рука гладит ее волосы. Она вся притихла под этой лаской. Она улыбается сквозь слезы.

— Ах, вот эта нежность твоя, я так страстно мечтала о ней когда-то, я добивалась ее... Ведь это самое страшное, пойми, Николенька! Все можно вспомнить холодно. Все можно забыть. Но вот эту ласку... Что мне делать теперь? Что мне делать? Что? Что?

Она опять плачет, припав к его плечу. Вдруг она поднимает голову.

— Разве тебе не страшно, Николенька, сейчас?

— Да, мне страшно. И я знаю, почему. Потому, что я не могу жить без тебя, и не смею жить с тобой.

— Вот, вот, ты это почувствовал. Смерть всегда рядом с такой любовью. Я это знаю, я это уже испытала.

Он страстно прижимает ее к себе.

— Умрем вместе, Маня! — слышит она его голос, полный отчаяния.

Он приникает к ее губам. И вея содрогаясь, она с ужасом и упоением вновь чувствует свое безволие перед этим человеком. Точно земля уходит из-под ног. Темный голос могучего инстинкта зовет ее из таинственной бездны. Темные волны встают и гасят сознание. Она их помнит. Она знает их значение. Душа жаждет рабства. Нет больше свободы. Кончено. Кончено все!

Скрипит телега. Кто-то едет с хутора. Звучат голоса.

Объятие расторгнуто. О, с какой болью. Стиснув руки, не в силах унять внутренней дрожи, Маня напряженно вглядывается в сумрак. Ее узнали? Все равно.

Телега поравнялась. Простые, незнакомые лица. Простая, неведомая жизнь. Почтительно снимаются шапки. Покорно склоняются головы. Минул трудовой день. Настал час отдыха и сна.

Почему так пристально глядит Маня вслед этим людям? Что силится

она понять? Какой тайный смысл во всем? В этой бесшумно надвигающейся ночи? В этой встрече с чужими людьми, нарушившими блаженство двух душ, созданных друг для друга, разлученных судьбой и все-таки годами стремившихся слиться? Какой смысл в лихорадке, охватившей тело? В этом призыве: «Умрем вместе!» Ах, этот голос! Эта ласка. Как вытравить их теперь из памяти? И сквозь туман душевного смятения она с изумлением видит новое одухотворенное лицо его любви. Сколько надо было ему выстрадать, чтоб очистить душу от чувственности и — от жажды мести! Победа? Да. Но это еще страшнее.

— Мари, совсем стемнело, и на сегодня мы должны расстаться. Это ужасно, но мы должны. Твой муж...

— Молчи! У меня нет мужа. Неужели ты этого не понял, Николенька, сейчас, вот в эти мгновенья? Неужели ты не понял, что я твоя жена перед Богом, перед этим небом. И что нет никого и ничего между нами?

Потрясенный ее голосом, он закрывает глаза. И вдруг Катя, жалкая, обманутая, маленькая Катя — такая близкая и чужая в то же время — словно выглянула на него из мрака.

Угадав его мысли, Маня берет его ослабевшую руку в свои.

— Николенька, говори, что я должна сделать? Идти за тобой? Исчезнуть из твоей жизни? Приказывай! Я сделаю все. У меня найдутся силы. Обо мне не думай. Нет жертвы, перед которой я остановилась бы, чтобы видеть тебя счастливым, или хотя бы спокойным, каким ты был все эти годы. Ведь ты же умел прожить без меня. Говори! Моя любовь не дрогнет ни перед чем! Лишь бы ты не страдал.

— Зачем ты вернулась, Мари? — срывается у него, как стон.

Она обнимает его голову. Как мать свое дитя, прижимает его к себе.

— Николенька, если б когда-нибудь я предполагала, что ты будешь страдать. Я чувствовала, что ты меня не забыл. Ты не из тех, кто забывает. Но мне казалось, что ты можешь смириться. Я вижу, что ошиблась. Николенька, какое безумие разлучило нас, созданных друг для друга?

Она слышит запах его тела, его милое дыхание. На губах ее еще остался вкус его поцелуев. Но жажда отдаться ему не томит ее больше. Великая нежность и великая печаль поглотили ее страсть, как волна покрывает берег, и унесли с собой страдания неудовлетворенного, божественно прекрасного порыва.

— О, Мари! Ты была моею когда-то...

— Но что же изменилось? Я опять твоя душой и телом.

— Неправда! Ты замужем. Я женат. Для тебя, знаю, это не имеет значения, но я чувствую иначе. Я потерял все права. Я потерял тебя

навсегда.

Она горько смеется.

— О каких правах говоришь ты? Разве ты не чувствуешь, что это ложь? Ложью полна твоя жизнь с Катей, если ты любишь меня И могу ли я назвать Марка мужем после этой встречи с тобой?

— Ты все еще любишь его, Мари! — ревниво срывается у Нелидова, и он крепко прижимает ее к своей груди с безумной жадой разрушения и жестокости. — О, я и сейчас ненавижу тебя за обман и измену!

— О, Боже, Боже! Как ты далек от меня, Николенька! На один только миг ты почувствовал истину. И вот опять, опять ты ушел от меня. Николенька, моя душа богата, и я многими увлекалась. Но тебя я люблю. Я никогда тебя не проклинала. Даже когда умирала, отвергнутая тобой, я любила тебя, тебя одного.

Внезапно два силуэта вырастают из сумрака. Вздрогнув от неожиданности, они замирают на месте. Белое платье Мани выдало ее присутствие. Маня видит широкополую шляпу одного, картуз и узкие плечи другого. Что-то знакомое. Белое лицо глядит на нее из полумрака.

Через мгновение шаги их стихают вдали.

Весь пронизанный неудержимой дрожью страсти, Нелидов шепчет:

— Нам не дают ни минуты покоя! А ты сейчас покинешь меня.

— Если ты хочешь, я никогда не покину тебя, Николенька! Одно твоё слово, и сейчас, не возвращаясь домой, мы уйдем на станцию, а там... перед нами весь мир.

Волшебством веет на него от этих слов, от этого голоса. Это его прежняя, безумная Маня Все та же язычница, с грешными речами, с загадочным и неодолимо влекущим миром ее темной душа.

— Нет, Мари. Я не могу бежать как трус. И презирая себя, жить я не согласен. Завтра тяжелый день. Нынче ужасная ночь. Я должен выбрать и решить. Но завтра, — он опять притягивает ее к себе, — завтра, на закате мы должны встретиться во что бы то ни стало! Да? Да?

— Где, Николенька? — покорно спрашивает она. И порыв его гаснет.

Словно читая в его душе, она, горестно улыбаясь, смотрит в темное небо. Где кров, который приютил бы их? Где ложе их любви?

Она кладет руки ему на плечи.

— Мы не можем видаться ни у тебя, ни у меня. Только под этим небом, среди этих полей, Николенька, мы можем любить друг друга. Я скажу тебе, где должна быть наша встреча. Там, где свершилась наша судьба, в нашей священной роще, помнишь?

Невольный трепет охватывает Нелидова при воспоминании о

мгновениях жизни, для которых, ему казалось, он только и пришел в мир.

— Мари, я чувствую, что иду на гибель. Пусть! Я не могу иначе. Ты придешь завтра? Я буду ждать тебя у обрыва.

— Да.

— В восемь. Дорогу ты знаешь?

— Да.

— Не побоишься идти?

— Нет.

— Боже мой! Если ты не придешь... Если что-нибудь помешает... Я не переживу этой ночи, Мари.

— Я приду, Николенька. Нет силы, которая остановила бы меня! Ответь мне одно: после этой ночи ты будешь по-прежнему счастлив и спокоен?

— Не знаю. Не знаю ничего. Я точно ослеп. Ничего впереди не вижу. Только эта одна мысль меня жжет и терзает. О, Мари! Быть вдвоем с тобой среди безмолвия ночи, держать тебя у моего сердца. Видеть тебя опять, покорную, любящую, в слезах, моей, моей безраздельно... Мари, сколько раз за эти годы я обнимал тебя во сне и наяву, лежа с открытыми глазами. — «Рядом с женой» хочет сказать он, но смолкает. — Сколько раз я мечтал увидеть тебя хоть издали, и вот опять ты со мною. И любишь. Мари, я никогда-никогда не забывал тебя. И если бы я смел отдать тебе жизнь...

— Она моя, Николенька! Я знаю, стоит мне захотеть, и ты бросишь все и уйдешь за мною. Презирая себя, уйдешь. Но эту жизнь я тебе дарю. Бледную, тусклую жизнь рядом с нелюбимой женой, но зато без раскаяния, без угрызений совести, — я тебе ее дарю. Я ничего от тебя не потребую. Ни одной капли горечи я не волью сознательно в твою душу. Будь счастлив, Николенька, без меня, если можешь! Возможно, что завтра, когда угаснет твой порыв, ты будешь холодно вспоминать обо мне и вернешься опять к жене своей. Нет, подожди! Выслушай. Возможно, что ты опять не оценишь моей жертвы, что ты в глубине души, там, куда не доходит сознание, все-таки осудишь меня, как язычницу, которую ты никогда не понимал. Значит, ты не любил меня. И в тебе говорило одно желание. Пусть, я на все иду, я все прощу тебе, Николенька. Все смиренно приму от тебя. Нет границ моей покорности. — Вот и теперь ты дрожишь от желания. А мне хочется молиться. Мне хочется благословить жизнь за то, что она создала меня для твоего наслаждения.

Они расстались наконец. С невыразимой мукой оторвались друг от

друга. И пошли разными дорогами, они — самой судьбой призванные идти одним путем.

Так думает, так чувствует Маня, в полной темноте спустившись по тропинке к гребле. Она стоит неподвижно. Шевельнулись неподалеку какие-то силуэты. Качнулись и побежали какие-то тени. Деревья зашелестели над головой. Маня стоит, как бы оцепенев, и слушает затихающий вдали звук шагов.

«Куда идет он? *Домой*. К жене? Он — мой. Душой и телом. Что будет он делать сейчас? Ужинать, потом спать, рядом с женой, весь полный одним стремлением ко мне. И он не осквернит свой порыв, отдав его другой женщине, вот этой маленькой Кате, случайно почему-то очутившейся в его постели. Он отвернется от ее молящего взгляда. Он отодвинется от ее смуглого тела. Он мой сейчас! Я взяла его душу, его помыслы, его желания. Надолго ли? Все равно! Он это понял не умом, а сердцем. Но каким преступным чувствует он себя сейчас перед этой ничтожной Катей! Каким виноватым взглядом ответит он ей! Бедный Николенька! Он только сейчас почувствует цепи, которые надел на себя добровольно. И ему не придет в голову разорвать их и вырваться на свободу. Что свобода таким, как он? Пустой звук. И завтра, расставшись со мною, он будет презирать себя, а не благословлять судьбу за миг радости. Он постарается меня забыть.

Еле передвигая ослабевшие ноги, она идет по широкому двору, мимо цветников и фонтана. Чьи-то лошади фыркают в стороне. Горят огни фонарей. Кто-то приехал. О, Боже! Пожимать ненужные руки, слушать разговоры». Теперь? После того, что пережито?

Она подходит к решетке парка.

«А куда я иду сейчас? Зачем иду? Чтобы видеть страдающее лицо Марка, его ревнивые и больные глаза? Чтоб играть перед всеми роль его жены? Зачем этот обман? Кому он нужен? „Где твои клятвы?“ — спросит он меня. Молча спросит. Без слов. Одним беглым взглядом. И что я отвечу ему? Разве я искала встречи? Разве я могу избежать судьбы моей? Разве у меня не было своей жизни, новой, осмысленной, прекрасной? И разве что-нибудь осталось от всех этих гордых планов и надежд? Как бледны и жалки все наши усилия, чтоб обмануть судьбу!»

— Это ты, дядя? Где Марк?

— Не знаю. Я ушел, там гости. Шумят. Мне страшно, Маня. Я опять боюсь чего-то. Где ты была? Я так давно жду тебя здесь.

Она только теперь чувствует, что силы покинули ее. Все ее напряжение падает разом. Не надо утешать. Не надо убеждать. Не надо жертвовать. Не

надо бороться. Она прижмется к груди несчастного, преданного ей старика, и он поведет ее через темный парк туда, где ждет ее покой и молчание. Ах, никого не видеть и быть одной...

— Ты страдаешь, Маня?

— Нет.

— Ты опять была с тем?

— Кто он, Маня?

— Я люблю его.

— Но у тебя муж есть, дитя мое.

— Это ошибка, дядя, это сон. Довольно! Не говори, Я устала. Я смертельно устала.

Опервшись на его руку, медленно идет она по темной алее.

На террасе горит огонь, звучат голоса Веры Филипповны и дядюшки. Маня идет через другую террасу в свою комнату. Фрау Кеслер выходит в коридор.

— Куда ты пропала? Здесь Соня и ее мать. Они уезжают. Выйди хоть на минутку.

— Нет, нет! Я хочу быть одна. Я лягу. Сейчас!

— Неужели у тебя лихорадка? Зачем гуляешь после заката солнца? Здесь кругом болото. Хорошо, я скажу им, что ты больна.

Она лежит у себя лицом вниз, вся распухшая от слез, обезумевшая от боли. Кто-то ходит так за дверью, кто-то шепчется. Марк? Агата? Нет, она не может их видеть! Разбитая, поверженная в прах, лежит она здесь, эта знаменитая, талантливая артистка, которой жизнь подарила все. Она завидует каждой бабе, которая спит сейчас рядом с любимым мужем и покорно, но как имеющая на них право, принимает его грубые ласки. Зачем она здесь, в этом дворце, в этих комнатах, когда душа ее далеко? Когда он там, в своем доме, также рвется к ней всеми мыслями, всеми желаниями? Свобода души? Смешно. На что она ей, когда эта душа жаждет подчинения? Жалким бредом кажется ей все, что она выдвигала как оплот против страсти. Поражение? Ну и пусть поражение! Позор? Пусть позор! Измена Марку? О Боже, как все это ничтожно, если, даже изменив себе, она не чувствует ни стыда, ни горечи!

Боль стихла наконец. Нет слез. Она лежит с закрытыми глазами, бессильная, апатичная...

Далеко перед нею до бескрайнего ослепительного горизонта бегут бледно-зеленые, пронизанные солнцем волны Адриатики. Белеет ровный песчаный пляж Лидо. Как пустынно здесь в будни! У цветника, перед

отелем, не кричат дети. На террасе, над морем, не шумит надоевшая толпа туристов. Ослик везет по единственной аллее от пристани до пляжа игрушечный экипаж с двумя детьми. И странно видеть его в этом городе, где нет лошадей. «Ослику скучно, — думает Маня. — У него нет друга в Венеции. Бедный ослик!..»

Она открывает глаза. Что такое? Почему она вспомнила о Лидо, где была два года назад на морских купаньях? Волны, волны. Зеленые волны, катящиеся из бесконечности. Брызги соленой воды, которые ветер бросает в глаза, и шипящая пена вокруг, и нестерпимый блеск солнца вдали.

Да, это было два года назад. Она купалась в море. Внезапно переменялся ветер, и поднялось волнение. Все ушли, она осталась. Ей кричали. Она отвечала радостным смехом, опьяненная растущей вокруг тревогой. Волны шли на нее, прозрачно-зеленые, словно тело медузы. Поднимали ее и опускали бережно. Вдруг она оглянулась, и ужас перехватил дыхание. Надвигалась чудовищная волна, закрывшая горизонт, как серо-зеленая движущаяся стена. «Конец», — отчетливо подумала Маня. Она кинулась к канату и судорожно уцепилась за него. Но в ту же секунду водяная гора ринулась на нее... ослепила... задушила, оторвала и, как щепку перевернув, донесла в открытое море.

Ее с трудом спасли. И долго потом она не могла оправиться от обморока и потрясения.

Маня глядит перед собой, сдвинув брови.

Та же волна, роковая и неотвратимая, внезапно поднялась нынче в душе ее, унесла и уничтожила все, что она строила годами с любовью и верой, все, над чем билась и работала она с упорством и отчаянием. Весь новый строй души ее рухнул разом под напором этой страшной волны. Имя ей — *Женственность*.

Не это ли самый могучий, самый предательский инстинкт? Это он топчет цветы, распускающиеся на заре. Это он гасит огни в алтаре. Это он беззвучно во мраке нашего подсознания, в ночной тиши, душит великие стремления и высокие порывы, родившиеся днем. Это он подстерегает нас на всех путях и перепутьях. Нападает, как хищник. И, скрутив руки, цинично смеясь над нашими мечтами, ведет нас за собой. Куда? О, ему все понятно. Он видит только свою цель, для которой мы с нашей гордостью, с нашими идеалами — только средство. Горе побежденному в этой борьбе! Не подняться душе, пожелавшей рабства.

Она лежит с закрытыми глазами, задерживая дыхание. И на губах ее блуждает улыбка. О, блаженство! Она вспоминает, как прижалась лицом к его лицу в великом порыве нежности. И как его длинные ресницы

защекотали ее щеку. «Как у Ниночки», — думает она. И опять душа запела. И опять сладкие слезы жгут глаза Мани. Кто, кроме него, дал ей такие минуты знойной нежности и бескрайней жалости? Ее дитя. Ее Нина, когда на коленях у ее постельки она глядела на спящую девочку и молила Бога направить на нее самое все удары жизни, чтобы отворотить их от этой головки. Какими бледными кажутся ей теперь минуты, пережитые с Марком, — это темное наслаждение чувственности. И еще бледнее холодная радость ее любви к Гаральду. Странное «головное» чувство. Нелидов был и остался господином. Он один будил инстинкт покорности в ее мятежной душе. Там владела она. Здесь владеют ею. Там она брала и требовала все, ничем не платя. Здесь она все отдает покорно и радостно. Там она была личностью. Здесь она женщина.

«Я устала, — думает Маня. — Устала бороться, устала стремиться. Не надо усилий. Отдать себя всю. Покорно принять обычную долю. Ах, если впереди долгая жизнь, я всю отдала бы ее, чтоб вернуть этот дивный, этот страшный миг, когда он сжал меня в объятиях и сказал мне: „Умрем вместе“. Не вернуть этого мига! Не вернуть никогда!»

Она внезапно поднимается на кушетку и смотрит в открытое окно. Через кружевную занавеску глядит на нее немая ночь.

Почему никогда? Разве они не встретятся завтра? Разве она не дала ему слово? Что помешает ей? Смерть. Одна смерть.

А потом?

Все черты ее напряженного лица как бы опускаются. Она опять ложится, полная усталости. Только пальцы тихо рвут мокрый от слез комочек платка.

Она не знает, она не хочет знать, что будет потом. Жизнь или смерть? У всякой сказки есть свой конец, и наступают будни. Но стоит ли тогда жить любившему сказку?

Легкий стук в дверь.

— Ты, Марк? Войди.

Он тихо входит, и вспархивает кружевной занавес у окна. Он идет бесшумно, весь сгорбившись, как бы в ожидании удара. Если она узнала все...

— Тебе письмо, — говорит он глухим изменившимся голосом. — Можно сесть?

— Садись, Марк, — ласково и грустно отвечает она.

«Не узнала, нет. Удар отсрочен. Надолго ли? Все равно. Я еще смею прижаться к ее рукам. Она не оттолкнет меня с отвращением и ненавистью. О, Боже! Благодарю тебя за эту отсрочку. Я слишком устал.»

Она смотрит на штемпель и заграничную марку. Письмо из Парижа. Пишет Иза. О театре, конечно, который она уже сняла. Она ждет Маню на открытие в августе. Боже, какой бред! Как все это далеко.

Не дочитав, она роняет письмо на пол. Штейнбах поднимает его и кладет на стол.

— Я получил тревожные известия, Маня. Ты можешь слушать?

— Да, говори. Я вообще рада, что ты пришел.

Она протягивает ему горячую руку, которую он целует.

— У тебя лихорадка, Манечка?

— Ах, если бы это было так просто! Ну, говори.

— На заводе бунт, Я получил телеграмму и должен ехать.

— Когда? Когда ехать?

— Сейчас. Мое присутствие необходимо. Меня любят, мне доверяют. Боюсь, что я уже опоздал. Этот идиот управляющий из шкурного страха — его окна побили камнями — обратился без моего разрешения к губернатору за помощью. Этого я не могу допустить. Я сменю его нынче же. Я уже телеграфировал, что выезжаю. Там несомненно провокация. Но все это выяснится только потом. Я, право, в отчаянии, когда подумаю, что губернатор поусердствует, не дождавшись моего приезда.

Мане вдруг вспоминается чье-то белое лицо в сумраке, две тени, вынырнувшие откуда-то внезапно сегодня, когда она стояла с Нелидовым. Все это она видела бессознательно. Вспомнила сейчас.

— Марк, постой, у меня был Измаил. Он... Я дала ему чек, он просил...

— Что ты сделала, Маня? Теперь мы пропали.

— Почему? Почему?

— Его выпустили. Но его подозревают в покушении на Нелидова.

— Боже мой!

— Милый Марк, но ведь и за нами следят давно.

— Почему ты думаешь?

— Мне это сказал Измаил. Просил предупредить тебя. Прости, Марк, я забыла. Я потеряла голову.

Штейнбах подходит к окну, далеко высовывается из него, пристально смотрит во мрак. Что-то белое там, у кустов.

— Погаси огонь, Маня, — быстро говорит он.

В наступившей разом темноте Штейнбах видит на фоне кустов, у дорожки, смутный силуэт, качнувшийся во мраке. Видит передвинувшееся белое пятно лица. Слышен легкий шорох, скрип шагов по гравию. Штейнбах запирает окно и спускает шторы.

— Теперь зажги огонь, — холодно, с полным самообладанием говорит он. — Жаль, что ты ничего не сказала мне раньше. Хуже всего, что ищут Василия Петровича. Он успел скрыться из Лодзи. Я вчера получил письмо от его товарища. Но если...

— Что ждет его тогда, Марк?

— Теперь? После его побега из тюрьмы, год назад, и убийства часового? Виселица.

Маня закрывает лицо руками.

— Манечка, у меня есть еще одна забота. Только не падай духом! Надежда Петровна арестована на границе. Нынче губернатор сообщил мне это по телефону. В имении ее сестер назначен обыск. Ты понимаешь, чем это нам грозит?

— Какое несчастье!

Штейнбах садится рядом на кушетке и обнимает Маню.

— Манечка, ты должна уехать немедленно. Можешь ты ехать?

— Когда? — со страхом спрашивает она, стараясь отстраниться и заглянуть ему в глаза.

— Если б не этот бунт, мы уехали бы завтра.

— Боже мой!

— Но завтра я не успею. Ты же можешь ехать с Ниной и фрау Кеслер. Тебя ничто здесь не удерживает?

Она молчит, спрятав голову на его груди.

— Маня, повторяю: положение очень серьезно. И я не хочу этого скрывать. Губернатор уже намекнул мне, что у тебя «экзальтированная головка». Он знает что-то. Быть может, немного, но и этого достаточно, чтоб арестовать тебя. Он не выдаст. Но я боюсь других.

— Что такое?

Штейнбах говорит шепотом, прижимая ее к себе:

— Ищут французскую артистку Берт Дейшан, которая вдвоем с госпожой Ривьер прибыла в Москву шестого июля и остановилась в гостинице «Париж».

— Марк, но кто же мог узнать меня? Я никуда не выходила. И пробыла в Москве всего один день. А Надежду Петровну никто в Москве не знает. Мы все сделали, как ты учил нас. Она вышла гулять и не вернулась в гостиницу к ночи, а прошла на Остоженку, в квартиру этой старушки, где была ее сестра. А я...

— А ты?

— Постой. Нет, я тоже сделала все, что нужно. Расплатилась за нас обеих. Выехала на Николаевский вокзал в этот же вечер, отметилась в

гостинице, что еду в Петербург, и да, конечно, бросила свой кофр почти пустой на вокзале, а сама вернулась к тебе на Пречистенку. И шла пешком до Садовой. Разве не так? В чем же я ошиблась?

— Нет, все так, — задумчиво говорит он. — Мы съехались только на Курском вокзале за четверть часа до отхода поезда. Я не вижу ошибки. Пока у *них* одни догадки. Но если у них явилась уверенность, что Берт Дейшан и ты одно лицо... Маня, ты видишь сама, что медлить нельзя. Вокруг моей головы все суживается круг. Я-то, быть может, еще сумею вывернуться. Маня, что держит тебя здесь? Ты хочешь еще раз увидеться с ним?

— Да, Марк, еще раз, в последний раз. Потом я уеду. Я сама не могу здесь дольше оставаться.

Он крепко прижимает ее к груди. «Наконец!» — говорит его измученное лицо. О, эта последняя страшная ставка! Эта последняя роковая схватка с судьбой.

— Когда ты вернешься, Марк?

— Утром или завтра днем. Я дам телеграмму.

— Тебя не убьют?

— Меня никто не тронет. Мне некого бояться.

— Марк, вернись скорей! Не оставляй меня одну теперь, теперь, когда мне так страшно, когда я потеряла дорогу.

— Ты любишь его, Маня?

— Я не разлюбила его, Марк! И в этом весь ужас. Если он позовет, я уйду за ним на край света. Но я знаю, я чувствую, что он не позовет. На это у него не хватит силы. Мне надо бежать, бежать скорее, исчезнуть из его памяти. Ведь был же он счастлив без меня все эти годы. Кто знает? Все проходит, все забывается. Я хочу, чтоб он был счастлив!

Штейнбах отодвигается.

«Только о нем она думает. Не о себе даже. Она любит его тем же великим чувством, каким я люблю ее. Тут я бессилён...»

Она прижимается лицом к его плечу.

— Марк, Марк, прости мою жестокость! Но неужели нужно лгать? Неужели ты сам всего не видишь? Ты такой мудрый, такой тонкий, всегда читающий в моей душе?

— Нет, нет, не плачь! — отвечает он, глядя ее лицо. — Я ценю твою правдивость. Говори все! Нам обоим будет легче.

— Помнишь, Марк, я клялась тебе...

Она горестно вздыхает.

— Я говорил: не надо клясть. Слова не могут изменить жизни.

— А! Ты это знал. Я — нет. Я искренно верила, что готова пожертвовать для тебя всем, что даже встреча с ним ничего не изменит. Но я не знала себя. Видишь, я не хочу лгать. Ты мудрый, ты знаешь душу женщины, скажи: что остановит ее в ее стремлении к жертве? Но ты, Марк, дорог и близок мне по-прежнему. О, это совсем другое! Люблю тебя, как друга, как брата, как верного товарища, как силу мою и веру. Ты для меня выше всех людей. Не отнимай у меня любви твоей. Прости мне заранее все, что будет. Это твое последнее испытание, Марк. Мы уедем вместе. Начнем вместе новую жизнь. Мне надо что-нибудь большое, что-нибудь лучезарное, чтоб забыть то, что я теряю сейчас.

Они долго молчат, тесно обнявшись перед грозным лицом идущей судьбы, как двое беззащитных, бесприютных детей, ночью в поле застигнутых грозой.

— Я это знал, — разбитым голосом говорит он, наконец. — Я ждал этого все эти годы, я даже предчувствовал это, да, Маня, и вашу встречу, и все, что ты скажешь, вот эти твои добрые слова. — Он в ужасе на мгновение закрывает глаза и, схватив ее голову, целует порывисто и с отчаянием все ее лицо. — О, Маня! Нам не уйти от судьбы.

— Не уйти, — как эхо повторяет она, мгновенно угадав все, что он подумал, что он боялся высказать. Но лицо ее спокойно.

Он встает и ходит, вернее, кружится по комнате.

— Боже мой! Но какая сила влекла меня вернуться сюда, где мы встретились, где ты любила меня?

Она, как обреченная, сидит, опустив голову. Эта страшная покорность так красноречива, что последние искры безумной надежды гаснут в душе Штейнбаха. Его счастье погибло. Но с тем большей силой воспрянула жажда спасти Маню. Нет! Нет! Нет! Бороться с судьбой! Стать выше ее! Победить в себе ревность, боль. Открыть опять перед нею ее будущее. Вырвать ее душу из этого плена.

Медленно, отрывисто, как бы сама с собой говорит Маня:

— Вот я целый час лежу и думаю и стараюсь понять, что случилось? Как это могло случиться? Почему именно он? Такой далекий от души моей, такой несложный. Ведь ты ближе мне, Марк. — «И Гаральд был ближе», проносится мысль. — Вы оба ценили личность во мне. А он видит только женщину. Marion он презирает. Ему нужна покорная Мари. Неужели в этой прямолинейности вся тайна его обаяния? Ваша любовь возвышенна и светла. Его любовь темна и примитивна. Но она сильна, как смерть. Я это поняла теперь, я почувствовала ее фатальность. Я не хочу ее унижить. Я плачу от умиления и счастья. Это любовь соловья к своей подруге. Но разве

даже в маленькой птичке страсть не сильнее инстинкта жизни? Какая это страшная сила, Марк!

— Страшная, — повторяет он со странной покорностью.

— И сейчас, когда мы стояли рядом, — все, что таилось во мне бессознательно, все, что дремало в моем теле, чего я не знаю или что я забыла, все это рванулось к нему с такой силой, что я ослепла на мгновение. Марк, мы были созданы друг для друга. Что разлучило нас?

Она падает лицом вниз, в страстном порыве отчаяния.

Штейнбах не двигается, закрыв глаза. О, если б она не узнала! Если б она никогда не узнала, можно было бы еще жить, еще надеяться на что-то.

Он переходит комнату и садится рядом.

— Маня, — тихо говорит он, с отчаянием чувствуя сам бесцельность своих слов, — любовь Нелидова, новая жизнь с ним — ведь это конец всему: творчеству, борьбе, общественной деятельности. Это гибель всех возможностей. Вспомни эти годы работы над собой, твои страдания, рост твоей души, долгий, тяжелый путь в гору. Вспомни все ценности, которые ты создала. Вспомни твое прекрасное отречение от Гаральда. Неужели все насмарку, когда заговорил инстинкт? Знаю, трудно восторжествовать над ним. Нелегко дается нам свобода души. Но ты уже вышла победительницей из всех испытаний. Еще на одну ступень поднимись! На последнюю. И жизнь будет завоевана. И неужели ты не чувствуешь твоей победы, величайшей победы духа в том, что ты смотришь на Нелидова сверху вниз с сознанием собственного превосходства? И почему ты думаешь, что в подчинении ему твое назначение? Разве прошлое не доказывает, что свобода тебе дороже любви? Ты все забыла, Маня. А у меня хорошая память...

«Ирония, ирония, — думает Маня, лежа лицом вниз. — Какая же это победа, когда я жажду умереть за него, быть растоптанной им? Ах, отдаться ему! Вот что я должна была сделать нынче. Отдаться ему и умереть...»

«То есть кончить тем, с чего ты начала?» — спрашивает кто-то.

«Кто? Неужели Марк? Неужели она не подумала, а вслух сказала эти страшные слова?»

Она в страхе поднимает голову. Садится на кушетке. Берет руку Штейнбаха и целует ее.

— Марк, прости меня.

Как обожженный, он выдергивает руку и обнимает Маню.

— Ты меня прости. Найди в своем сердце жалость для меня. Будь справедлива. Не будь ко мне жестокой.

— Марк, что ты говоришь?

— Что бы ты ни услышала, дай мне слово, что не проклянешь меня! Дай мне слово, что ты не ссудишь меня, не выслушав оправдания. Разве все, что я делал, не делалось только к твоему счастью, к твоему спасению?

— Марк, мне страшно, я никогда не видела тебя таким.

— Маня, близок час испытанья твоей любви ко мне. До завтра! Я уезжаю. Ты будешь меня ждать?

— Да, да, да. Вернись скорей, скорей.

— Ты не... не придешь ни к какому решению без меня?

— Нет. Без тебя? Нет.

— Поклянись мне, Маня!

— Клянусь.

Он покрывает пламенными поцелуями ее лицо. Она с ужасом чувствует отчаяние в его объятии. И этого отчаяния он не может скрыть. Кто знает? Не последняя ли это ласка ее? Не оттолкнет ли она его с ненавистью, когда он вернется? Не назовет ли врагом, отнявшим ее счастье?

Они расходятся, погруженные каждый в свой внутренний мир, полные настоящим, гадая о будущем. Они забыли, что колеса бездушной машины, глухой к живым человеческим чувствам, уже захватили их своими зубьями. А судьба, равнодушная к победителям и побежденным, таинственно и немолчно плетет между тем непостижимый для человеческого разума, сложный узор жизни.

Со свечой в руке и с биноклем Маня сходит с бельведера, откуда днем открывается далекий горизонт. Она смотрела вслед уезжавшему Марку, пока светящиеся точки экипажных фонарей не растаяли в густом мраке.

Она сходит, слабо улыбаясь, по винтовой лестнице. Марк тоже наверное смотрел назад и видел огонек ее свечи.

Как болит голова! Который это час?

В зале она останавливается. На что намекал Марк? Чего боится он? Как может быть виноватым он перед нею — безмерно виноватой перед ним?

Она долго стоит в темной зале, задумавшись. Старается что-то вспомнить, что-то выяснить. Потом медленно идет в кабинет мужа и зажигает электричество.

Вот опять перед нею прекрасное и трагическое лицо этой женщины, покончившей жизнь самоубийством.

Вся подавшись вперед, вытянув шею и полуоткрыв губы, стоит перед нею Маня. Совсем как тогда, в Москве. И смотрит в бездонные глаза еврейки. Что знают они? Что говорят? Куда зовут? Откуда этот ужас,

струйкой холода бегущий по телу? И кто, Таинственный, столкнул их здесь, в этом огромном мире, живую и мертвую? В чем смысл и значение этого влекущего взгляда? Почему нельзя оторваться от этого лица?

Что-то брезжит. Смутно брезжит впереди. Словно во мраке забелел новый манящий, неведомый суть. Не его ли бессознательно всегда предчувствовала Маня?

— Кто это? Ты, Маня? — спрашивает фрау Кеслер. — Ох, как ты бледна! Чего ты испугалась сейчас?

— Постой, Агата! Не запирай террасу! Я гулять пойду.

— Ночью?

— Только половина двенадцатого. И я так привыкла.

— Ну, так надо отвыкать! — сердито говорит фрау Кеслер, выходя за Маней на террасу. — Ты не слышала, что рассказывали Горленко? Как на Галагана напали? Я прямо дрожу от страха за Марка Александровича. Когда, наконец, мы вернемся в Париж? Я и празднику твоему не рада. Если б Федор Филиппович не остался здесь ночевать...

— Разве он здесь?

— Марк Александрович просил его остаться.

Маня садится на ступеньки и смотрит на звезды, проглядывающие сквозь ветви лип.

— Все было и будет, Агата. Возвращается старое. Но ты не волнуйся. Послезавтра мы уедем. Можешь укладываться.

— Gott sei Dank! ^[60] А твои именины как же?

— Об этом не стоит и думать. Нам не до празднеств теперь.

— Откровенно говоря, мне здесь нравилось прежде, но теперь я разучилась спать. Что за варварская страна! Грабят, стреляют, убивают. Бог знает что!

— Тсс!

Приложив палец к губам, Маня глядит во мрак. Чьи-то шаги почудились ей.

— Ты слышала? — шепотом спрашивает фрау Кеслер.

— Да... да... Но это сторож, должно быть. Остап, это вы?

Мрак молчит.

— Уйдем! Um Gottes Namen... ^[61]

— Уходи. Я не могу спать, Агата. Нет, останься! Не бросай меня здесь! Я с ума сойду, если останусь сейчас со своими мыслями. Сядь, слушай, я встретила Нелидова.

— Из-за этого ты плачешь?

— Не стоит плакать, по-твоему?

— Э, глупая женщина! Ведь он уже женат. И любит жену. А тебе чего не хватает? Богата, знаменита. Дочь есть. Муж обожает. Такой дом, такое имение...

— Я никогда уже не вернусь сюда, Агата! Слышишь, никогда! Я скажу Марку, чтоб эту землю он отдал.

— Кому?

— Тем, кто имеет на нее право. А этот дом пусть он сравняет с землей! И помни это, Агата, если я умру и не успею сказать сама Марку и не успею написать...

«Она бредит, — думает фрау Кеслер. — Она ненормальна.»

— Дай мне обещание, Агата, что ты передашь ему эти слова, мою последнюю волю. Даешь обещание?

— Да, да, да, безумная женщина!

— Я не хочу, чтоб крестьянские дети шумели в этих комнатах, где я любила. Не хочу, чтоб чужие люди смеялись и болтали там, где я страдала. Ни больниц, ни школ не будет в этом доме, где я была счастлива, где живет призрак моей юности! Парк пусть будет общим достоянием! Грустно только, что в нем останется могила Яна. Агата, знаешь? Я хотела бы, чтоб этот дом сожгли. Мне приятна эта мысль!

— Замолчи! Мне жутко тебя слушать.

— Разве не возмущает тебя гулянье на кладбищах и смех около могил? А здесь могила моего прошлого. Ах, Агата, как я устала! Вся радость моя погибла. Сила моя исчезла. Плыву по теченью. Не знаю, что ждет меня завтра. Чувствую только, что стою у порога и дверь приоткрыта. Куда? К жизни? К смерти? Ничего не знаю...

Фрау Кеслер опять страшно от этих слов и этого голоса.

— Полно, полно, деточка! Ты вернешься на сцену. Все отболит, все забудется.

— Может быть, может быть, еще вернусь на сцену. А потом? Сама не знаю, что потом... Чувствую только, что надо чем-нибудь великим наполнить душу. Иначе погибну.

Шуршат кусты. Фрау Кеслер хватается руку Мани.

— Слышишь?

— Какой ветер, когда ни одна ветка вверху не шелохнется? Уйдем, ради Бога! Запрет двери.

— Ее бойся. Наверно, собака. Марк котел их спустить.

Вдруг слабый вскрик вторгается в ночную дрему. Глухой стук, затем

торопливый бег шагов. Кусты трещат вдали.

Все смолкает.

В ужасе обе женщины глядят друг на друга.

— Принеси фонарь, — шепчет Маня разом высохшими губами.

— Я разбужу Федора Филипповича... Mein Gott... [\[62\]](#)

— Не надо. Тише! Неси фонарь.

Через минуту, которая Мане в этой тьме и одиночестве показалась вечностью, фрау Кеслер выходит на террасу, зажав в руке фонарик.

— Куда ты? Ради Бога, Маня, не ходи!

Но Маня уже внизу. Тогда фрау Кеслер впотьмах, еле различая ступени, спускается на дорожку.

Они идут беззвучно, шаг за шагом. Парк спит. Не шелохнется ни одна Еетка.

Это было где-то здесь, вблизи террасы. Маня направляет свет фонаря на дорожку, и фрау Кеслер отступает.

На дороге лежит человек вниз лицом. Странно раскинуты руки. Картуз валяется неподалеку.

Фрау Кеслер убегает с криком. Маня остается. Ей надо видеть это лицо. Она догадывается, она все почти поняла.

Легкий, знакомый условный стук. Роза встрепелась, погасила свечу. Тихонько отворяет она окно, и Зяма прыгает в комнату.

— Когда ты вернулся?

— Это все равно. Я пришел проститься.

— Зяма, ради Бога, нынче же в ночь уезжай! За тобой... за нами следят.

— Теперь уже никто следить не будет. Можешь спать спокойно.

Он встретил ее под обрывом, как обещал, когда сумерки пали на землю. И оба молча, дрожа от волнения, они прошли рука в руке недолгий путь до леса. Ни взглядом, ни лаской не обменялись они за эти минуты. Уста молчали, и не сливались души. И печален был этот путь их к счастью. Как будто не было у них выбора и своей воля Как будто двое обреченных шли в священную рощу к мрачному храму богини, чтоб жертвой умилоствить судьбу. И только когда дубы Гая бросили на них свою тень, Маня узнала место, где в первый раз Нелидов обнял ее. Сама судьба вела их сюда.

Когда они очнулись, уже спустилась ночь. И небо загорелось огнями.

Они сидят, тесно обнявшись, прислонившись к старому дубу, который

видел расцвет их любви, который видит теперь закат их счастья. Утолена жажда земной радости, и уже звучат иные голоса. Уже зовут молчавшие до этой минуты суровые веления. В душу крадется холод, предвестник разлуки. И опять брезжит вдали забытый в любовном экстазе неизбежный путь, скорбный путь по унылой равнине с душой одинокой и томимой, тоской о невозможном, со жгучим воспоминанием об утраченном навсегда.

Закрыв глаза, Маня переживает вновь мелькнувшие мгновения. Когда она шла сюда, отчего в груди ее дрожали слезы? От жажды счастья? Да. Но меньше всего здесь было чувственной страсти. Как и тогда, как и раньше. Но в этом самозабвении, в этой всепоглощающей нежности и готовности — душа ее вновь достигла высшего пафоса чувств, доступного человеку. И содрогаясь от воспоминания об этом священном миге, она с изумлением вновь замечает, как годы страданий и тоски одухотворили чувство Нелидова. Нет в нем яркой непосредственности, которая ослепляла и подчиняла ее. Нет в нем теперь и преобладания чувственности. Нет жестокости и стихийной жажды разрушения. Его ласки тоже были пронизаны тоской и нежностью. И Маня снова поверила в великий обман любви, сулящий в объятиях тел — тайну слияния душ.

Вдруг она слышит его беззвучный, однотонный, словно мертвый голос, который разом выводит ее из сладкого забытья:

— Уже ночь. Мы должны расстаться, Мари. Теперь мы никогда уже не свидимся.

Тут силы покидают ее. Она плачет.

Но он уже не утешает ее, как вчера. У него нет для нее нежных слов. Нет ласки. Он угрюм. Как будто ледяная стена поднялась вдруг между ними. И холодом веет от нее в стынущую душу Мани.

— Николенька, прости мне мою слабость, это последние слезы. Я буду мужественна. Если ты хочешь, чтоб я исчезла, я уйду, ты никогда больше не услышишь обо мне. Я завтра уеду далеко-далеко, опять вернусь на сцену и...

— ...в объятия любящего мужа? — холодно доканчивает он. — Продолжай! Что же ты остановилась?

Она вся сжимается, вся поникает, точно от удара.

— Ты жесток. Чего же ты хочешь? Говори! По первому твоему слову я брошу Марка и буду твоей любовницей. Если ты не бросишь жену, я покорюсь и этому. Говори...

Он молчит, все такой же угрюмый и далекий. Она кладет ему руки на плечи, силясь рассмотреть его черты.

— Ну, поищем вместе выхода, Николенька. Будем бороться...

— Во имя чего? — жестко спрашивает он.

— А! Ты уже не веришь в счастье.

— Его нет без тебя. Но и с тобой его не будет. Когда я встретил тебя шесть лет тому назад, ты была как воск в моих руках, покорная и преданная.

— Я та же, Николенька. Все та же...

— Нет, ты ошибаешься. Недаром прошли эти годы. Я потерял тебя безвозвратно. Я не знаю тебя. Разве ты — моя маленькая Мари, которая предпочла смерть долгой жизни без меня? У тебя есть чем утешиться. Вот сейчас ты уйдешь, вернешься в свой дом и снова начнешь свою жизнь, такую полную, такую богатую, но без меня и без моей любви. И как бред будет тебе вспоминаться эта ночь, за которую я готов заплатить жизнью. Вот видишь, как мы далеко разошлись. Ты забыла меня и нашла свое счастье в другом. Я остался тем же безумцем. И только теперь я понимаю, что потерял я в моей маленькой кроткой Мари, любившей меня больше жизни. Ничего не вернуть! Ничего.

Ужас все сильнее охватывает ее. И не столько от смысла слов его, сколько от звуков голоса, из которого ушла вся жизнь.

Она в отчаянии прижимается к его груди, как бы отворачиваясь от страшного предчувствия.

— Николенька, слушай! Я прошла долгий и трудный путь вдали от тебя, да! И я думала, что наши дороги разошлись. Я не понимала, безумная, что тебя ищу на всех путях. И видишь? Судьба опять привела меня в этот лес, к тебе. Зачем? Для жизни с тобой? Для смерти без тебя? Не знаю. Может быть, ты скажешь, Николенька? Молчишь? Слушай, я достигла славы. Я узнала радость творчества, радость борьбы и победы. Я добилась независимости и богатства. И Боже мой! До чего я бедна и жалка сейчас! Все мои сокровища оказались простыми булыжниками. Ты говоришь, что меня ждет жизнь полная и богатая. Чего стоит она без тебя, Николенька? Боже мой! Чего бы я не дала, чтоб снова стать маленькой, бедной девочкой, которую ты любил, чтоб снова вернуть эту ночь в беседке, помнишь?

— Не плачь...

— Жизнь лежала пред нами обоими. И эту жизнь мы мечтали пройти рука об руку. Да, Николенька, я высоко поднялась. Но ты позвал, и я упала. И мне уже никогда не подняться. Мое место здесь, рядом с тобой.

— Ты соскучилась бы со мной, — все так же тихо и мертво говорит он.

— Нет, нет, нет, — отвечает она, обнимая его ноги и прижимаясь к ним лицом. — Любить тебя, служить тебе, — вот мое единственное желание, вот мое назначение здесь, на земле. Вот что нужно было мне, Николенька!

Вот единственное, что было мне нужно!

Он долго молчит, потрясенный ее голосом. Сквозь холод, которым веет в его душу рядом стоящая Смерть, он еще раз почувствовал трепет земной печали, объявшей уходящую от него с каждым мигом все дальше душу любимой когда-то женщины. И рука его опускается на ее голову.

— Покоримся судьбе. Она разлучила нас. Так надо. Простимся, Мари. Мне пора.

Она поднимается, со спутавшимися волосами, с помертвевшим лицом.

— Ты уходишь?

— Пора.

— Куда ты? — хрипло спрашивает она, хватая его холодные руки. — Ты хочешь умереть?

Он опять молчит, пораженный ее чуткостью. Разве он оформил сам это темное ощущение? Вчера оно всплыло внезапно в объятиях Мани, среди молчаливых, темневших полей. А нынче в сумерках, когда он шел на свидание, снова странно и резко зазвучала эта зловещая нота. И темная печаль охватила его душу, когда он ждал ее, стоя под обрывом и потом, когда шел с Маней сюда.

С жалобным криком падает она к его ногам.

— Николенька, вернись домой! Николенька, Катя ждет тебя, дети. Жизнь впереди, целая жизнь. Ты меня забудешь. Я скроюсь, я уеду. Ты никогда обо мне не услышишь.

— Встань, Маня! — говорит он твердо и спокойно, поднимая ее. — Ты плохо знаешь меня, если думаешь, что жизнь моя пойдет по-старому. Ты будешь там, а я тут. Тебя будет ласкать твой муж. А я буду обнимать жену, мечтая о тебе, как все эти годы. Довольно лжи! Я устал.

«О Боже мой! Где правда? Где ложь? Что нужно делать? Помоги мне, Боже! Ничего не вижу. Я ослепла», — думает она, вся дрожа и цепляясь за его руку, чтобы не упасть.

— Пойдем, Мари. Я доведу тебя.

— А ты?

Он идет рядом с ней, не отвечая, уже далекий от нее, уже чужой — она с ужасом чувствует это. Не умеет объяснить, но чувствует. И словно слепнет от ужаса. И еле волоча ноги, бредет за ним, жалкая, бессильная, безвольная. «Не может быть, не может быть», — мечется и бьется одна тоскливая мысль.

Вот они уже у обрыва. Лес скрылся из глаз, Нелидов останавливается.

— Мари, я забыл тебе сказать, это жгло мне душу все годы. Все эти дни я рвался тебе сказать, и забывал рядом с тобою. Мари, я был тогда в

Венеции. Ты это знала?

— Ты? Ты был в Венеции?

— Соня писала мне, что ты ждешь ребенка. И я кинулся за тобой, чтобы вымолить прощение.

Схватив его за плечи, она припадает почти к его лицу, к его губам.

— Твой муж встретил меня на вокзале. Она ждет, расширив глаза, затаив дыханье.

— Ты этого не знала, Мари?

— Нет...

Руки ее слабеют. Она опускает голову ему на плечо.

— Мы были рядом, Николенька? — через секунду спрашивает она.

— Через канал... и целую ночь. Я видел огонь в твоём окне. Я уехал, проклиная тебя. И все эти годы думал, что ты меня обманула, что Нина — не моя дочь. Ты мне простишь теперь?

Отклонив ее голову, он целует ее холодные губы. Она стоит без слов, без мыслей, как бы уничтоженная. Слишком необъятно несчастье, сразившее ее.

Он идет назад, к своей усадьбе. Потом останавливается, охваченный ужасом.

«Куда же я иду? Домой? Как я вернусь? Как я взгляну в глаза Кате? Как я солгу теперь? Она прочтет все в моем лице. Я убью ее этой правдой. Лгать? Всю жизнь лгать? Целовать не любя?»

Он машинально возвращается и видит Маню у обрыва, на том же месте.

Она кидается ему навстречу, только сейчас очнувшись, только сейчас поняв, не умом, а сердцем, что он уходил от нее по той дороге, откуда нет возврата.

Он в отчаянии закрывает лицо руками. Он дрожит всем телом. И Маня опять очами своей души ясно видит, что это его последний порыв к жизни. И снова страх за него будит ее собственные силы, ее жажду бороться с судьбой и одолеть.

— Николенька! Уедем куда-нибудь. Мы будем счастливы. Будущее перед нами. Если ты не можешь вернуться к Кате, я обещаю тебе новую, прекрасную, светлую жизнь.

Он тихо, горько смеется.

— Новая жизнь... Это с тобой? Разве я смогу забыть, что ты любила другого? Целуя тебя, я буду думать только об этом, ненавидеть тебя буду... А ты уверена, что не пожалеешь обо всем, что бросила ради меня?

— Боже мой! Нет! Нет! Нет!

— Ты это говоришь теперь, а потом... Я устал. Довольно. Прощай!

— Иди домой, Николенька. Тебе холодно, ты дрожишь, моя деточка...

— Да... я пойду домой. Прощай.

Она цепляется за его руку. Он опять угас. И это страшнее всего.

У нее срывается рыдание.

— Николенька, неужели ты уже не любишь меня?

«Я никого и ничего уже не люблю», — говорит ей его угрюмый взгляд.

Но деликатность, пережившая страсть и нежность в этой умирающей душе, заставляет его еще раз вместо ответа обнять и поцеловать эту женщину, уже ненужную, чужую, далекую, уходящую от него с каждым мигмом все дальше.

Она обманулась на этот раз. Жажда жизни и счастья, ужас перед смертью, которой веет на нее от всех его жестов и слов, заставляют ее слепо, страстно поверить в обман. Сердце говорит ей, что она безразлична ему в это мгновение. Но эта мысль слишком страшна. Инстинкт говорит ей, что слова ее не дойдут до его сознания. Но разум отвергает и это.

— Николенька, завтра, умоляю, завтра в последний раз приходи в лес, если ты хоть капельку жалеешь меня... Николенька, помнишь? Ты сказал мне: «Умрем вместе». Ах, ты еще любил меня тогда. Слушай, подожди одну ночь! Только эту ночь подожди. И если ты уже решил — возьми меня с собой. Не бросай меня одну в этом мире. Умрем вместе, Николенька, если вместе мы не можем жить?

С безграничным отчаянием прижимается она к нему.

— Даешь ты мне клятву, Николенька, что мы увидимся еще раз?

— Да.

Она одна на дороге, в этом мраке, беззвучно обнявшем ее. Она не помнит, как он ушел. Кажется, она позвала, и он воротился. И они обнялись опять в последний раз. Неужели в последний? Кто это сказал? Он? Она? Кто решил за них?

Вдруг отчаянный крик срывается у нее. Крик бессознательный, стихийный. И дрогнула ночь от этого крика. Где-то на селе тревожно залаяли собаки. Где-то загоготали проснувшиеся гуси. Слышал ли он этот крик? Этот призыв? Эту жалобу? Между ними поля, молчанье, ночь, эта жуткая, эта страшная ночь. И он там где-то идет по дороге. Один... со своими думами, со своей тоской. Никогда уже не пройдут они рядом по этой дороге. Никогда! Догнать его! Вернуть. Обнять еще раз. Еще на одно мгновение прижаться к его груди, Но куда же он ушел? В глубоком мраке потерялись все пути.

Вдруг вдалеке сверкнул синий глаз фонарика. Знакомые шага звучат по

мосту.

— Ма-ня-а... Я здесь... Иду-у-у... «Марк... Все кончено...»

— Боже мой, до чего я измучился! — говорит рядом чей-то голос. — Я телеграфировал, что вернусь, просил ответить. Почему ты молчала? Манечка, наконец ты со мной! Я так долго искал тебя. И дядя тоже ищет. Такая тьма. Такой ужас. Ты знаешь, что у нас в парке нашли убитого? Сейчас только ушла полиция. Уедем скорей! Уедем завтра.

Она дает целовать свое лицо и руки. Она как в бреду. Ускользает действительность. Она не слышит слов. Закрыв глаза, она идет, полумертвая, в крепких объятиях Марка. А перед нею во мраке змеится еле видная, бесконечная дорога, среди далеких, молчаливых полей, под черным, равнодушным небом. И по ней идет Николенька, с угасшими желаниями, с холодной душой, подавленный в своей заброшенности, один в этой глухой ночи, один во всем огромном мире.

— Марк, уйди, — говорит она у двери террасы. — Прощай! Я устала. Наконец одна! Наконец.

Не раздеваясь, она падает на кушетку. Закрывает глаза.

И опять со странной настойчивостью встает перед нею та же картина: под черным, равнодушным небом, среди печальных полей, с безысходной тоской в груди идет одинокий человек. И это тот, кому улыбалась жизнь еще недавно. Это тот, кого судьба предназначила ей.

«Зачем я здесь? — громко спрашивает она себя. — Почему я не с ним в эту ночь? Разве все сказано? Разве все решено? Как могла я покинуть его одного в этом мраке, на пустынной дороге, где стережет нас смерть?»

Она поднимается в ужасе и садится на кушетку. Окно ее закрыто, но штора не спущена, и глухая, душная ночь притаилась там, чем-то грозя. Боже мой! Кто это сказал ей на днях: «Не ходи, Маня. Смерть стережет все живущее на земле»?

Ее виски влажны. Нет, нет. Он обещал свиданье завтра. Он не обманет. Надо заснуть скорее. Надо быть бодрой, сильной, цепкой. Отстоять его счастье. Убереечь его душу от отчаяния, эту бедную душу, не созданную для свободы и дерзаний.

Опять сладкая печаль умиления благодатной росой смягчает ее замученное сердце. Вздохнув, ложится она на кушетку и незаметно засыпает.

И снится ей, что она идет по туннелю, бесконечному, как Сен-Готтардский. Как там, тоска сжимает сердце от сознания своего ничтожества перед нависшей громадой горы. Как там, холодный пот

выступает на висках от чувства бессилия и безысходности. Нет неба, нет солнца, нет воздуха. Где они? Далеко-далеко. Как вздохнуть полной грудью? Надо бежать, бежать, не останавливаясь, бежать, не зная отдыха, чтобы не задохнуться в этой темноте. Где-то там, впереди, есть выход. Есть конец этому душному мраку. О, скорей! Скорей!

Она бежит с глухо стучащим сердцем, с напряженно бьющимися артериями. И кажется ей, что вот-вот сейчас бездна развернется у ног ее. Когда же конец? Когда же свет? Кто, Суровый и Непонятный, вложил в ее душу страстное стремление к небу и воле — и бросил, одинокую, в это подземелье без выхода?

Она бежит, и какой-то стук преследует ее. Кто это стучит? Ах, это сердце ее. Ее замученное сердце. Ох, как больно! Как громко стучит оно!

И вдруг дрогнул мрак. Звук жизни долетел до нее. Чей-то голос позвал ее. Чье-то лицо бледным пятном мелькнуло вдали. Сердце застучало опять с такой силой. С криком освобождения она ринулась вперед. «Ты, Николенька?»

Она проснулась и села. Этот крик замер в груди ее, не сорвавшись. И сердце ее колотится по-прежнему. Но еще другой, чуждый и зловещий звук замер сейчас рядом. Вот... вот опять. Полными ужаса глазами глядит она в окно. К стеклу прильнуло белое лицо. Тихий стук в раму. Чье это лицо? Кто зовет ее?

Она подбегает к окну. Марк? Нет, не он. Дядя?

— Сейчас... Сейчас.

Она распахивает окно.

— Ты зовешь меня? Это ты стучал?

— Пойдем, пойдем, — шепчет старик.

И Маня видит, что голова его трясется.

«Куда?» — хочет она спросить. Но темнеет в глазах. Слабеют ноги. Забытое предчувствие, которое, как змея, ползло во мраке, пряча свою голову, вдруг встает во весь рост.

— Пойдем, пойдем, — лепечет старик. — Я нашел его, нашел. Он лежит там. Пойдем...

Как лунатик, безмолвная и беззвучная, с остановившимся взглядом, Маня вылезает из окна, прыгает на дорожку. Они взялись за руки и идут, дрожа оба, идут, прижавшись друг к другу, под темными липами к сереющему вдали просвету.

Они выходят из парка. Двор пустынен. Все спит. Все окна темны. Где-то далеко, за оградой парка, слышна колотушка сторожа. Где-то далеко внизу тревожно перекликаются гуси. Высоко вверху удивленно мигают

звезды.

Они спустились с обрыва по знакомой тропинке, погрузились в туман около гребли. Тускло сверкнула темная вода пруда. Закачался за ними туман и скрыл от глаз мирно спящее село, белеющие хаты. Они одни среди полей. И тихо дышит им в лицо проснувшийся степной предрассветный ветер.

Куда ведет он ее? А-а, она знает. Она это знала давно. Вон к тому лесу, что чернеет вдаль; туда, где старые дубы видели когда-то рассвет их счастья, где они видели недавно закат их любви. Разве не знала она вчера еще и раньше — много раньше, — что в такую вот темную, глухую ночь она пойдет сюда, навстречу Судьбе?

Они на опушке леса. Фонарик дяди сверкнул, и странный свет побегал по земле, туда, под тень угрюмых деревьев, где недавно так страстно сливались их уста и души, подчиняясь Кем-то Высшим данному им закону.

— Смотри, — шепчет старик, поднимая фонарь. — Здесь...

Он лежит на земле, под тем самым дубом, где обнялись они шесть лет назад, где сидели они еще недавно. Она это знала. Она это знала давно.

Безмолвно подходит она и опускается на колени.

Нелидов лежит в спокойной позе спящего. Одна рука откинулась. Фуражка упала в траву, и открылся белый лоб с резкой полоской загара. Свет падает на лицо Нелидова, и Маня видит полуоткрытые безжизненные глаза, длинные ресницы, бледные, спокойно сложившиеся губы. Покоем и миром веет на нее от этого лица, еще недавно искаженного страданием и отчаянием.

Она целует его тяжелую руку. И только тут пронзает ее сознание ужаса всего случившегося. Нездешний, жуткий холод этой руки доходит до ее сердца. У нее срывается жалобный стон.

— Сарра, Сарра, не плачь... «Кто это говорит?»

— Ах, это ты, дядя?

— Пойдем домой, пойдем скорее. Здесь страшно...

Домой? Но где же ее дом? Где кров, который скрыл бы ее от надвигающейся Смерти? И разве не здесь ее место, рядом с тем, кто был предназначен ей судьбой?

— Не плачь, дядя. Не бойся за меня. Мне уже ничто не страшно теперь. Видишь? Я не плачу. Мне не больно. Теперь хорошо. Теперь все понятно. Иди туда... Видишь эту дорогу? Все прямо-прямо полем, к усадьбе. Он жил там прежде. Он жил там с другою к называл ее женой. Но понимаешь? Это ошибка, дядя. Я — жена его. И Нина наша дочь. Ступай

скорее и разбуди ее. Ему нельзя лежать здесь, на земле. Иди. А я побуду с ним. Не бойся. Ты вернешься за мной. Скоро будет светать. Иди же, иди...

Лучи фонаря, длинные и тревожные, побежали вперед, вонзаясь во мрак. Затихли шаги вдали.

Они одни... О, наконец! Наконец!

Она ложится рядом с ним, поднимает тяжелую голову, кладет ее к себе на грудь, обнимает неподвижное, окоченевшее тело и прижимается губами к холодному лбу.

Сколько раз за эти годы она, как грешник о недоступном рае, мечтала провести в нем вдвоем целую ночь; лежать вот так рядом, тесно обнявшись; слышать биение его сердца, чувствовать его дыхание, трепет его ресниц на своей щеке, целовать молча со слезами нежности это милое лицо. Сколько раз, как о недостижимом счастье, мечтала она проснуться в его объятиях и с улыбкой благодарности встретить рассвет! Так мало, так мало нужно было ей, чтоб благословить судьбу и умереть примиренной, удовлетворив вечный голод души! И жизнь, так щедро одарив ее всеми ненужными ей благами, отказала в этой одной, в этой единственной радости.

«Ну вот теперь мы вдвоем, одни, — бегут бессвязные мысли. — Теперь заснуть вместе и не просыпаться больше. Ни страданий, ни сожалений, ни раскаяния. Вот она, моя брачная ночь, о которой я грезила всегда, устав от целого дня борьбы и труда. За что боролась я? К чему стремилась? Что из завоеванного нужно мне сейчас? Покой. Покой и молчание...»

Она тихонько целует мертвое лицо. Но губы ее стынут. И холод смерти опять проникает до самого сердца. И ей вспоминается жар его тела, милый запах его дыхания, такой сладкий, такой памятный, такой особенный. Боже мой! Где этот жар? Где его страсть? Где его душа? Бедная душа, боявшаяся свободы? Здесь — среди мирной природы — в кругу несложных, но твердо начертанных обязанностей могла еще долго гореть эта хрупкая жизнь, как робкий огонек в ночной степи. Но она прошла мимо и сама затоптала последнюю искру, последнюю возможность счастья. Вихрем ворвалась в эту слабую душу разрушающая страсть. «Ну что ж? Так было суждено», — думает Маня.

Рассвет идет из неведомой дали. Все ближе, ближе. Уходит ночь. Ее единственная ночь. Серееет небо в просветах между деревьями.

Сонно говорят наверху птицы. Где-то далеко мычит просыпающийся скот. Сейчас кончится страшная, последняя сказка ее жизни. И серое лицо дня глянет на них, раздвинув густые ветки. Придут чужие люди. Их голоса

и шаги нарушат торжественное молчание смерти. О ночь, помедли! Еще немного...

Но нет. Стук колес долетает до лоцины. Чьи-то голоса... Чьи-то истерические крики... Неужели сюда? Неужели конец?

В последний раз приникает она к бледным тесно сомкнутым устам, в последний раз целует белый лоб, золотые кудри, маленькие руки с посиневшими ногтями. Потом встает. Нога ее наступает на что-то твердое. А! Его револьвер... Она поднимает его и зажимает в руке. Так... Так... Теперь все ясно. Теперь все хорошо.

Она быстро выходит из леса, и на опушке оглядывается в последний раз. Смутно чернеет в траве неподвижный силуэт. «До свиданья, Николенька... Иду за тобой...»

Когда она поднимается по крутой тропинке вверх, то видит внизу смутные фигуры людей, слышит тревожные голоса и женские крики.

Теперь скорее, скорей! Туда, где ждет ее покой и молчание.

В своей комнате она тихонько запирает окно и спускает шторы.

Рассвет. Уже выступили из мрака очертания кустов и деревьев, а там, дальше, — арки для иллюминации, к которой все готовились еще сегодня, еще вчера. Уже не слышно колотушки сторожа. Ни один звук не нарушает молчания спящей усадьбы. Никому не приснилась драма Лихого Гая. Никто не предчувствует того, что свершится сейчас в стенах этого мирно дремлющего дома.

Маня крадется в гостиную, оттуда в зал, в кабинет мужа. Все стены, все предметы тревожно следят за нею. Это ничего, ничего. Лишь бы не проснулся Марк.

Она зажигает электричество и подходит к портрету.

Опять глядят они в зрачки друг другу. Живая и мертвая. Но нет сейчас ни страха, ни вражды, ни тайны. «Все понятно, — думает Маня. — Знаю, чем ты грозила мне. Знаю, куда звала меня. Мы сестры по духу. Мы обе обреченные. Как и ты, побежденная, я ухожу из этой жизни, которой не сумела овладеть. Пусть борются за нее другие? Пусть побеждают сильные — с душой, горящей верой, с душой, озаренной идеей. Я свершила здесь мой предел. И проснусь для новой жизни, где не будет страдания любви и ее рабства, где я научусь любить свободу.

Но еще один путь впереди. Последний. Я предчувствовала его всегда, давно. Это радостный путь освобождения. Беспредельной лентой, далеко от других истоптанных толпой дорог, мерцал он предо мной в часы усталости, в часы страданий, в часы созерцания и молитвы. И он звал меня,

обещая мир замученному сердцу. Благослови меня на этот путь, ты — прошедшая его когда-то!»

Она наклоняется и целует скорбные уста портрета.

Скрипнула дверь за Маней, и тотчас за стеной раздался кашель Марка. Маня замерла. Неужели он слышал?

Несколько мгновений стоит она неподвижно, прислонясь к стене, боясь дышать. Слава Богу, спит...

Она крадется наверх.

Когда она входит в комнату Ниночки, бонна испуганно садится на постели, все еще не очнувшись от сна.

— Спице, спице! — ласково говорит ей Маня.

Швейцарка поворачивается на другой бок и засыпает.

Маня опускается на колени перед кроваткой. Сквозь шелковую синюю сетку сна явственно видит маленькое точедоз личико с длинными ресницами и надменными губками. Долго смотрит на нее Маня с сердцем, полным умиления и тоски.

«Что ждет тебя, будущая женщина? Неужели те же страдания? Неужели те же заблуждения? То же рабство любви? Неужели никогда не сумеет женщина быть счастливой иначе? Неужели никогда не найдет в своей душе радость стремления к тому, что не обманывает, не изменяется, не умирает? Моя маленькая Ниночка, — думает она, касаясь губами золотистых волос спящего ребенка, — найдешь ли ты путь к свободе, которого я не нашла? Добудешь ли ты заветные ключи счастья, которыми я не сумела завладеть? О, если б ты не повторила моих ошибок! Если б жизнь твоя не прошла под темным знаком страсти! Если б ты выросла гордой и сильной, непохожей на меня! Что могу тебе дать я, побежденная любовью? Прощай, моя Ниночка! — шепчет Маня, целуя свесившуюся ручку девочки. — Дай Бог, чтоб ты никогда не плакала, вспоминая обо мне! Тебе скажут, что я была безумна, тебе скажут, что я не имела права умереть. Меня осудят. Не защищай меня, моя девочка! Осуди и ты меня в своем сердечке! Назови безумием мой отказ от жизни. Потому что она прекрасна. Потому что сама по себе она — благо и ценность для тех, кто не хочет и не боится пасть; для тех, кто поставил перед собой высокие цели. И только усталые, только обреченные, как я, — уходят из нее добровольно...»

Маня тихонько целует влажный лобик, крестит девочку и на цыпочках идет к двери.

На этот раз она затворяется без звука.

Совсем светло, когда Маня идет через залу. В парке щебечут птицы. День встает, яркий, радостный, как вчера, с обильной росой, с

ослепительным полуднем, с янтарно-розовым закатом. Она уже не увидит его с заветного кургана. Она не увидит ничего.

В ее комнате темно от спущенных штор. Скорей теперь! Скорей, пока зловещая весть не дошла до усадьбы.

Она зажигает огонь и садится за стол.

Последнее письмо Мани к Штейнбаху

Марк, я ухожу. Но в этот последний путь я не зову тебя с собою. Прости мне этот обман, мой дорогой, мой единственный друг! Мне легче умереть с мыслью, что Нина не останется одна в этом огромном страшном мире. Так хорошо думать, что ты прижмешь к груди мою девочку и защитишь ее от жизни, убившей меня. Я чувствую, Марк, что эта привязанность спасет тебя от отчаяния. Научи Нину, как уцелеть в борьбе с любовью, чем наполнить душу до краев, чтоб не манили ее миражи пустыни, в которой гибнем мы — побежденные.

И еще. Марк, я с отрадой думаю в эти последние минуты, что вы с Изой закончите дело моей жизни, начатое мною с такой любовью и верой. Исполни все, о чем мечтали мы и спорили с тобой в Тироле. Пусть это утопии! Пусть это безумие! Будь безумным! Не бойся насмешек толпы! Создай на земле чудную сказку, какую я не успела осуществить! И тысячи людей благословят твое имя.

О друг мой, мой верный товарищ, прости мне эту последнюю измену тебе и себе! Я плачу сейчас, вспоминая, сколько лет, с каким самоотвержением вел ты меня на высокую башню, по пути, завещанному Яном. С тобой рядом я падала на этих ступенях; с тобой рядом я боролась с усталостью и отвращением; с тобою рядом побеждала и шла вверх, все выше и выше, к заветному пределу. Но он прошел внизу, далеко — тот, кого я не сумела разлюбить. Он позвал меня. Я упала и разбилась. Мне уже не встать.

Я ни в чем не упрекаю тебя, дорогой Марк. Все, что ты сделал, знаю, ты делал, желая мне счастья. Не о себе думал ты, разлучая нас. И тебе одному обязана я всеми высокими радостями творчества и достижений. Но женщина во мне сильнее артистки. Я бессильна перед любовью. Недаром я так

боялась ее! Он умер. И я иду за ним. Я не могу остаться.

Теперь я вижу ясно: Смерть и ты боролись все эти годы за мою душу. И ты победил один раз. Но, притаившись где-то недалеко, она бесстрастно следила за моими отчаянными усилиями, за моей трагической борьбой. Она ждала, когда пробьет ее час. Он пришел.

О, Марк, не осуди меня ты, покинутый мною! Вспомни: вся моя жизнь была как бы одним страстным криком; одним стремлением к освобождению; одним порывом к тому, что выше земли и вещей. Вспомни: эта жизнь была всегда грезой о невозможном... И все-таки всегда, несмотря на неутолимую жажду радости, несмотря на это стремление идти все вперед, все дальше по новым, незнакомым дорогам, в моей душе то смутно, то ясно, то затихая, то разгораясь, звучала — как одна неумолкающая нота — настойчивая потребность отдохнуть, подойти к пределу, смолкнуть, закрыть глаза, исчезнуть. Знаю теперь: это был голос Вечности. Это был призыв к иной жизни, ждущей меня, и где я проснусь с душой радостной и обновленной, с душой, не знающей цепей любви.

Марк, когда ты будешь читать это письмо, не плачь обо мне, не жалея меня. Я уйду из жизни, благословляя ее. Пусть она победила меня! В душе нет горечи. Я уйду утомленная, но благодарная за все, что получила. И не думай, что я боюсь. Смерть — освободительница для тех, кто, как я, лежит на земле с истекающим кровью сердцем, после роковой последней схватки с хищником — любовью. Смерть распахнула передо мной ворота тюрьмы, и в лицо уже веет дыхание беспредельности, и глаза мои предчувствуют неугасающий свет. Но всем, кто увидит завтра земное солнце, высокое небо и алмазы росы, — мне хочется крикнуть: Любите жизнь! Цените! Благословите ее за добро и зло, за счастье и страдание, за день и ночь, и за покой, который ждет нас, утомленных, который не обманет нас никогда. Все полно здесь тайны, Марк. И все-таки нет ничего бесцельного, нет ничего бессмысленного. Нет остановки и нет исчезновения. И я тоже не умру, дорогой друг! Я не исчезну из мира. Я это знала всегда. Умрет твоя Маня, уставшая страдать. Воскреснет моя свободная, моя бессмертная душа.

Прощай! Уже приоткрылась дверь, и я стою на пороге. Оглядываюсь назад и вижу тебя одного рядом с собою на всех

запутанных тропинках. Беру со стола портрет твой и целую твои брови, глаза, губы. Ты, давший мне так много земного счастья, ты, любивший меня так беззаветно, благороднейший из людей — сохрани память обо мне в твоём верном сердце! Знаю, что оно уже не забьётся для другой любви. Знаю, что недолго тебе брести одному в сумерках. И близка ночь, которая и тебе, измученному любовью, даст, наконец, покой.

Ещё одна последняя просьба: похорони меня рядом с Яном — рядом с заветной скамьей, на которой мы сидели с тобою в то светлое утро, когда сердце мое забилося для тебя. И пока ты жив, запри дом и парче, запри их на ключ. Пусть гложут дорожки, по которым мы с тобою шли навстречу радости. Пусть ничей смех не звучит в стеках, где я плакала в твоих объятиях, где ты любил меня. Пусть праздные речи чужих людей не нарушат моего последнего сна рядом с Яном и не спугнут светлой тени нашего погибшего счастья.

ЭПИЛОГ

— Телеграмма, Марк Александрович, — говорит лакей, входя в кабинет Штейнбаха в Москве.

Штейнбах у горящего камина жжет письма и бумаги. Бесшумно двигается камердинер Андрей, укладывая необходимые вещи в ручной саквояж.

Телеграмма из Берлина, от фрау Кеслер:

«ДОЕХАЛИ ХОРОШО. НИНА ЗДОРОВА БЕРЕГИТЕ СЕБЯ».

— Андрей, я поручаю вам дядю. Как только ему станет лучше, вы отвезете его в Париж. Он спал в эту ночь?

— Мало, Марк Александрович. Все бредит, все плачет.

— Дайте бром. Чтобы доктор без меня был каждый день. Если со мной случится что-нибудь непредвиденное, пожалуйста, не теряйтесь! Вот заграничный паспорт. Вот дядин. Все в этом бумажнике. Здесь и деньги и аккредитив на ваше имя. Спрячьте сейчас. Я на вас надеюсь.

— Будьте спокойны, Марк Александрович!

Вдруг оба смолкают. Внизу трещит звонок. Они тревожно глядят в глаза друг другу.

— Можно, Марк Александрович? — раздается за дверью металлический, красивый, жизнерадостный голос.

Семен Николаевич входит и останавливается. Он не может скрыть своего изумления.

От прежнего Штейнбаха ничего не осталось. Где его красота, где его гордая осанка? Лицо его неподвижно и мертвенно. Оно кажется маской, из отверстий которой темнеют его глаза без дна и блеска, еще более таинственные теперь, как будто они заглянули за грани земные и увидели невидимое для других. Печать неизлечимой болезни лежит на этом угасшем, осунувшемся лице. Это она согнула его плечи и посеребрила волосы. «Ты пережил ее, но ненадолго, — думает Семен Николаевич. — Я это знал...

За завтраком они оба почти ничего не едят, но много пьют. Семен Николаевич оживленно рассказывает о газете, о том, как трудно вести дело. Но это вздор! Они не сложат оружия. Были бы деньги, были бы силы. Да

вера в себя...

— Кстати, о деньгах. Я вчера уже был в банке, Семен Николаевич, и сделал вклад на ваше имя. Эта сумма надолго обеспечит ваше дело.

— Вы нескоро вернетесь теперь?

— Никогда.

— А как же имение, завод? — спрашивает он после долгого молчания.

— Я все оставил в верных руках. Завещание мое готово и хранится у нотариуса. Вы останетесь довольны моими распоряжениями, — бледно улыбается Штейнбах. — Мой завод переходит в руки рабочих. Землю я отдаю крестьянам. Одну усадьбу я завещаю дочери. Я спешу теперь, чтобы исполнить последнюю волю жены и открыть в Париже народный театр ее имени.

— Я хотел бы и для вас сейчас какого-нибудь большого, идейного начинания. Простите, но мне так страшно за вас.

— Вы боялись, что я покончу с собой? Видите» Семен Николаевич, это гораздо легче, чем жить страдая, чем пережить то, что пережил я. Но этого я не смею. У меня осталась дочь. И мне хочется, чтобы имя Мани не умерло для людей, которых она так искренне любила, о которых она думала на вершине своей славы, в расцвете благополучия и в последние минуты своей жизни. В этой жизни она не ценила того, что ценит толпа. У нее не было чувства собственности, чувства оседлости, привычек. Во всем мгновенном, во всем преходящем она чувствовала дыхание Вечности. Она улавливала таинственные намеки среди повседневного. Там, где мы равнодушно проходили мимо, она видела откровение. Она жила для стремления и красоты. Она слышала голоса там, где для нас все было мертво и немо. И самое безумие ее исканий священно теперь для меня.

«Вот она — Любовь! — думает Семен Николаевич, идя по улице, еще весь взволнованный этим свиданием. — Великая и страшная сила, губительная и творческая в то же время, разрушающая душу и созидаящая миры...»

Еще раз дрогнул звонок. Штейнбах замер у камина.

— Можно? — кричит Соня за дверью и тотчас же вбегает в кабинет.

Не здороваясь, растерянно смотрит она одно мгновение в мертвое лицо Штейнбаха. И вдруг, закрыв лицо руками, плачет.

— Что случилось? Что такое? Штейнбах разворачивает смятую телеграмму.

«ЛИКА АРЕСТОВАНА. СТРЕЛЯЛА В ГУБЕРНАТОРА
ОПАСНО РАНЕН. РОЗА ТОЖЕ ВЗЯТА...»

Штейнбах долго молчит, глядя на плачущую Соню.

— Зачем она это сделала?

— Это безумие, не правда ли? — подхватывает Соня, садясь на кушетку и судорожно тиская платок. — Разве это чему-нибудь поможет? Разве это что-нибудь изменит?

Соня опять беспомощно плачет.

— Что ждет ее теперь? Гибель... гибель... Боже мой! И за что? Какое безумие — этот террор! Какое безнадежное безумие! У нее была такая богатая, такая разумная, такая прекрасная жизнь, полная высоких радостей, полная деятельной любви. И подумайте, если она опомнится и пожалеет потом?

— Она не пожалеет. Лика никогда не была истеричкой. Она знала, на что идет.

Телефон резко звонит на столе. Штейнбах подходит и слушает напряженно.

— Да-да, благодарю вас, понял.

Он кладет трубку и подходит к Соне.

— Теперь уходите, дорогой друг. Благодарю вас за все! — Он целует ей руки. — Но вам нельзя ни минуты дольше оставаться здесь.

— Что такое? Что такое?

— Измаил арестован с чеком Мани. Я должен бежать. Наверно, сейчас обыск в Липовке, ночью обыск будет здесь.

— Боже мой! Дайте мне с собой то, что у вас есть! Дайте!

— Я очень тронут, дорогая Соня. Но я в сущности почти все уничтожил. Да и не в этом кроется для меня опасность. Уходите скорее! Телефонуйте мне, только не от себя, а из какой-нибудь аптеки. Видите, темнеет. Я не ручаюсь, что и сейчас за вами не проследят.

Соня колеблется одно мгновение. Потом падает ему на грудь и плачет. Он — с тем же мертвенным, неподвижным лицом, придающим ему такое зловещее сходство с его дядей, — гладит волосы этой девушки, любившей его молчаливо и бескорыстно все эти годы, в нем одним видевшей краски своей суровой жизни, самоотверженной жизни, лишенной личного счастья.

Откинувшись назад и держа его за плечи, Соня глядит на него плачущими, полными беззаветной любви глазами.

— Марк, не забывайте меня! Пишите... Как опустеет без вас моя жизнь!

— Не клеветайте на себя, дорогая Соня! И без меня будет полна и светла ваша жизнь, и без того, что принято называть «счастьем». У вас впереди высокие цели, любимое дело, работа по призванию, к которой вы

готовились столько лет. До свиданья! — Он берет в обе руки лицо Сони и целует ее в лоб: — Работайте. Пишите мне. И приезжайте отдохнуть в Париж. Мы будем вспоминать о прошлом. Мы будем говорить о Мане...

Уже стемнело. Весь переулок погрузился в сон. Погасли огни в окнах домов, и месяц высоко стоит на небе. А в кабинете Штейнбаха, наверху, все еще горит огонь. Все еще движется тень.

Зорко следят за нею другие тени, незаметно окружившие дом. Ворота заперты. Ночной сторож и дворник словно замерли у чугунной решетки.

Вдруг отворяется дверь, и на крыльцо выходит высокая согбенная фигура с седой бородой. Седые кудри падают на виски из-под круглой шапочки. Безжизненно глядят перед собою таинственные, темные глаза. Палка стучит по плитам двора.

— Кто это? — шепчет одна тень, вытягивая шею.

— Сумасшедший барин, — шепотом отвечает дворник.

— Зачем идет?

— Каждый вечер таким манером, ваше благородие, гуляют, значит...

— И ничего?

— И ничего-с. Мы привыкли. Через час вернутся, может, и раньше.

Они тихие-с.

— Пропусти...

Медленно переходит старик широкий двор, озаренный луною. Минует калитку. Его безжизненный взгляд скользит по напряженным лицам людей, притаившихся в тени решетки, и по фигурам, которые замерли от неожиданности там, на тротуаре, напротив. Согнувшись и опустив голову, он идет вниз, к Остоженке, такой высокий, безучастный, жуткий и загадочный в этом мертвенном лунном свете. Тоской и одиночеством веет от всего его облика. И в самом ритме этих шагов, и в сухом стуке палки по панели как бы звучит: «Старость... Старость... Старость... Старость...»

Время идет. Сколько? По-прежнему горит огонь наверху. По-прежнему неподвижны тени у решетки. И испуганно сторонится от них случайный прохожий.

Бьет полночь. «Пора!» — говорит сиплый голос. И тени вдвигаются в озаренный луною двор. Спящий дом охвачен живым кольцом. Сильный, протяжный властный звонок. Минуты три молчаливого ожидания. Дверь отворяется.

Идут наверх, в кабинет. Все пусто. На столе недопитый стакан. В углу открытый саквояж. Какие-то разорванные газеты на ковре. Тлеет огонь в камине. Все лампы горят. И нет никого. Всюду зажигая электричество, они

обходят весь верх, заглядывают во все углы и шкафы. Никого. Весь дом словно умер. Повар, горничная и лакей, отворивший дверь, всклокоченные, полуодетые, перепуганные, не могут дать ни одного толкового ответа.

Идут вниз, наконец-то! Запертая дверь.

Громкий и властный, раздается стук. Слышен звук босых ног по полу. Андрей, заспанный, полуодетый, машет руками:

— Тише... Тише... Испугаете больного. Только что заснул.

Лампа под синим абажуром дает слабый полусвет.

— Кто это спит?

— Больной дядя барина. Что вам угодно?

— Как дядя? Да ведь он, ведь он сейчас только... Зажигайте огонь! — кричит сиплый голос.

Яркий свет внезапно озаряет комнату. И с криком с постели подымается испуганный старик. Длинная седая борода падает на грудь. Седые кудри прилипли к влажным вискам. Таинственные глаза жутко остановились на незнакомых лицах. Руки старика дрожат. Что-то вспомнилось. Что-то страшное.

— Сарра-а, — раздирающе кричит он и прячет лицо в подушку.

Все переглядываются с испугом и недоумением.

***.

***.

Штейнбах исчез.

notes

Примечания

1

Название элементов танца (*франц.*).

2

В добрый час! (франц.)

«История танца» (франц.).

4

Косыкку (франц.).

«Фигаро», «Утро» — парижские газеты.

6

Мотылек (франц.).

Вестрис Гаэтоно Алполино Бальтазаре (1729–1808) — итальянский артист балета, балетмейстер.

Мой дорогой! (*франц.*).

Ах, моя крошка! (франц.).

Софи, дорогая моя... (франц.).

Французские литературные журналы начала века.

Госпожа Глинская, письмо из России (*франц.*).

«Права женщин» (франц.).

«Лига Возрождения человечества» — основана Полем Робеном, пропагандировала неомальтузианство в рабочей среде. Из пропагандисток этого учения были наиболее известны Нелли Руссель и Жанна Дюбуа.

Это уж слишком! (*франц.*).

Незаконнорожденным (*франц.*).

17

Перо или букет на шляпе.

Нет... Нет... Оставайтесь! (*франц.*).

Вы очаровательны! (*франц.*).

Это уже никуда не годится! (*франц.*).

О сударь! Это невозможно! (франц.).

Ну так что, мадемуазель? *(франц.)*.

Настоящая артистка (*франц.*).

Она прекрасна (*франц.*).

Идите! Туда! (франц.).

Французская газета, выходившая в начале XX века.

- Сударь, вас спрашивает дядя...
- Сию минуту иду... *(франц.)*.

Савонарола Джироламо (1452–1498) — проповедник, религиозно-политический реформатор во Флоренции. «Взгляд Савонаролы» — взгляд фанатика.

Театральная постановка (*устар.*).

Ах мадам! Уехать одной, без моей помощи! Я не спала, мадам. Как жаль! (франц.).

Зд. «актерка» (от *франц.*).

Гаральд дает аллюзию на ощущение от картин А. Бёклина — художника-символиста конца XIX в.

На войне как на войне! (*франц.*).

Стиль вокального исполнения. Особенное развитие получил в итальянской опере с середины XVII в.

Аллюзия на один из эпизодов Ветхого завета, повествующий о том, что когда Дух господень покинул первого иудейско-израильского царя Саула, утешение он находил лишь слушая игру Давида на арфе. Давид тайно был помазан на царство при жизни Саула, что вызвало в дальнейшем его преследование.

По ветхозаветному преданию возлюбленная Самсона, которая, выведав, что сила Самсона заключена в его волосах, велела остричь его и передала в руки филистимлян.

Привет тебе, Цезарь, идущий на смерть приветствует тебя! (*лат.*)

Небольшую сумму *(франц.)*.

Шарко Жан Мартен (1825–1893) — французский невропатолог и психиатр.

Быстрее, быстрее! (*франц.*).

Пневматическая почта в Париже. Письма, отправляемые по ней, назывались «пневмограммами» и писались на специальной бумаге.

Дорогой (*итал.*).

Возблагодари Бога! *(нем.)*.

Имеется в виду Англия. Джордж Элиот (Мери Анн Эванс) (1819–1880) — автор романа «Мельница на Флоссе».

Делайте свою игру, господа! Делайте свою игру... (франц.).

Вербицкая выстраивает ряд аллюзий на героев самых известных любовных романов античного мира, чьи имена стали нарицательными для изображения идеальной любви.

Бурже Поль Шарль Жозеф (1852–1936) — французский писатель.

Каток (*англ.*).

Кампанелла Томмазо (1568–1639) — итальянский мыслитель, коммунист-утопист.

«Избирательное сродство» (нем.).

Богданов Александр Алексеевич (1874–1839) — русский писатель.

Моисси Александр (1880–1935) — немецкий актер.

Вызывающе (*англ.*).

Госпожа Непримирая (*франц.*).

Стихотворение Г. Галиной (псевдоним Г. Эйнерлинг (1873–1942?)) — поэтесса и беллетрист.

Бог мой! (нем.).

Не понимаю, мой дорогой! *(нем.)*.

Этот прекрасный господин? (нем.).

Дорогой мой барон (*франц.*).

Слава Богу (*нем.*).

Ради Бога (*нем.*).

Мой Бог! *(нем.)*.